

Тотто
ИОНСКИ X
ОПКИ
XXI
Рек





ПОЭТЫ
СИБИРСКИХ
ОГНЕЙ



Новосибирск
2012

ББК 84(2Рос=Рус)6-5
П67

Книга издана к 90-летию журнала
«Сибирские огни» при поддержке
Департамента массовых коммуникаций
Новосибирской области

Составители:

Владимир Берязев
Владимир Ярцев

П67 Поэты «Сибирских огней». Век XXI: Поэтическая антология. — Новосибирск. ГБУ НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"», 2012. — 512 с.

В антологию вошли лучшие стихотворения ведущих поэтов современной России, опубликованные в журнале «Сибирские огни» за последние двенадцать лет.

Книга предназначена для широкого круга читателей, для студентов-филологов и преподавателей русской литературы, для всех, кто любит и ценит настоящую поэзию.

ISBN 5-86272-063-4

© Составление. Предисловие.
Художественное оформление.
Редакция журнала «Сибирские огни»

Жива или мертва идея евразийства? Кто-то скажет, что уже давно поставлен крест на этой «химере», возникшей в двадцатых годах двадцатого века в среде русской эмиграции. Другие, наоборот, будут утверждать, что идеи евразийства актуальны как никогда и ждут своего воплощения. Насколько правы первые — не знаю, насколько правы вторые — тоже не знаю. Но, если не касаться политических или геополитических проблем, то, наверное, надо признать: феномен евразийства существует в русской культуре, литературе, поэзии. Евразийство в поэзии — это не «наследие Чингисхана», а наследие Пушкина, Тютчева, Гумилёва, Мандельштама, Васильева, Заболоцкого, Тарковского и многих, многих других. Свидетельство тому — предлагаемая читателю антология, которую выпускает в свет «евразийский» журнал «Сибирские огни». Поэты, чьи стихи собраны под одной обложкой, живут в разных городах и разных странах евразийского и «гиперевразийского» пространства. Объединяет их не только то, что их стихи публиковались на страницах одного из лучших современных «толстых» журналов. Есть ещё нечто, делающее их соработниками единого общего дела. При всей яркости и оригинальности поэтических миров, представленных в антологии, каждый из поэтов является продолжателем классической поэтической традиции, прошедшей искус серебряного века и сознательно отвергнувшей постмодернистские соблазны.

Цель поэтического творчества, высшая цель — преобразовать, по слову Арсения Тарковского, «вседневный человеческий словарь», то есть открывать «Адамову тайну» — тайну «перво-слова», того слова, в котором несть ни эллина, ни иудея, ни скифа, но в котором всё едино. Каждый из поэтов онтологии в меру своего дара исполняет это призвание.

Светлана Кекова

Аржан Адаров

АЛТАЙСКИЙ МЕСЯЦЕСЛОВ

Пролог

И двенадцать белых лебедей,
И двенадцать черных.
И двенадцать истин, да-да, начал
В набухающих зернах.

И двенадцать стрел, и двенадцать струн,
Заклинаний и таинств.
И на древних камнях двенадцать рун,
Лишь одна — святая.

Но лебязья ли стая прилегла
Возле юрты нашей?
Лебединый ли пух ворона крыла
И теплей, и краше?

Но двенадцать месяцев вновь летят,
Вновь летят, как птицы.
Я хочу спросить, я хочу узнать,
Может быть, проститься...

Месяц чаган*

Я хочу спросить, я хочу узнать,
 Вы куда летели,
 Словно песни ранние мои,
 В подоле метели?..

Возле красных скал там тебя я ждал,
 Возле водопада.
 Снег кружил, куражился, окружал,
 Упадал и падал.

А дорога пела мне — скрип да скрип —
 Пела под сапогами.
 Шла ко мне ты, как белый пушистый гриб,
 Чуть держась руками.

И за снег, и за воздух, и за мороз.
 И легко, и шибко
 Мир буранный, от смеха и светлых слез
 Весь искрился зыбко.

Месяц кочкор**

Мир буранный нас обнял. И счастья страх
 Нам мешал и думать...
 В этот день потерял я отару в горах.
 И мело, и дуло,

И рогами круглыми месяц кочкор
 Упирался в тучи,
 И швырял снега в наш живой костер
 С поднебесной кручи.

* Январь, месяц белых снегов.

** Месяц горного барана.

Там, в густых акациях от пурги
Овцы скрылись наши.
Мы нашли их лишь ночью, кругом ни зги,
В дырах туч — луна лишь...

В этот месяц даже на холках кобыл
Не останется жира.
В этот месяц замерзнет у тех, кто любил,
Пламя в синих жилах.

Месяц тулан*

В синих жилах лютый холод гулял.
Но — тепло на пороге.
Тонкий серп родился, и месяц тулан,
Как медведь из берлоги

Сонно вышел... Тебе ли семнадцать лет
Вдруг сравнялось в марте?
Улыбаешься... Зыбкий, обманчивый свет
В дымке теплых марев —

Также жгуче томителен. Март и дразнит,
И зовет наружу.
Уж сурок проснулся, барсук возник,
Зарывая стужу.

Обнажается мир от любви и тепла,
Мир исчислен парой!
Ах, девчонка родная, куда ты ушла,
За какую отарой?!

* Месяц оттепелей.

Месяц цветов

За какую отарой ушел мой век?..
Снова ласточек звоны,
Снова синь озер и бурление рек,
Снова горные склоны

Крик сорочий тревожит. И снится мне —
Высоко курлычут
Журавли голубые, опять во сне
В даль иную кличут.

Но навстречу солнцу цветы взошли,
Весь Алтай покрыли!
Золотая пыльца золотой земли,
Золотые были!

И маральника цвет среди голых скал,
Словно пламя живое.
Здесь тебя дожидался я, здесь искал,
Здесь нас было двое.

Месяц кукушки*

Здесь мы были, отсюда ко мне ты идешь
Через все годы сует.
Вновь гроза гремит, зеленеет рожь
И кукушка тоскует.

Пара лебедей в сограх танцует, кружит,
Друг на друга дивится.
Так и с нами случилось... Но — горший стыд:
Я — другая птица.

* Месяц май.

Улетел от тебя, потому что мечтал
О высоких вершинах,
Наяву, как во сне, возноситься в астрал,
Чтобы — стыло в жилах!

Но не птицы, не лебеди, не журавли
Мы... и нам не быть рядом.
Ты меня до сих пор в невозвратной дали
Провожаешь взглядом.

Месяц малой жары

Длит разлуку твой взгляд в невозвратной дали.
В жар июня, высоко
Мы по горным лугам всем кочевьем шли.
Словно ярое око,

Распускался цветок, выше крупа коня,
Стеблем — в рост человеческий.
Словно губы твои целовали меня,
Словно Богом помечен,

С той весны я тобою любим и храним...
В этих травах сокрыто
То, что не разбазарено в пепел и дым
Через редкое сито

Пошлой жизни... Я нынче уеду опять.
Сколько лет уезжаю.
Только кружатся месяцы — снова и вспять —
Лебединая стая.

Месяц большой жары

Снова кружатся месяцы стаей больной,
Словно песни крылаты.
Черны лебеди это порою ночной
Кличут: «Близко расплата!».

Утром ранним косил я большую траву,
Под литовкой ложились
И цветы, и листы, что выросли в синеву
И росой лишь упились.

Слезы их зеленели на стали косы,
А в пчелином гуденье
Я не слышал упрека, не ведал грозы,
Лишь труда вдохновенье.

Нам страда, а трава — в окормление стадам.
Песни с буднями прозы.
В равной доле: и радость, и боль — по трудам,
И жара, и морозы.

Месяц куран

По трудам в равной доле нам — радость и боль.
Это крики курана!
Бродит лани самец! Словно едкая соль
Иль глубокая рана,

Зов любовный, любовная тяга томит...
Уже сметано сено,
И шалаш травным духом и дымом овит,
В твоих косах рассеян

Вкус и запах давно облетевших цветов.
Этих трав сладкий ворох
И съедает куран, чтоб вовеки веков
Зажигать страсти порох.

Песни встреч и разлук над горами слышны
Возле рек и аилов.
Наши руки в мозолях, но души нежны,
Их любовь напоила.

Месяц марала

Нас любовь поила. Мы снова чисты,
Словно песнь жаворонка...
Вон рогатый месяц идет сквозь кусты,
Отойди в сторонку.

Он трубит, призывая на пир, на бой
Маралух и маралов.
Вожаки мир пернатый зовут за собой,
Там, у птичьих вокзалов,

Крики, свары, тревога... А листья летят
На траву сухую.
И маралы трубят, и птицы кричат,
И вновь я тоскую.

На уборку хлебов покатали друзья.
Затишают горы.
Говорю, до свиданья родные края,
Улетаю скоро.

Месяц листопада

Говорю, до свиданья. Листва да зола
Улетают из сада.
Меня мама в дорогу почти собрала,
Как на фронт когда-то

Собирала отца. А душа болит,
Неизвестность чуя...
И томится, и рвется за прежний быт,
Об ином тоскуя.

«Позабудешь», — сказала... С березы листок
Оторвался последний.
Может быть, это я полетел, одинок?
О, Алтай, веколетний!

Ты, как древо могучее, мир объял,
Небеса и бездну...
Как, что я не вернусь, что навек пропал,
Тебе, милая, стало известно?!

Месяц первых вьюг

Я уже не вернусь, я навек пропал
За чертою горной.
Кто же знал, что пойдет светлой влаги вал
Вдоль по жизни сорной.

Реки быстрые скованы. Первых вьюг
Вижу белую стаю.
Я в далекой Москве, я метельный круг
Разорвать пытаюсь.

Ты грустишь. Твой дом замела пурга.
Я на дне разлуки.
Кто стряхнет снежинки с воротника?
Кто согреет руки?

Но уже не купить обратный билет.
С кем душа отгадет?..
Месяц первых вьюг замечает след,
След мой замечает.

Месяц потери рогов

Месяц первых вьюг след мой заметет.
По Тверской гуляю...
Там, в горах, с курана рог упадет.
Здесь я — веру теряю.

Я теряю любовь. Этот город мудр,
Холоден, громаден.
Где душа его? Я чредою утр,
Как солдат на параде,

Проходил Красной площадью мимо Кремля.
Юный, в ясном восторге,
Брел брусчаткой: «Ведь помнит эта земля
Звук шагов отцовский!».

Все прошло, сменила кожу змея...
Сном ли было, правдой?
Тридцать лет! Где ж упрятана жизнь моя?
За какую оградой?

Птицы-месяцы**Эпилог**

Тридцать лет и тридцать кругов замкнув,
Птицы-месяцы снова
Окружают меня. Но разъятый клюв
Не вмещает Слово.

Круг за кругом уходят в небытие
Журавли золотые,
Мои белые лебеди, счастье мое...
Мои сроки пустые,

Мои черные вороны тоже летят,
Целят в очи сухие,
Но не могут убить — и орут, и галдят!..
Все четыре стихии

Призывая, молю тебя, светлый Алтай,
Мой цветок златоперый,
Охрани и спаси, по заслугам воздай,
Ради жизни и веры.

Перевод с алтайского
В.БЕРЯЗЕВА

Владимир Алейников

* * *

И ты кружишься меж держав,
Где судорожный воздух ржав,
Из никуда и ниоткуда
Явившись, чуя свет и дух,
Но если полдень будет сух —
То выходи, гляди на чудо,

На эти сизые холмы,
Где пижма в пятнах кутерьмы
Бежит подальше от соблазна
Блеснуть на солнце желтизной
И, венчик выпятив резной,
Сказать, что впрямь огнеопасна,

Где на обочинах дорог
Тысячелистник уберег
Свое иссохшее мерцанье, —
И только вечная полынь,
Куда, сощурясь, взгляд ни кинь —
Одно сплошное восклицанье,

Вернее — возгласы о том,
Что, может, сбудется потом,
Ну а сегодня слишком рано
Судить об этом впопыхах,
Покуда выглядит в стихах
Невольный вздох отнюдь не странно, —

И ты шагаешь наобум,
Отшельник, странник, тугодум,
Туда, где память не увяла,
В такие дебри и дожди,
Где все, что было позади,
Тебя мгновенно узнавало.

* * *

Как туман, возникнет за окном
Этот сон о таинстве и славе,
Что ни с чем ты сравнивать не вправе,
Раз уж речь — о мужестве земном.

Не огонь алел у нас в крови,
Не закатный стынувший обломок, —
То сиял, встающий из потемок,
Свет любви — его-то и зови.

Как открыть на прошлое глаза
Всем, кто смотрят в будущее ныне,
Где в чести пребудет и в помине
Давних дней невольная слеза?

* * *

Где-то кружится дыма колечко,
Кто-то выйдет, смеясь, на крыльцо,
Таёт свечка и топится печка, —
Ты к звезде поднимаешь лицо.

Ты одну ее ищешь упрямо
Средь мерцающих в небе огней —
И мирские громоздкие драмы
Рассыпаются в прах перед ней.

Неизведанной силой тревожа,
Несгибаемой правдой светла,
Так на вещее слово похожа,
Не случайно над миром взошла —

И ее называешь своею
Потому, что повсюду она,
Сохранять на распутьях умея,
Сокровенному смыслу верна.

И сиянье ее драгоценно,
И не свойственна ей маета —
И доверишь ты ей откровенно
Все, что складкой лежало у рта.

Все, что ею даровано — свято,
И в снегах киммерийской зимы
Постигаешь пугавший когда-то
Ропот века, плывущий из тьмы.

* * *

Не в стогу, видать, находить иглу,
Не во мгле отнюдь продевая нить,
Чтоб комар-мизгирь цепенел в углу,
Чтоб одних жалеть, а других винить.

И не то чтоб шелк расстился здесь,
До ворот Востока раскинув путь,
Но пичужий щелк приживался весь,
Эту ткань пространства успев кольнуть.

Не пыли, дорога, у днешних стен,
Не коли, игла, золотую плоть,
Чтобы плыть ладье, испытавшей плен,
Чтобы новой сути добыть щепоть.

Чтобы жгучей соли хватило нам
До скончанья века сего на всех,
Не хоромы, братья, нужны, а храм,
Где бы общий мы отмолили грех.

Целованьем царским не всяк велик,
Толкованьем книжным не всяк спасен —
И не ворон там пировать привык,
Где проходит осторонь вещей сон.

То не ветер сызнава крепнет, шал,
То не вечер засветло вдруг пришел —
Небосвод высок и надменно-ал,
А земле пора отдохнуть от зол.

* * *

Затверди про себя, живой,
Этой песни мотив простой,
Что, всю шелестя листвою,
Болтовней не бывал пустой.

В тесноте, в пестроте мирской
Шевели-ка губами, друг,
Не смешав со своей тоской
Все, что видишь лишь ты вокруг.

С высоты, что всегда с тобой,
Посмотри на земные дни —
Вот и слышишь внизу прибой,
Щурясь разом на все огни.

Вот и станешь брести порой
Не туда, куда все идут,
А туда, где порыв и строй
Новый век за собой ведут.

Вот и сможешь своей судьбой
Доказать на особый лад,
Что нельзя повторять гурьбой
То, чему от рожденья рад.

Под чужой не лежал пятой
Этот равный спасенью свет,
Что вернется еще, — постой,
Хоть полслова скажи в ответ!

* * *

Одесную гора курится,
Закрывается пеленой, —
И округе пора смириться
С этой каверзной тишиной,
С этой выдумкой невозбранной,
С этой выгодой наживной,
Незапамятной, многогранной,
Неизбывною, обложной.

Испытуемые туманом,
Отрешенно молчат дома,
Чем-то странным, давно сохранным,
Постепенно сводя с ума, —
И дождемся ли разрешенья
Всех загадок земных и снов? —
И нежданному воскрешенью
Мы поверим, не тронув слов.

* * *

Ну чем их заменишь, благие дары
Пространства, открытого мне?
Далекие звезды, большие миры
Встречают меня и во сне.

В степях моих ветер вскипал непростой
И выбор пути предрешал —
И окна мерцали ночной темнотою,
Но свет в ней подспудный дышал.

Нельзя было слов никаких подобрать
К тому, что вставало вокруг, —
И кровь замирала, чтоб разом взыграть,
Всплеснуться от радости вдруг.

Но что-то уже набухало, росло
Внутри, в корневой глубине, —
И вырвалось, к веку припав под крыло,
И дорого ныне вдвойне.

Я вижу туманы, дожди, вечера,
Их тяжестью полнось я весь,
Как будто бы все это было вчера —
И сбудется сызнова здесь.

Я помню дворцы, корабли, острова,
Ступени у самой воды, —
И все, чем душа моя с детства жива,
Не скроют метели и льды.

Неведомо где отыскать суждено
Спасенья незримую нить —
Но музыка всюду со мной заодно,
И надо ее сохранить.

Михаил Анищенко

* * *

Нам еще рано по небу летать.
Стынут сугробы подобием сопок.
Надо тропинку к дороге топтать
В тысячу триста шагов и притопок.

Влево и вправо, родная, ни-ни!
Слева — по горло, а справа — по пояс.
Словно на землю из мутной мазни
Выпала наша бездомная совесть.

В мертвой деревне. По снегу вдвоем
В черную бездну идем безвозвратно.
Мы и к дороге уже не дойдем.
И никогда не вернемся обратно.

Господи, Господи, я как слепой,
И не понять, провалившись по пояс:
Снег нас январский заносит с тобой
Или давно поджидавшая совесть...

Падает снег, и поземки метут,
Остервенело заносы вальцуют...
Может быть, в марте нас люди найдут,
Слитых навеки в одном поцелуе.

НЕ ЗА ТО...

Не смотри, не смотри ты вослед журавлю,
Не грусти у ночного порога...
Все равно я тебя больше жизни люблю,
Больше Родины, неба и Бога!

Возле мокрых заборов, соломы и слег
Я люблю тебя тихо и нежно —
Не за то, не за то, что, как дождик и снег,
Ты была на земле неизбежна.

Не за то, что сгорала со мною дотла
И неслышно в сторонке дышала,
А за то, что все время со мною была,
И как смерть — мне ни в чем не мешала!

НЕБО

Скучно скитаться по датам,
Позднюю славу блюсти...
Есть куда тучам податься,
Некуда небу пойти.

Лошадь по улице скачет,
Девочка машет рукой.
Но не смеется, не плачет
Домик над черной Окой.

Скоро запечье остынет,
Тени в ночи загалдят,
Пол превратится в пустыню,
Стены листвой зашумят.

Выйдет луна из тумана,
Даль на пороге зевнет.
Спросит прохожая дама:
— Кто в этом доме живет?

Скажет соседка в халате:
— Глупая птица! Лети!
Небо лежит на кровати,
Некуда небу пойти!

ЧЕРТОПОЛОХ

Я забыл обо всем. Я ослеп и оглох,
Растерялся, поддался наркозу.
Я стою во дворе, словно чертополох,
Полюбивший китайскую розу.

Свет вечерней зари над рекою потух.
Что-то страшное филин пророчит;
И когда-то зарубленный мною петух
Надо мной заполошно хохочет.

Мне отравы испить предлагают грибы,
И оса надо мной сатанеет.
Но коса, что стоит возле самой избы,
Уважает меня и жалеет.

Я сумею всю жизнь простоять на ветру,
Принимая недолю и долю.
И теперь я уже никогда не умру,
И тебе умереть не позволю.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРАТФОРД*Николаю Крупину*

Тауэр спит, словно гром в облаках,
Словно палач перед завтрашней казнью.
Девочка-горе и юноша-страх
Спят на постели взаимной приязни.

Плачет над колбами Джонатан Ди,
Летние ночи короче всполоха.
Тауэр спит. И, как дождик в груди,
Тихо и грустно проходит эпоха...

В колбах беснуются сера и спирт,
Пахнет горячим свинцом и сурьюю.
«Джонатан, Джонатан, — шепчет Шекспир, —
Знаешь ли ты, что случится со мною?»

«Знаю, о, знаю!» — клубится в ответ,
Горный хрусталь наполняется светом...
Что в том кристалле увидел поэт —
Мы никогда не узнаем об этом.

Просто сломались от крика уста,
Ужас сдавил, словно кольца питона;
И усмехнулись на пиках моста
Мертвые головы Джерри и Тома.

Утром умчался в туман и дожди
Доблестный Рыцарь Копья и Завета.
«Благодарю тебя, Джонатан Ди», —
Радостно всхлипнула Елизавета.

Спи, королева! Молчи и молись.
Черное море глотай, как наяда.
Мистика кончилась. Карты сошлись.
Чашка Шекспира отмыта от яда.

КЛЕОПАТРА

Скоро дворик листвою засыплет, я богам фимиам воскурю,
И тебя, как горящий Египет, до начала зимы покорю.

Это снова судьба-минипшея наполняет свои короба.
Тонут в море галеры Помпея, строит ратников Энобарба.

И в тумане застывшего кадра, в беспросветных
созвездьях родства,
Слышу я, как тебя, Клеопатра, распинает людская молва.

Я поверить наветам не вправе, я тобою одной вдохновен.
Но за дверью таится Октавий, как коварство
последних времен.

Словно облако взбита подушка, ты меня обдаешь
ворожкой.
Я не знаю, что это ловушка, и что смерть притворилась
тобой.

Ты напиток даешь мне с ладоней, и ни в чем
никого не вина,
Выдыхаешь: «Антоний! Антоний! Ты умрешь
и забудешь меня!»

И на карты взираешь недобро, не скрывая испуга и слез,
И в шкатулке укрытая кобра все грядущее видит насквозь.

И в разливе последнего марта говорю я во тьме золотой:
«Я сегодня умру, Клеопатра, но мы встретимся
снова с тобой!»

И века над землей пролетели, и в сиянье другого огня,
Заслоняясь рукою в постели, ты еще не узнала меня.

Ничего! Я забвеньем не выпит! Я все ту же пытаю звезду...
И в тебя, как когда-то в Египет, все равно я сегодня
войду!

* * *

В доме моем ничего не осталось.
Ночь на исходе. Но время темнит.
В озере ночью вода отстоялась,
Цапля, как облако, в небе стоит.

Льется с берез золотая усталость,
Киноварь с охрой летят на испод.
Вот и осталась мне самая малость
Дней перелетных и вечных хлопот.

Счастье ушло. Но осталась свобода —
Та, что похожа на полный расчет,
Та, что случается после ухода
Тех, кто уже никогда не придет.

Я ВОДУ НОШУ

Я воду ношу, раздвигая сугробы.
Мне воду носить все трудней и трудней.
Но как бы ни стало и ни было чтобы,
Я буду носить ее милой моей.

Река холоднее небесного одра.
Я прорубь рублю от зари до зари.
Бери, моя радость, хрустальные ведра,
Хрусти леденцами, стирай и вари.

Уйду от сугроба, дойду до сугроба,
Три раза позволю себе покурить.
Я воду ношу — до порога, до гроба,
А дальше не знаю кто будет носить.

А дальше — вот в том-то и смертная мука,
Увижу ли, как ты одна в январе

Стоишь над рекой, как любовь и разлука,
Забыв, что вода замерзает в ведре...

Но это еще не теперь, и дорога
Протоптана мною в снегу и во мгле...
И смотрит Господь удивленно и строго,
И знает, зачем я живу на Земле.

ЗИМА

Разогрею чифирь, помусолю сухарь,
На картинке понюхаю мед.
Белый кот-идиот по прозванию Январь
Мне из подпола мышь принесет.

Я штаны подтяну и поправлю фитиль,
Будет примус светить без ума...
Помусолю сухарь, разогрею чифирь...
И скажу своей милой: «Зима».

Она молча натопит воды снеговой,
Станет таять, как в небе луна,
И закроет своей золотой головой
Полыню ледяного окна.

Станет милая петь, как недавно и встарь,
В поварешке утопит печаль,
Разогреет чифирь, помусолит сухарь
И ответит мне тихо: «Февраль».

«Слышишь, миленький мой, уже капает с крыш...»
Я отвечу ей тихо: «Эхма!»
Но примерзнет к столу принесенная мышь,
И я выдохну снова: «Зима».

Она снова натопит воды снеговой,
Станет скрывать по стенкам котла,
И заслонит своей золотой головой
Вековую империю зла.

Я махры закурю и спою про Сибирь,
Сам собою довольный весьма...
Помусолю сухарь, разогрею чифирь,
И скажу своей милой: «Эхма!»

* * *

Горит свеча, струится воск.
На решку падает монета.
Во тьму уходит Пятигорск,
Боясь грядущего рассвета.

Я вспомнил давнюю вину,
И вспомнил, видимо, напрасно.
Проходят тени по окну,
А от кого они — не ясно.

Мгновений жалкое пшено,
Окно раскрытое, как пропасть.
Как будто все предрешено,
Отнесено уже на подпись.

Еще дрожит в печи огонь,
Но небеса готовы к тризне.
Машук раскрылся, как ладонь,
Оборвалась дорога жизни.

И столько скорби в тишине,
И так минуты полетели! —
Как будто Лермонтов во мне
Уже готовится к дуэли.

* * *

Смех и слезы в этом действе.
Телом море не согреть.
Помню, как однажды, в детстве,
Мне хотелось умереть.

Умереть. Лежать устало,
Головой прижав венец...
Чтобы мама увидала,
Что я лучше, чем отец.

Чтоб всю ночь рыдал октябрь,
Чтобы мир оскудевал,
Чтоб отец, в гробу хотя бы,
Мои щеки целовал.

* * *

Тихо и грустно в простуженном доме.
Поздно беситься: «Коня мне, коня!»
Что же осталось мне, милая, кроме
Позднего утра с прожилками дня?

Стынет обед на желтеющей травке.
Бог отдыхает, а Родина спит.
Чайник хрипит, словно горло в удавке,
Будто бы в нем моя злоба кипит.

Под перезвон торжествующей меди
Нас на мякине опять провели.
Все, что могли, разорили медведи,
Все разорили, что только могли.

Заживо сгнили дома и деревья.
Осень идет, ни о чем не скорбя.

Все уже мертвые в этой деревне,
Все, моя милая, кроме тебя.

Как же нашла ты меня спозаранку,
Как ты сумела сбежать от молвы,
Розовый свитер надев наизнанку,
Без полушалка и без головы?

Как же? Зачем? Ты еще молодая.
Что тебе мною проигранный бой?
Я этот мир ненавижу, родная.
Не прикрывай его тело собой!

ШИНЕЛЬ

Когда по родине метель неслась, как сивка-бурка,
Я снял с Башмачкина шинель в потемках Петербурга.

Была шинелька хороша, как раз — и мне, и внукам.
Но начинала в ней душа хождение по мукам.

Я вспоминаю с «ох» и «ух» ту страшную обновку.
Я зарубил в ней двух старух, и отнял Кистеневку.

Шинель вела меня во тьму, в капканы, в паутину.
Я в ней ходил топить Муму и — мучить Катерину.

Я в ней, на радость воронью, кровоточил, как треба,
И пульей царскую семью проваживал на небо.

Я в ней любил дрова рубить и петли вить на шее.
Мне страшно дальше говорить, но жить еще страшнее.

Над прахом вечного огня, над скрипом пыльной плахи,
Все больше веруют в меня воры и патриархи!

Никто не знает на земле, кого когда раздели,
Что это я сижу в Кремле — в украденной шинели.

* * *

Мы Русь ругаем по привычке,
Повсюду грязь и барыши...
Но ехал Чичиков на бричке
В потемки собственной души.

Нас опоили зельем горьким,
Слепили пыльное клише.
Но дно, увиденное Горьким,
Он видел в собственной душе.

Веками ларчик замыкался,
Но в нем хранили ерунду.
И Данте в душу опускался,
А говорил, что был в аду.

* * *

Лед на реке, как измена. Ноги от страха свело.
Счастье меня непременно к темному краю вело.

Как это? Не понимаю тайную суть перемен.
Так вот — моргну, и не знаю: кто я теперь и зачем?

Разом исчезнут рябины, лодка, осока, песок...
Словно из кинокартины вырезан главный кусок.

И на глазах у соседок, между машин и собак —
Утро начнется не эдак, день завершится не так.

Как тут остаться в покое, не закрутиться юлой?
Будто бы звуки погони, листья шумят за спиной.

Молнии, кони и волки, говор смертельных врагов...
Так вот — очнешься на Волге, между крутых берегов...

Господи! Проруби, льдины, недостижимый мысок...
Дальше из кинокартины вырезан главный кусок.

Александр Ахавьев

SMOKE ON THE WATER*

(из серии «Небольшие трагедии»)

*We all come out to Montreux
On the Lake Geneva shoreline*

(I. Gillan / R. Glover)

1.

Прости меня, четвёртый эскадрон,
Я не нарочно сделал тебе больно!
«О, поле, поле, кто тебя...»

...Пардон,

В ту ночь не фигурировало поле:

Ступая как по лезвию ножа,
Я шёл по плохо выбритому лугу,
Нетвёрдо в поле зрения держа
Свою вперёд протянутую руку;

Глаза б мои не видели её,
Когда бы ночь была еще темнее,
А голубое нижнее бельё,
Надетое на мне, ещё грязнее.

И хромовый бушлат, и галифе
К чертям сгорели вместе с самолётом,

* «Дым на воде», название песни группы Deep Purple, самой известной композиции в истории рок-музыки.

А чёрный шлемофон на голове
Всё время истекал холодным потом,

И ветер дул навстречу, как на зло,
И ослеплял моими же слезами.
(Небось, отсюда за версту несло
Финальной сценой в некой мелодраме:

Красиво обгорелый персонаж
Идёт по очень длинному экрану —
Такой несчастный, что противно аж.
И кажется, он слышит фонограмму,

И даже титры чувствует спиной...
Но тут из глубины незримых пастбищ
Возникла барельефно предо мной
Тачанка, опрокинутая навзничь.

Признаться, я давно не ощущал
Такого напряжения сетчатки,
Преобразуя зрительный сигнал
От навзничь опрокинутой тачанки, —

Явления, заурядного вполне
При солнечном, и даже лунном свете.
Всем вам известно, так же, как и мне:
Предметы тотемические эти

(Конечно, если библия не врёт)
Издравле мастерили ростовчане,
На них же прямо ехали на фронт,
И грамоте по ним же обучали.

Теперь услышать твой немой рассказ
Пора и мне, чудесная повозка,
Хотя, похоже, ты на этот раз
Сошла с холста Иеронима Босха,

Твоя поверхность, прямо как мечеть,
 Покрыта непонятными графити, —
 Я их хочу поближе рассмотреть.
 А кто не хочет — ладно, как хотите.

* * *

На облучке, где сам комдив Чапай
 Латынью начертал: «Smoke on the water!»,
 Кириллицей: «Энд Люси ин зе скай!»*
 Добавить угораздило кого-то;

И как тому логический итог
 Из темноты белела диатриба:
 На пулемёт, имеющий щиток
 Почти виолончельного изгиба, —

Помимо очевидного: «Максим» —
 Добавить вознамерилось кому-то
 По графарету: «МИГ-21»
 И по-приколу: «Тут была Анюта», —

Без лишних слов и ложного стыда.
 Что тут ответишь? Право, не писать же,
 Что не было меня здесь никогда,
 И, чтоб я сдох, могло б не быть и дальше!

Нет, мне придётся, губы закусив, —
 Не до крови, но так, чтоб было больно, —
 Вживаться в этот жалкий детектив,
 Достойный креативов Конан-Дойла:

Неважно кто — мой друг, или мой враг
 Подобными вещами застит очи,

* «И Люся в небесах», из названия популярной песни группы The Beatles.

Но я на огонек спущусь в овраг,
Хотите вы того, или не очень;

Туда, туда, где из глубин земли
Клубится нечто вроде преисподней,
Туда, куда нас черти завели,
Я и сойду, как есть, в одном исподнем,

Без шапки-невидимки, без ружья,
Поскольку я не толкиновский хоббит
(В отличие, читатель, от тебя,
Я начал понимать, что происходит).

2.

И вот, когда из слёз, из темноты,
Из неуверенности в следующем шаге
Раздался часовой: «Пелевин, ты?...», —
И эхо тытыдыкнуло в овраге,

Предвосхищая первый майский гром, —
Так вот тогда я, поборов усталость,
Шагнул вперёд.

Четвёртый эскадрон, —
Вернее, то, что от него осталось, —

Застыло тёмной массой у костра,
Стараясь жертву подманить поближе.
(Ну кто бы мог мечтать ещё вчера
О том, что днесь его убьют свои же!)

Какой такой Пелевин? — кто бы знал...
Питая слабость к театральным сценам,
Я что есть силы брови приподнял,
Непроизвольно скрипнув лётным
шлемом;

И тон беседы тонко переняв,
 Не нарушая тишины словами,
 Встал командир, весь в кожаных ремнях,
 Мерцая боевыми орденами.

Волнение передалось костру,
 И тут же искры — даром, что бесхвосты, —
 Взлетели и погасли на лету,
 Утрируя тропические звёзды.

А я утрировал рояль в кустах,
 Насчёт себя уже не обольщаясь,
 Едва прочтя на сомкнутых устах
 Слова: «Усталость», «Мечь»
 и «Беспоощадность»;

И, сопоставив пункты «бэ» и «цэ»,
 Сообразил, как в скверном водевиле,
 Что в третьем умозрительном лице
 Здесь обо мне недавно говорили.

По поговорке — прямо на ловца
 И зверь бежит. Да вот какая жалость:
 De facto форма третьего лица
 С моим лицом никак не сопрягалась.

Оно понятно, если на тебе —
 Ни лычки, ни погона, ни медали!
 О, как я благодарен был судьбе
 Что здесь меня... Короче, не узнали.

3.

Случилось это много лет назад.
 Точнее говоря, сегодня утром.
 Не под землёй, как в части 2, а над.
 (Возможно, мой рассказ слегка запутан,

Зато он исторически правдив.)
 «Нам нет преград!» — сказала мне
Держава,
 Я уточнил: «Нам нет альтернатив!» —
 И занял своё место у штурвала.

* * *

В щитке приборном щёлкало реле,
 Как мысли в голове у Шерлок-Холмса,
 А мы по отношению к Земле
 Условно находились выше Солнца:

На горизонте теплился восход,
 Но плазма раскалённого светила
 Ещё не согревала нам живот,
 А просто снизу на него светила.

Летел по небу истребитель «ЛаГГ»,
 На землю не отбрасывая тени, —
 Не потому что он был вурдалак,
 А потому что в солнечной системе.

Ему на то и дали два крыла,
 Чтоб он орлом парил среди простора,
 А коль уж падал — так, чтоб не нашла
 Наш чёрный ящик ни одна пандора.

И не найдёт! Так я вам говорю:
 Сегодня на обломках фюзеляжа
 Напишут не фамилию мою, —
 Да что там говорить, — не имя даже...

(К примеру, житель города Монтрё*
 Себя считает тоже патриотом,
 Хотя на деле — всё одно враньё.
 «Отчизна-мать»! Да ладно уж, чего там...

* Монтрё — курорт в Швейцарии, на Женевском озере (см. эпиграф).

По логике вещей всё это вздор.
Любому очевидна из нас с вами
Двусмысленность в словах:
«античный хор»*, —
Вот так и здесь: увы, — одно название.

Но если враг достанет нас всерьёз,
Как на войне, — какие тут игрушки!
«Бомбить иль не бомбить? —
встаёт вопрос, —
Иль, может быть, мудрей стрельнуть
из пушки?»

Проблему эту, как я полагал,
Легко решает пара-тройка «Илов».)

* * *

Уж утренние тени по лугам
Тянулись, будто век мафусаилов,
И маленькие пухлые стога
Мелькали на полях, как нотабене,
И озера помятая фольга
Дрожала при малейшем дуновенье;

И ветер, довершая пастораль,
Причесывал берёзовую рощу.
Короче, там внизу, был сущий рай —
Приятный, судя по всему, на ощупь.

Когда мой самолёт вошёл в пике
С томящим душу характерным стоном,
Я знать не знал, что точка вдалеке
Была кавалерийским эскадроном;

* Античный хор — в античной трагедии хор обычно исполнял речетативные куплеты.

Казалось, догадаться уж пора б, —
Но пропорционально ускоренью
Природа изменила свой масштаб
И растеклась по стёклам акварелью.

От этого кружилась голова,
И мысли хороводились друг с другом,
Пока отдельно взятые слова
Не стали цветом, запахом и звуком;

Пока из этих расчленённых слов
Не начали рождаться персонажи
И миражи швейцарских городов,
Похожие на римские пейзажи.

И первым появился Герострат, —
Как только Предводитель вместе с хором
Прочёл: «Содом, Помпея, Сталинград
(И, кажется, ещё какой-то город)...», —

И ангел выдул полную трубу
Надземных гулов и подземных стонов,
И Плиний заворочался в гробу,
И статуи осыпались с фронтонов;

И воробьи скрывали свой испуг
В ветвях пирамидальных кипарисов,
И междометья с пересохших губ
Срывались, как пожарные с карнизов.

Потом из окружающей среды
Исчез Монтрё, и вслед за ним — Женева.

Остался только дым поверх воды,
И пламя, опаляющее небо.

4.

Взошла луна, и люди у огня,
Сопоставляя следствие с причиной,
По-новому взглянули на меня,
И в воздухе запахло мертвечиной,

Когда во мне увидели они
Часть силы, что на бреющем полёте
Летает в паре метров от земли,
Но состоит из крови и из плоти.

Вот что они увидели во мне —
И вывели логически отсюда,
Что Бог — в неопалимой купине,
А я собою не являю чуда;

И не успел я досчитать до ста,
Как умерла последняя надежда.
Зато всё встало на свои места,
А это было правильно, конечно.

(Заметили задолго до меня
Жан Жак Руссо и Августин Аврелий:
Не надо путать тайны бытия
С рефлексиями Вечности на Время;

Но раз уж ворошиловский стрелок
В тебя упёрся оружейным дулом,
Ему не нужен никакой предлог,
Ему вообще не нужно больше думать.)

До сей поры я был неуязвим
Для смертного. Но этот звук, с которым
Простой кавалеристский карабин
Нервозно передёрнуло затвором,

И красное горячее пятно,
Растущее на голубой фланели,
Меня доби́ли. Вот ведь как оно.
Хотели вы того, иль не хотели,

Организуя свой конгломерат.
Увы! Мне исповедываться не в чем —
Ни перед тем, как стану умирать,
Ни перед Тем, Кто богочеловечен;

Мне чуждо чувство собственной вины,
Все эти игры в саморазрушенье.
И в свете упомянутой луны
Я принял компромиссное решенье:

Позвольте рассказать вам, господа, —
Прошу простить, что лёжа, а не стоя, —
Про ангелов с глазами изо льда,
Про длинный коридор, и всё такое.

Про самолёт с малиновым винтом
И борозду в четвёртом эскадроне
Я расскажу когда-нибудь потом.
Сейчас меня мутит от вида крови.

Наталья Ахпашева

* * *

Капля камень точит.
Времена — в песок.
Яростные очи
вспыхнут на восток.
Озарит курганы
древний божий лик.
Упадет обманный,
предрассветный миг
сумрачно и глухо
на ковыль-траву.
Отведу до уха
злую тетиву.
Из тысячелетий —
в даль и сквозь меня,
канувшего в неги
поколения,
плоть времен пронзая,
от родных шатров
взгляд уйдет до края
будущих миров.
Взрежет воздух спящий
в сердцевине мглы
острие летящей
на восход стрелы.

ИЗ «ВЗЯТИЯ СИБИРСКОГО»

Возле Качи-реки
становились полки,
ружья заряжали,
Сибирь покоряли.
Течет моя Кача,
течет кровь казачья.

А на том берегу
в заповедном логу
ждет меня друг дорогой,
чуб седой —
казак донской.
Отдохни от битвы злой.
Течет моя Кача,
течет кровь казачья.

А в перстнях моих
кораллы горят.
Косы черные мои
серебром звенят.
И крестись — не крестись,
взгляд уже не отвести.
Течет моя Кача,
течет кровь казачья.

Издалека — слышишь? — гул
по невспаханым степям.
Что ж ты верил, есаул,
темным качинским очам?
Ветер треплет чуб седой.
Крепко спит казак донской.
Не дождетя жена
на сторонке родной.
Течет моя Кача,
течет кровь казачья.

СЕДАЯ БАШКА

Волчья повадка. Седая башка.
Злые ненастные очи.
Я-то не чаяла, что гостенька
в дом принесет к полуночи
Богом ли, чертом — не все ли равно
славе моей не короткой.
Где мое сладкое брага-вино?
Где моя горькая водка?

— Примешь, хозяйка? —
всего и спросил.
Под образа усадила.
Кто безутешно за окнами взвыл?
С нами ли крестная сила?!

Пил — не пьянел, да в глаза мне глядел.
А уж как я ни старалась,
так рассказать он и не захотел
что с ним, нечаянным, случилось —
смолоду ветром обветрен каким,
солнцем каким обожжен был
и пробирался к хоромам моим
через какие чащобы.

Что понапрасну о том говорить —
радости было немного,
и, видно, леший заставил кружить
до твоего, мол, порога.

Буря опять разошлась за окном,
ставенки с петель срывая.
И заходила изба ходуном,
будто старуха хмельная.
Пламя свечи в напряженных зрачках
вспыхнуло бликом тревожным.

Привкусом соли на теплых устах
тлеет поцелуй осторожный.

Вышла потом провожать на порог,
счастьем отмечена странным.
Не оглянувшись, ночной гостенек
сгинул в родные туманы.
Снова сомкнулись деревья-кусты.
Встали высокие травы.
Вслед сорвались — и поджали хвосты
злые мои волкодавы.

Край наш дремучий ласкают ветра,
будят ревучие громы.
И никого я не жду до утра,
глядя на даль-окоемы.
Воем, тоскующим издалека,
сердце привычное точит
Где ж он гуляет, седая башка,
в эти ненастные ночи?

Что же не выведала у него,
к славе своей не короткой —
сладким ли было брага-вино,
крепкой ли горькая водка?

* * *

Я стучу колотушкой в бубен.
Чрево Матери Мира бужу.
Танец мой причудлив и труден.
Задыхаясь, заклятья твержу,
чтоб явились из темного чрева
души не рожденных людей.
Приближается время сева
после жатвы последних смертей.
Оживает пространство ночное.

В тесной юрте сгущается дым.
Отзывается эхо густое
гулким рокотом, стоном глухим.
Жаждают степи влаги обильной.
Плещут волны времен в берега.
Под лохматой звериной личиной
я танцую вокруг очага.
Взгляд безумный лучится надеждой.
И колеблет основы основ
хриплый глас. И гремит под одеждой
ожерелье из волчьих клыков.

* * *

Вмерзают созвездья в оконные стекла,
лгут формулы в черновиках,
пока терпеливая ночь не поблекла
от рези в бессонных глазах.

Пока не отступит философ смущенный,
пока не устанет поэт,
пока не поверит бесстрастный ученый,
что смысла в решении нет.

Что только стихий равнодушную ярость
хранят числовые ряды,
что только безликие случай и хаос
царят от звезды до звезды.

Что гения нет в гениальном творенье...
Но от изначальных времен
мы ищем в поэзии — и вдохновенье,
и логики строгий закон.

Сквозь тысячелетья струят человеки
во мглу мириады очей

и мнят, что порядок предчувствуют некий,
но темен им замысел сей.

И вновь поколение за поколением
пожизненно осуждено
с мучительно-непостижимым томленьем
глядеть за ночное окно.

Неясно угадывать в ритмах вселенной
присутствие творческих сил...
Но если создание несовершенно,
то кто же создателем был?

* * *

Оставленная на перроне,
стесняясь бесполезных слез,
по человеческой ладони,
тоскую, как забытый пес.
Не различая злые лица,
в толпе нахлынувшей стою
и не насмелюсь возвратиться
в пустую комнату свою.
Куда войду и постараюсь
не плакать и не причитать
и упаду, не раздеваясь,
на односпальную кровать.

Булат Аюшеев

* * *

Доят коров и поют
словно во сне золотом.
Всем молоко раздают
и засыпают потом.

Здесь голодать не к лицу,
каждый одет и обут,
и на закланье овцу
в грубой тележке везут.

* * *

Некту снится друг и дом друга.
Они всходят на крыльцо с ключами.
На друге розовая рубашка, на некте — простая,
то ли в клеточку, то ли в горошек.

Друг держит горшок с горячей пищей,
бобы, бобы и немножко копченого мяса,
а некто читает в руках как бы книгу,
шевели губами как Дональд.

«Кто от утки родился, уткой пребудет»
говорится в книге той и некто
так же дудочкой складывает губы.
Жизнь его — маленькая скруджиана!

Но оглядывается некто — нету друга,
люди входят в дом и выходят,
открывают сумочки — достают монетки
и пускают их в обращение,
словно бобовые растения
семена свои на ветер.

И заходит будто бы наш некто к людям.
Никто некому не отвечает,
сидят неподвижно по креслам,
накрывшись тряпками, спрятавши лица.
«Выход где, говорю» — сердится некто.
Уже хочется ему царапать
твердые стенки и мутные окна.
Сверху город — собрание насекомых,
металлических и живородящих.

Появляется ужасный ОМЕН.
Он берет ключи у нашего некта,
связывает его по ручкам и ножкам,
бьет его под дыхало,
лишает его маленькой жизни,
а взамен дарит великой смертью
безбрежную как саванна.

Просыпается некто на вокзале.
Двадцать первый век. Полдень.
«Земляк, — говорит ему прохожий, —
не проспи свою лепездричку».

АЛТАНБУЛАГ

Вдруг подошли десять черных старух
с корзинами за плечами, с лопатками в руках
и стали дружно забрасывать дом Цибикова кизяком.
Потом так же молча удалились.

«Алтанбулагские старухи», — подумал Цибиков,
радуясь, что есть теперь чем растопить печку.
На плите как раз был установлен цветной
китайский чайник.

Жена Цибикова и пять его детей
в порядке убывания стояли на коленях перед божницей.
Скоро послышался сухой запах поджигаемого аргала.
Огонь запрыгал, фиолетовый по краям.
Старухи уже отошли на порядочное расстояние
и походили на караван верблюдов.
Ничего им не попадалось.
Будь коровы сознательней,
нарочно бы оставляли на их пути лепешки.
Цибиков стал курить.
Курил долго и горько.
Мукденские воспоминания его теснили.
Наконец обида стала так невыносима,
что Цибиков достал из коробочки хорошую бумагу
и принялся писать тоненьким пером
по-старомонгольски.

«Я, бывший казак Российской империи
Цаган-Усунского караула Дамдин-Дугар Цибиков,
родился в г. Троицкосавск в 1874 году
и был призван на действительную службу
из караула Киран в 1895 году».

Цибиков задумался.
Его теперешнее жильё походило на скворечник.
Позади дома был разбит жалкий огород.
От высокого и неравномерного плетня
на грядки с чесноком

падали сквозные тени.
По утрам полосатые дети молча щипали сорную траву.
Поймав кузнечика, разглядывали его на свет
и, бросив жребий, съедали.
Ночи были особенно холодны.
Звезды, удивительно яркие, периодически мигали.
Детям казалось, что это оскаленные черепа,
внутри которых беспокойно горит огонь.
На свет луны, падавший в единственное оконце,
старались не наступать.
Луна висела огромная, ослепительная.
Степь от нее была голубоватая...

* * *

Корова запуталась в проволоке, исхудала,
третий день лежит рядом с ветвистой
ивой, обнесенной оградкой, побелка
вся обсыпалась, доски изнутри подперты,
очень грубо сколочена сверху будка,
и белеет на острие полумесяца.

Через реку напротив татарский поселок,
тополя от ветра бледнеют, дорога
меж домами пылит, если кто проедет,
но такое случается редко, картошка
отцветает, и волны ходят по верху,
пригибая ботву, и людей не видно.

Лишь траву в огороде полет старуха,
наклоняясь низко, над нею летают
мотыльки. Вот разогнулась и смотрит
против солнца за речку из-под ладони,
не поймет, зачем с безымянной могилы
так отчаянно ветками машет ива.

ГРОЗА 2003-го В ЭРХИРИКЕ

Переждавши бурю
в домике охотника за тарбаганами
среди распятых шкурок
и волн вонючего табачного дыма
(хозяин домика — немногословный мужичонка бурят
с застывшей на лице горестной улыбкой),
я вышел сквозь занавеску воды на улицу,
а там заканчивался дождь. Прояснило.
Тучи ушли на юг.
Маленький ручеек, бежавший у подножий хребта,
превратился в бурный поток
и теперь с оглушительным ревом несся вниз в долину,
выплескиваясь на поворотах из русла.
Словно головы глиняных людей
показывались на мгновение из клокочущей воды
и снова исчезали.
Я шел, заглядываясь на стихию.
Один раз споткнулся и упал в промоину,
оказавшуюся неожиданно глубокой и холодной.
Даже отдаляясь от воды, я слышал ее глухой рев.
Сель устремился на поле,
превратив некогда оросительные каналы
в полноводные реки.
Коровы переправлялись по ним вплавь,
телята носились по берегам и жалобно мычали.
Потоки обновленного света падали с севера.
Тени в горах обрели давно забытую мной
глубину и таинственность.
Леса в отдалении покрылись золотисто-прощальным
увлажнено-свободным блеском.
Далеко на юге по ниточке шоссе
не торопясь скользила серебристая машинка.
Я шел по течению, пока не уперся в могилки.
Вода в этом месте разлилась особенно широко
и подступила к самым железным оградкам,
грозя подмыть их основания.

Я сел на розоватый песок,
упиваясь запахом грозового воздуха и ая-ганги,
спиной к венкам и цветам,
тихо звеневшим на сквозном ветру.

Бедные мои инвалиды, —
слышалось мне в голосе ветра, —
чучела и куклы
из сказки про Изумрудный город,
солома и жесьть!
Мои хтонические боги,
не бросившие меня в посудной лавке века,
там, за всеми ненасытными пределами,
ждите меня веселым!

КОНЦЕРТ

На дне рыбака
в Сикачи-Аляне
смотрел концерт
с робкими нанайцами.

Войну мышей и лягушек
изображали танцоры,
ступая осторожно
и палочками стуча.

Но почему-то
мышей было много,
а лягушка всего одна —
круглолицая
бабушка Индяка.

Она смешно переваливалась
с боку на бок,
трясла то одной ногой,
то другой.

Ква-а-как! —
 щуря хитро глаза,
 кряхтела старушка —
 Ква-а-как! —
 в абсолютной тишине.

Потом смущенно пели
 дородные женщины
 в гармонических костюмах:
 — Ой хани на!
 Ой рани на! —
 а молодые девки
 отвечали:
 — Ой рани на!
 Ой хани на!

— Цивилизация Мохэ, —
 сказал мой ученый сосед, —
 Цивилизация Мохэ...

ШАПКА

Все белым-бело от снега,
 только чернеет и парит
 люк канализации.
 Деревья в саду пахнут апельсинами,
 синие сумерки расцвечены
 маленькими лампочками.
 Бомж Нима приподнимает крышку люка,
 выглядывает на свет,
 одежда на нем дымится,
 он гладит себя по волосам,
 на лице застыла гримаса ужаса.
 Вот и новый год.

Где-то бомбочки взрываются,
 но пушист так снег, и соединения его еще так новы,
 что по снегу ходить страшно.

Тук- тук — стучит кровь в голове.
«Шапку, — думает Нима, — шапке».

Контора погружена во тьму,
в окна отражаются огни машин.
Над входом горят электрические елочки:
справа — зеленая,
слева — красная.
Нима подходит к парадным дверям,
долго топчется,
не решаясь нажать на кнопку звонка.
Облако пара поднимается над ним.

Сторожей в конторе два:
один добрый, другой — злой.
Добрый обычно подает Ниме что-нибудь из еды,
иногда пускает его погреться.
Злой испуганно смотрит на Ниму сквозь стекло
и ничего не подает.
У него всегда сумерки.
Добрый любит иллюминацию.
Елочки у доброго горят всю ночь.

Сегодня дежурит добрый.
Он открывает дверь Ниме,
но тот не заходит,
боясь наследить и напустить холоду,
а только мелко-мелко кланяется,
извиняясь за беспокойство.
«Что тебе?» — спрашивает добрый.
«Шапке», — отвечает Нима.
Добрый приносит ему вязаный колпак,
сухую рыбу и соль.
«Ура!» — кротко восклицает Нима
и бежит к себе в нору,
прижав к груди дары.
Скрипит снег...

ОСЕНЬ ВЕЧНАЯ ТИХИХ ЛЮДЕЙ

Об одном сумасшедшем художнике
хочу написать.
Он тощенький, с впалой грудью,
зубы лопаточкой вперёд, как у кролика,
взгляд мечтательный,
бежит он по улице, размахивая сумкой,
истории ему мерещатся,
а дома всё нехорошо, выселяют уже,
за коммуналку астрономические долги,
но кто еще в этом городе может
сравниться с беднягой силой мечтаний?
Его рассказы дребезжат от мечт,
он едет в трамвае — мечтает,
ест суп — мечтает,
лекцию читает — а он читает,
читает курс маркетинга! — мечтает.
Предмет мечты всегда одет в костюм-юбочку
или в черное платье с завязочками,
покрой одежды предмета мечтаний
всегда-всегда из веков средних.
Сидит он, предмет, сложивши ножки,
на трубе индустриальной,
и волоса у предмета распущены по плечам.
Или еще в парке среди листов облетающих
идёт он к предмету, придумывая стих:
«И костюм ее серый короткий,
и на юбке разрез — боже мой!»
Скорей-скорей! Убить Сою! Оторвать ей голову!
Зачем она
не носит брюк!

* * *

И у стада, и у реки обычай один:
соблюдать течение, камнями шуршать.
Что тут скажешь? До старческих седин
ходить за скотом, ветру подпевать,
рта не размыкая, спины не разгибать.
Только в этой доле я вижу смысл.
Утро похоже на чашку молока.
Дети при встрече волнуются: «Пока, пока!»
Мимо, мимо иди, молчаливый пастух.

Владимир Башунов

* * *

Как прихотливо движется река:
вот солнце было слева, вот уж справа.
Как хороша береговая справа
в кудрявом окаймленьи тальника,
в лугах, в стогах, всхолмленьях за лугами,
где сосны горделиво взнесены,
где зоркий коршун плавает кругами
над чашей оживленной тишины.

Туда бы мне!.. Зачем всегда нас тянет
в чужие, незнакомые места?
Желание, которое обманет:
там та же, что и всюду, маята.

Но каждый раз — но каждый! — из вагона,
автобуса ли, с теплохода ли
зовут те виды, что стоят вдали,
волнует тайна жизни той земли —
как свод ночной, как сны, как время оно.

ИСКУС

Мне это выражение привычно:
— Ты не в лесу, веди себя прилично, —
одергивают взрослых и детей.

А что ж в лесу?

А там без оговорок
кричи, топчи, безумствуй —
для егоров,
не помнящих родства, полно затей.

Никто не остановит. Разве осы?
Но это редкость, и свои запросы
реализует всяк, кому не лень.
Кому не лень и дома не сидится,
потешит кровь — не станут с ним судиться
ни муравей, ни иволга, ни сень
древесная, кольшемо-живая...

Пространство оскорбленное сжимая
в своей руке, самим собой гордись,
пока природа вкрут тебя пасется
и не впадает в искус превосходства,
пока она не отмахнулась: «Брысь!»

* * *

На двенадцати подводах едет зимняя ночь,
едет, ленно понукает, не торопится.
Будет времечко подумать, кто задуматься не прочь,
пока небо за окошком поворотится.

Поворачиваясь, небо, не шатаясь, не скрипя,
поворачивает время задом наперед,
точно жемчуг из пучины, ниткой памяти скрепя,
выбирает и выбрасывает на берег.

Любо-дорого забраться одному, без сторожей,
в закоулки прошлой жизни, дальше отчества:
к Шевардинскому редуту от крестьянских мятежей
и в Михайловские пущи одиночества.

Ничего там не поправить, ничего не подсказать,
никого не остеречь там, но сторонкою
незамеченным пробраться вслед за войском под Казань,
неуслышанным наведаться к Саровскому.

Слава Богу, все там живы, все при сердце и уме,
есть на что полюбоваться, где постранствовать,
пока едет неспешно ночь на горний свет, во тьме
просиявший над российскими пространствами.

ПОПЫТКА ОПРАВДАНИЯ

По светлому полю пшеницы
скользит неуклюжая тень.
Крикливая хмурая птица
летает вблизи деревень.

За что эту птицу не любят?
И словно бы счеты сводя,
за что ее гонят и губят
без цели и чем попадая?

За то ль, что цыпленка утащит,
в саду облепиху склюет
и очи нахально таращит?..
И это зло помнит народ?

За то ли, что снова и снова,
смущая музейный покой,
с волшебных картин Васнецова
уколет внезапной тоской?

Кружа по-над битвой кровавой,
слетая до сирых дверей,
предсказывал поклик картавый
великую скорбь матерей.

Но птица ли в том виновата,
и крик ли ее виноват,
что в поле стоят угловато
истлевшие тени солдат?

С восхода пройди до заката —
шевелиятся в поле века.
Но птица ли в том виновата,
что скорбь на земле велика?

Убив, не залечите боли,
убив, зашвырнете в кусты,
а светлому русскому полю
не хватит былой красоты —

штриха,
векового слиянья
тревоги и тишины,
печали-воспоминанья,
подспудного чувства вины.

РОДНЯ

Я хотел бы пожить незаметно
и неслышно — как дышит трава,
ходит сон, или в думке заветной,
словно в дымке, плывет голова.

Я хотел бы, чтоб время и место
не совпали в глубинах числа,
и нездешняя женщина — Веста
мимо окон огонь пронесла.

И следя это чистое пламя,
и любясь походкой ее,
я бы вспомнил, какое за нами,
не смолкая, шумит бытие.

И какая громада народа
неотступно идет по пятам,
что в себе схоронила природа,
расселив по укромным местам.

И сознав себя кровною частью
столь обширной, столь славной родни,
я б расслышал в себе их участие,
как мое в них, должно быть, они.

РАДОНИЦА

Опустишься в сон, как в глубокую воду,
и там, в глубине,
пройдешь по любимому сердцем народу —
друзьям и родне.

По тем, с кем уже не увидишься въяве
ни нынче, ни впредь.
Ах, кто не мечтал не в болезни, а в славе
легко умереть.

Но что перед жизнью пустые мечтанья!
Как огненный смерч
приносит с собою испуг и страданье,
так ранняя смерть.

И я не хочу никакого загада —
не стоит гроша,
ведь муку чужого предсмертного взгляда
узнала душа.

И я не хочу, точно птица, попасться
в силки, как в беду.
И в день поминальный, девятый по Пасхе,
я вновь к ним приду.

И вновь я услышу, как дышат могилы,
пресилив тиски,
остатком еще нерастроченной силы,
любви и тоски.

И вновь я увижу, как светел и тонок
небесный оклад.
И женщина плачет. И прячет ребенок
взрослеющий взгляд.

* * *

Правда оправдится — разве не так
говорит собирательный опыт?
Разве мрак, набегая на мрак,
не родит в себе злобу и ропот?

Только ропот и злобу одни,
только пустошь и темные силы.
Разве даром блуждают огни,
где всхолмляются, множась, могилы?

Разве сердце не плачет тайком
о любви, о надежде, о вере?
Разве Бог открывает пинком
двери в мир или райские двери?

ПАСТУХ

Под сенью листвы, в пестроте мотыльков,
в чаду испарений
пасутся в низинках стада огоньков
и марьин-корений.

А где же пастух? Не видать пастуха:
ушел без доклада,
оставя одних — далеко ль до греха! —
пасть без догляда?

Ушел, загулял, задремал ли в тени?..
Но чудится облик,
сквозящий повсюду — скажись, не томи! —
как призрачный облак.

Скажись, покажись, заведи разговор,
утишь беспокойство...
Ведь все ощущает дыханье и взор
особого свойства.

* * *

День простоял — и снова морок,
и снова, крадучись, дожди
пришли и стали между горок,
что впереди, что позади.

Тянись с надеждою во взгляде
за край небес — все та же мгла,
все то же там, как в палисаде,
в ограде,
в улочках села.

— Пропал покос?
— Пропал.
— Хреново.
— Не привыкать для наших мест.
Вон снег-то белый, да корова
не ест, а сено черным съест...

В который раз дивлюсь терпенью,
уменью наших мужиков
встречать усмешливо явленья
стихий, несчастий, дураков.

Не отшатнуться, но примерить,
не захандрить, но подмигнуть.
И этой силе не поверить.
И это сердце обмануть!

СОН О ГЕОРГИИ

Когда в земле родной неправда
царит, и властвует Бирон,
тогда везде течет Непрядва
— во всех углах, со всех сторон.

А сердцу снится чудный сон.

Как будто воин величавый,
овеянный небесной славой,
летит на взмыленном коне
по обескровленной стране.

И в страшных корчах души злые
следят за ним и за конем.
Сейчас, сейчас настигнет змия!
Сейчас, пронзит его копьём!

* * *

За легкой беседой при легком вине
смешно говорить о тоске и вине,
наивно, позванивая хрусталем,
истомно журчать о боренье со злом.

Для этого нужен граненый стакан,
да водка, да пьяный какой истукан
— случайный товарищ, дурак или нет,
неважно, но что-то рычащий в ответ.

Тогда в самый раз за народ постоять,
рубаху порвать и упасть на кровать,
чтоб утром с похмельной дурною башкой
обжечься взаправду стыдом и тоской.

СОВЕТ

Не веришь и не верь,
а я прознал давно:
гони природу в дверь —
она влетит в окно.

Она тебя сильнеей,
не веришь, да учти.
Следи, следи за ней
и разуму учи.

Не подавай вина,
не ослабляй узды:
чуть вырвется она
— не миновать беды.

Как первобытный зверь,
сидит в тебе темно.
И если гонишь в дверь,
то помни про окно.

ВОКЗАЛЬНАЯ ГАДАЛКА

Ты несешь околесицу, ладно,
продолжай, я не стану мешать.
Жизнь летит наугад и нескладно,
так что, кажется, нечем дышать.

Ворожи, записная гадалка,
намекай о судьбе и цене

— мне лукавых бумажек не жалко,
только что мне в твоей болтовне?

Что ты можешь понять по сплетенью
тонких линий, покрывших ладонь?
И открыт ли стороннему зренью
затаенный под ними огонь?

Он струится по всем капиллярам...
Об исходе любви и тоски
что ты можешь узнать по ударам,
отдающимся в кисти руки?

Ты озябшие души дурачишь,
обходя многолюдный вокзал;
ты о них не вздохнешь, не заплачешь...
И за что тебя Бог наказал?

Я смотрю, как ты юбки колышешь,
как ты бойко и ласково врешь.
Я б тебя остерег — не услышишь,
а услышишь, едва ли поймешь.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

К вечеру заморочало,
с неба свесились мочала,
стало скучно и темно.
Стало так, а было этак:
птичий щелк срывался с веток,
рассыпаясь, как пшено,

по садам и огородам,
по искромсанным природам,
по за пазухам, и в грудь
проникая без усилья...

И в ответ вздымали крылья
«ничего» и «как-нибудь».

Ничего, перебедаем,
прах и пыль с Творенья сдуем,
как-нибудь переживем
это лихо и поруху,
принимая на поруку
дым Отечества и дом.

Было этак, стало вот как:
сам-собой явились водка,
помидор и огурец.
Два притопа, три прихлопа...
Издаля дивись, Европа:
не пришел, вишь, нам конец.

Вььем, что ли? где же кружка?
С нами Пушкин и старушка,
что торгует молоком.
С нами вечное терпенье,
Божий сад и птичье пенье
да рубанок с молотком.

Елена Безрукова

* * *

Зеленое окно, когда ты отворилось,
То все ветра вокруг узнали, что ты есть.
Все то, что сердце жгло, еще не сочинилось,
Но в паводке твоём мне проступает весть.

За пьяный запах трав, за звон стрекоз и капель
Здесь платы не берут, но забирают в плен.
Я — тоже часть тебя, я — тоже твой создатель.
Я в омут твой гляжу и с неба, и с колен.

Я зов твой узнаю, он праздничен и светел,
Он как река, где я по берегу бегу.
И все, что я уже нашла на этом свете, —
Горсть мокрого песка на этом берегу.

* * *

Пронесутся птицы над водой
Неподвижной, как во тьме колодца.
И в туманном воздухе сыром
Их немые крылья зазвучат.

Лишь прах и упрячешь
 под тяжестью каменных плит.
Хранить — хоронить.
 Что жалеть на ветру бестолковом?
Я тоже умру.
 Ухнет ветер: и что здесь такого?
И лодка пустая
 к иным берегам полетит.

* * *

Качнулся воздух,
зыбок, многозначен,
Когда весь мир становится прозрачен,
Доверчиво впуская вглубь вещей.
Такой же мой, как Божий и ничей.

Загадкою внезапной непонятен,
Он как рисунок из штрихов и пятен:
Скользнешь — полет, присмотришься — мура.
И тайна где-то теплится и дремлет,
Но ты ведом каким-то знаньем древним,
Что только радость истинно мудра.

Я падаю в набросок, будто в случай,
Прозрачна счастьем улицы плакучей,
И потому незыблемо права
В том, что плыву с деревьями, домами
По небу — словно лодка с кораблями,
И облака стоят, как острова.

* * *

Я просыпаюсь. Я схожу с ума.
Ночь так напряжена — шепни, и — рухнет.
И остро дышит первая зима
В открытой наспех форточке на кухне.

Горячим взглядом по двору скольжу,
Снег выпавший слезами прорезая,
И что-то важное до боли зная,
Ищу слова — и слов не нахожу.

Что означают снега мотыльки
И тишина, отточенная снегом? —
Что жизнь и смерть (хоть та и ходит следом),
Что жизнь и смерть — безумно далеки.

Расстанемся, состаримся, умрем,
И в паузе замрет как будто нота.
Но вдруг проснется и заметит кто-то,
Как остро пахнет снежным октябрём!..

А снег смотреть — что колыбель качать.
Какие в этом счастье и кручина.
Но мне не стыдно плакать беспричинно.
И жить, а это значит — ощущать...

* * *

Так хочется, чтоб пауза звучала
И бредила, но смертью не была,
Чтоб жило в ней желание начала
Острее, чем патефонная игла.

Когда я вдруг замру на перепутье,
Откуда веры и дыханья взять —
И паузу с концом не перепутать,
И вздох на бездыханность не сменять.

Вдох между нот — предшествование полета,
Набухшей почки затаенный пульс.
И выйдут сроки, и нахлынут ноты,
Горячие, соленые на вкус...

* * *

Холодно ходить по краю осени.
Ветхим отстраняя рукавом
Ветер цвета горечи и просини,
Что ты бережешь и для кого?

В сердцевине времени морозного
Давнее тепло, ты, как назло,
Все по чуждым душам поразбросано,
Да сквозь холод их не проросло.

* * *

Посмотри на восток,
к нам оттуда идут облака. —
Есть ли вести из дома? —
Я жду, приподнявшись с постели.
Мы не знаем, откуда мы родом,
но издалека,
потому что привыкнуть к земле
до сих пор не успели.

Помаша им рукой,
облака нас не могут найти,
Мы утратили связь,
мы запутались за поворотом.

Даже просто любить —
Не хватает нам этих пяти
Человеческих чувств,
Точно ведомо большее что-то.

Над землей голоса
для земных — так похожи на шум.
Мы уходим в пески,
а пески отпускать не желают.
Что за странную тайну
я в сердце глубоком ношу? —
Я забыла язык,
на котором она оживает.

* * *

Т. Баймундузовой

Хватая сердцем жизнь, как небо ртом,
Когда дыханье — сплошь из передышек,
Друзья мои, мы плачем об одном,
Когда о разном говорим и пишем.

Мы таинством словесным поросли.
Но, тайн боясь, проходят люди мимо.
Мы — нервы умирающей земли,
И наши клетки невосстановимы.

Ты книжных полок тронь иконостас,
И знанье чьих-то строк придет, как святость.
Кому ж еще, кому, помимо нас,
Кому, помимо нас, еще осталось

Читать дрожа, припав душой к строке,
Где каждый звук навзрыд перецелован,
Читать на нерасхожем языке
Поклонного молчанья перед словом,

Которое — пока еще любовь.
Которое — пока еще Оттуда
И может быть в обличие любом
Проводником к начальному чему-то... —

Не называйте! Главному черед
Быть названным — в свои наступит сроки.
И будет то, что зналось наперед
И больно прорывалось через строки...

Николай Березовский

РУССКИЙ ЯЗЫК

За то лишь русский надо чтить,
что делит гранью тонко:
как счастье с горем выносить,
как гроб из дома выносить,
как выносить ребёнка.

«КУРСК»

*Памяти экипажа
подводного крейсера К-141*

Петлёй будто сдавлена глотка,
А сердце струною дрожит, —
На грунте подводная лодка
Под толщей морскою лежит.

Как будто бы душу украли
И «SOS» ей подать не дают, —
Реактор в предсмертном аврале
Заглушен за пару минут.

И рваная рана по борту,
И в мёртвых отсеках вода, —
Как будто вспороли аорту,
Швырнув в глубину навсегда.

Пустычна — сто метров! — высотка,
 Где твердь под ногами и сушь, —
 И гробом подводная лодка
 Для ста восемнадцати душ.

Над миром по синему небу
 Привычно плывут облака,
 Под Курском до нового хлеба
 Соловушки смолкли пока.

С краёв горизонта полоска
 Закатно затлела, как трут, —
 И «Курску» подводники «Омска»
 Последнюю честь отдают...

Но сердцем надорванным мнится,
 Пусть разум иное твердит, —
 И Баренц под парусом мчится,
 И чудо Господь сотворит.

ЗЕЛЁНАЯ ТРАВА

«Я однажды лежал на зелёной траве...»

Анатолий Кобенков

Мы любили с тобою лежать на траве
 На зелёной, как братья на воле,
 Не седые тогда, голова к голове,
 И с бутылкою алкоголя.

Кроны клёнов над нами сходились шатром,
 И часами казались минуты.
 И от травки зелёной был в шаге дурдом —
 Общежитие Литинститута...

Ни дурдома теперь, ни вина, ни травы
Для тебя, друг последний мой, Толя,
И стихами из умной твоей головы
Прирастёт только вечности поле.

Но покуда я вслед за тобой не ушёл,
Разреши мне, пусть этого мало,
Полежать на траве за тебя, хорошо? —
Как однажды с тобою бывало...

В ОВСЯНКЕ

Памяти В.П. Астафьева

От восхищения немея,
Стою, отбившись от друзей,
На берегу не Енисея —
На берегу России всей.

Под звуки дружеской гулянки,
Омыв Саян крутых бока,
Как вдоль России —
вдоль Овсянки
Течёт прозрачная река.

И круча берега другого,
В её сияя глубине,
Как дар для гостя дорогого,
Вершину подставляет мне.

И я шагну, как на ступеньку,
С неясною в душе виной,
И разгляжу не деревеньку,
А всю Россию в ней одной.

А как в Овсянке купол храма
Окрасит в золото закат,
Со мною рядом встанут мама,
Из сорок первого солдат...

Я зачерпну воды пригоршню
И с одного глотка напьюсь,
И вкусом слаще, вкусом горше,
Наверно, только слово — Русь.

А вечер синий и щемящий,
Как взгляд Астафьева, когда
Он видит то, что, нас щадящий,
Нам не расскажет никогда.

Отдёрнув неба занавеску
Лишь на мгновенье, как в грозу,
Вдруг Богородица без всплеска
Уронит в Енисей слезу.

И кто увидит и услышит,
Как, над Россией вознесён,
Астафьев в скудном свете пишет,
Слагая буковки в поклон?..

ШТОРКА

Уже иное что-то слышится
Из будущего далека...
А шторка на окне колышется —
Наверное, от сквозняка.

Закрою форточку оконную,
И дверь замкнёт моя рука,
Но шторку, по бечёвке ровную,
Колышет всё равно слегка.

Кольшет, от крахмала ломкую,
Как увлекает не спеша...
А может, на бечёвку тонкую
Моя нанизана душа?

И с ней, такую невесоую
И света белого милей,
Играет, как с игрушкой новою,
Сквозняк из потайных щелей?

Владимир Берязев

НА БОЛЬШОМ ЯЛОМАНЕ

На Большом Яломане вдоль русла лёд,
А вода, как жидкий кристалл течёт.

На Большом Яломане, прозрев к весне,
Полыхает багульник на крутизне.

В золотую кольчугу одет Алтай,
Эхом эпоса слышится: «Маадай!»...

В синеву вновь возносятся без помех
Склоны горные — выцветший лисий мех.

Всё случается вовремя, как всегда,
Закипит в клюве ворона кровь-руда.

Я вернулся, я вышел на старый путь:
Оглянуться можно — нельзя свернуть.

* * *

Ничего не говори,
Ничего.
Мы уедем на покос
С ночевой.

Под клубнику мы возьмём
Два ведра
И гармошку, чтобы петь
До утра.

Пусть в сельпо голым-голо
И учёг.
Мама сладких пирогов
Напечёт.

Мама будет хлопотать,
Провожать.
А мы будем всякий раз
Уезжать.

Годы стронулись — цветной
Хоровод.
Мама, я уже не тот,
Да, не тот.

Рукавицы распусти,
Не латай...
Ведь Кузбасс уже не твой,
И Алтай.

Там, в Тавриде — край земли,
Моря край.
Я прошу тебя, прошу:
Не хворай.

Лишь бы мог я, воротясь.
Сгоряча,
Прислониться до родного
Плеча.

* * *

Чурай, душа, червовой страсти миг,
 Беги, беги, покуда не устанешь,
 Пока не сладишь серыми устами
 Запечатлеть новорождённый крик
 Свободы, совершившийся меж нами.

Ты тщетно прикрывала устье рек
 Ладонями,

отталкивала пламя...

Но пал барьер стыда между полами,
 И языки лизали влажный снег,
 И лишь стихия правила телами.

Тот звук древней, чем память о тебе,
 Так пел варган под сводами пещеры
 Ещё до нашей и не нашей эры.
 А я любил и плакал о судьбе,
 Что оказалась щедрою
 без меры.

* * *

Ангел мой...
 Оттепель, таянье,
 Слепну на синей меже.
 Тайная область свидания
 Не достижима уже.

Но, погоди, не загадывай,
 Не торопи, не шути!
 В звёздной дали мириадовой,
 Там, далеко впереди —

Где-то за мартовским маревом,
 То ль на трамвайном кольце,
 То ли на солнце миндалевом,
 На воробьином крыльце

Встретимся, ангел полуденный,
 Встретимся, милая, мы!..
 Флейтою, зябкою лютнею,
 Как из бродяжьей сумы,

Душу поющую выну я,
 Чтобы звучащим лучом
 Тонкую нежную линию
 Сделать письмом...

НИ О ЧЁМ.

* * *

Залив Таманский пепелен и нем,
 Ржавеют листья, иней на ограде..
 Лишь дрожь и мука желтых хризантем,
 Как будто плач и просьба Христа ради.

Безотчий..
 Отчего это со мной?
 Песок серее самых серых буден.
 Нам не уйти от жизни жестяной,
 Не так ли, землячок Егор Прокудин?

Мир — без любви.
 Сапожник — без сапог.
 Эринии вопят как на эстраде..
 Эвксинский Понт шумит, как римский полк
 Периода военных демократий.

* * *

Меж рам заплутавшая муха
 Жужжит веретёнцем седым..
 Пряди же молчанье, старуха,
 Пылящим лучом золотым.

Махровый закат георгинов
 С печатью морозного сна...
 Инкогнито, ложе покинув,
 Смётся, а дама бледна.

Но — кто она? Плачет Арахна,
 Все сети по ветру летят.
 Пора, но, помилуй, как рано,
 Ещё не осыпался сад.

Ещё... Но в обугленных грудах
 Уж нет и подобия грёз,
 Ах, сударь, всё это всерьёз!

.....

И осы в картонных сосудах
 Погружены в анабиоз.

Все ульи укрыты в омшаник,
 Все угли уснули в золе...
 Тишайшая осень. Лишайник
 Пылает на голой скале...

* * *

«На диком берегу...»

К. Рылеев

Снова коровы ревут.
 Утро деревни.
 С берега на Умреву
 Тарской царевны
 Тянется лугом фата,
 А за туманом —
 Вновь багрянится вода
 Над атаманом.

И с Иртыша до Оби —
 Тарой, Чулымом
 Сколько назад не гребли —
 В неразделимом
 Времени, сердце, огне
 Вместе поныне —
 В небе, в могиле, на дне,
 В алой полыни,
 В стане стальном Ермака,
 В ставке Кучума...
 Всех породила река,
 Родина, дума.

Вновь погружаемся, брат,
 Дальный и вольный,
 В перепелиный закат,
 В пепел окольный.

* * *

А станционный смотритель
 Где-то за Карасуком,
 Словно бы давний мыслитель,
 Лишь с облаками знаком.

Четверодневной щетиной
 Схож со стернёю степной,
 Смотрит за тягой утиной,
 Клонится тягой земной.

Мыкает рядом корова,
 Трогает рогом забор,
 Скорый в начале второго
 Вздор подымает и сор.

В сини и золоте тая
 И сотрясая средю,

Грохот от края до края
Пересечёт Кулунду.

Вздригнет озёр ожерелье,
Птицы замрут в камыше,
И, с непонятною целью,
Станет легко на душе.

Выйдет старик за ограду,
Слушает ветер живой,
Солнце по синему скату
Падает вниз головой.

Счастья не просит у Бога,
Щёку подпёр кулаком...
Небо полого-полого
Где-то за Карасуком.

* * *

Ты купишь мне цветущий цикламен,
Взамен любви и нежности взамен.

Зима настанет, долгая зима,
Но мы сумеем не сойти с ума.

Сегодня снег и завтра тоже снег,
И сумрак не кончается вовек.

В ночи — горящий город над рекой
Окутан то бураном, то пургой.

Но этим снегом с четырёх сторон
Наш старый подоконник озарён.

И стынет чай. И плавится лимон.
И видит сон премудрый Соломон.

Я вижу сон, ты тоже видишь сон,
И песнею истаивает он...

Как странно жить в эпоху перемен —
Взамен любви и нежности взамен.

* * *

В обществе бомжа и нувориша
В переулке рыжего Парижа,
Юную француженку увижу
Где-то у вокзала Сен-Лазар.

И она, как девочка на шаре,
Стебельком нечаянной печали
Выгнется, пока в моём бокале
Алая колеблется лоза.

Фонарей оранжевые крабы
Заполняют города масштабы,
В баре окликаются арабы,
И толпа течёт по мостовой.

Что же мы, клошары и пропойцы,
Не бежим на зовы колокольца,
И не дарим ласковые кольца,
И зонта не носим за тобой.

Скажут мне: «Очнись». И я опомнюсь.
Оборвётся варварский апокриф,
И глотка томительный апостроф
Растворит заветный силуэт.

И другой поэт или скиталец,
Чукча, нганасан или китаец,
Пусть увидит тот же самый танец
Через много-много-много лет.

* * *

Чёрные птицы над Обью.
Трубы дымят.
Образу или подобью
Равен закат.

Зимнего неба прозрачный
Синь-фиолет.
Арочный и многозначный
Мост-силуэт.

Город у края ночного
В редких огнях —
Сна потаённое слово,
Мрака родня,

Крупно и резко очерчен,
Черен и строг...
Никнет заката свеченье,
Тёмен восток.

Словно владыка пейзажей
Вызнал момент —
Углем и тушью, и сажей —
Рокуэлл Кент.

* * *

Кошки серы. Музы глухи.
Сумасшедшие старухи обирают лопухи.
У пивнухи «Бабьи слёзы»
Рыжекудрые стрекозы кормят бомжика с руки.

Девка с фейсом Умы Турман
Стеклотарою по урнам пробавляется слегка.

А сирены воют, воют,
Крутят синей головою, мчатся к чёрту на рога.

Всё обычно. Всё как надо.
Мимо Кировского сада ты без нужды не ходи.
Это вечная морока,
Бога ради, ради Бога — не осужден, не суди.

Будет вечер, будет утро.
И разводы перламутра, и заутрени трезвон...
Бьёт крылами вещей город. Подними повыше ворот.
Новый день — как новый сон.

ИЗ КИРШИ ДАНИЛОВА

песня

Во сибирской украине,
На Алтайской стороне
Я люблю... а ты отныне
Будешь помнить обо мне.

Никакого приворота,
Никаких таких чудес,
И не слава,
И не мода,
Не пиковый интерес,

Не молва, хулы служанка,
Никака тоска-печаль,
Не богатства самобранка,
Не поэта фестиваль...

Нет, ни то, ни даже это
Для любви не указ.
Ширь и радость бела света
Ей как в самый первый раз.

Вновь своей не зная силы,
Я пускаюсь в дальний путь!
Из-за моря, из могилы
Ты меня вольна вернуть.

Окликаньями твоими
Полон въяве и во сне —
Во сибирской украине,
На Алтайской стороне.

* * *

Анатолию Кобенкову

И вновь собеседника нет у меня.
Один у огня.

Лишь тени толпятся у светлой черты.
Дай знать, если ты!

Я трону до дрожи свой верный варган,
Наполню стакан.

В твоём измеренье стаканы пусты...
Садись, если ты.

Мы будем весёлое пламя качать,
Молчать и молчать.

Мы будем о вещем Байкале скучать
Опять и опять.

Без слов, без надсады и без суеты
Присутствуешь ты.

* * *

С. Самойленко

Друг задремал,
Головою клонится вперед
В аэрокресле.
Ну-ка поставь позабористей, первый пилот,
Элвиса Пресли.

Видишь, сошлись
За багровой зари полосой
Сны-океаны?!
Жаль, что не ты меня вёз над байкальской грозой
Через Саяны.
Водка
На десяти тысячах окрылена
И огнепала.
Холст облаков, наподобие мокрого льна.
Ширь без начала.

Шорох пространства за бортом.
Турбины шумят.
Ангелы брешут.
А мы летим и летим,
на закат, на закат
Вдоль побережий.

Нету пристанища в небе,
Поэту кранты,
Но как убитый
Спит он и знать не желает последней черты —
Пьяный и сытый...

15 марта 2005, Москва-Париж

* * *

Если есть под рукою песок и зола,
Мы отмоем чугунок до бела.

Если есть под ногами зола и песок,
Два полена и хлеба кусок,

Значит будет очаг и шурпа в котелке,
Ветер в кронах и снасти в реке.

Будут к пламени ластиться пепел и мгла,
И снова разговор игла...

Снова, заново, слышишь, покуда в золе
Тлеет уголь на этой земле!

* * *

Д. Меньшикову

То ли гарпии, то ли сирены —
Переключкою стереозвука в мастерской у Данилы
Выпархивают под потолок
И опять исчезают в компьютерном лабиринте,
И мерцает пустой монитор,
И мерцают картины:
Натюрморты, пейзажи Абрашино,
Женские бедра и шеи
И цветы золотистые
на еще не просохшем холсте...

Этнорок

и камлание птичье,
И свисты листвы изумленной
Окропленную кровью Орфея,
И каменный шорох Алтая,
И нефритовый ветер,

Поющий о древе желаний,
Отряхающий сакуры цвет
И роняющий плод смоковницы...

Это рок.
Это кроткая гибели поступь...
А воск из ушей вытекает.
И корабль, забытый ветрами,
 не верит пространству,
Лишь пучины молчание
 ощущая грудью бортов...

А ты ладишь подрамник.
И молчишь.
И не слушаешь эту
 молодую и мифотворящую музыку.
И поэтому,
 и несомненно,
 конечно же,
И вчера, и сегодня —
 ты прав.

* * *

Бахыту Кенжееву

В подвале забытом бухали с Бахытом —
И антисемитом, и космополитом,
И метр на метр, и литр на литр,
Шелом на шелом и пюпитр на пюпитр...

Не пропили родину, начали только,
Не прокляли Бога, не предали долга,
А долго и дымно, темно и ничтожно
Внимали тому, что понять невозможно.

.....

.....

Пылала «Массандры» дельфийская влага,
 Трещало соцветье российского флага,
 Кричала Кассандра у стойки пустынной
 Про бездну разверстую над Палестиной.

В ГОРАХ

I

Верю, всё подвластно Слову,
 Гром его десятибалл.
 Ты ли дал Творенья мову?
 Ты ли говорил Иову?
 Ты ли горы создавал?

Вздыблен до великолепья,
 Хребтогребен, среброглав
 Камень Божьего веленья,
 Лик сиянья, храм нетленья,
 Сталь молитвы, стон моленья,
 Торжества его Устав.

II

Следы Великого Потопа
 Ещё видны на высоте —
 Террас уступы, русла те,
 Что Ледовитого Озноба
 Поползновения хранят.

А Ной уплыл на Арарат,
 А по террасам овцы бродят...
 А всадник едет и поёт,
 Кнутом копыта достаёт,
 А полдень всё не настаёт...
 И ничего не происходит

* * *

Золоторогим пельменем луна взошла
над Ильгуменем

И осветила облака.

И, каждое на прежнем месте,
головоногие созвездья

Во тьме нашарила рука.

И по отдельности, и скопом мрак
недоверчивым Циклопом

Пересчитал своих овец.

В пещере ночи стало тихо. И лишь
вздохнула мамонтиха,

Бредя луне наперерез.

* * *

Михаилу Вишнякову

Когда бы не кочевний бег

Да нищета,

Я был бы данником во век

Твоим — Чита.

Но не тягаться мне с судьбой

В мои лета.

Одна под чашей голубой

Лежит Чита.

Вокруг земля на тыщу вёрст

Как дом — пуста.

И стынет звёзд осенний воск,

И спит Чита.

Куда бы не поехал ты —

Кругом тщета,

От Колымы до Воркуты —

Одна Чита.

* * *

Колодезного холода бадья
 Покой переплещёт через края
 Так, что утихнет ветер в голове
 И не растает иней на траве.
 Тропа моя окажется пуста.
 Душа моя покажется чиста.
 И красные осенние кусты
 Осыплют на ладонь свои листья.
 Как сладостно струится жизнь моя
 На грани сна и полузабытья...
 Как тихо исчезает жизнь моя,
 как птичий след по краюшку жнивья.

* * *

Наливала стакан молока,
 подавала беляш золотистый,
 было около так сорока
 ей, наверное, или слегка
 за... неважно,
 уже ничего
 не поправить, не выплакать, не
 вернуть.
 Но смеются глаза,
 но подружки из-за прилавка
 ей кричат: «Гульчатай, не робей!»,
 и снующих у ног голубей
 распугав, она сдачу считает...

Боже мой, это всё неспроста!
 Затаилась её красота,
 ожидает чего-то, кого-то...

Так и есть, дальнобойщик хамит,
 федеральная трасса шумит,

свищет пламя черёмух с обочин,
джипы, фуры, автобусный люд,
шорох денег и жизни салют,
и проезжего долгие взоры.

Бог на небе.
Любовь позади.
Что поделаешь, сам посуди,
карусель не имеет начала
и конца.

Я рукой помашу,
я архангелу всё расскажу,
пусть поплачет о ней,
пусть поплачет...

PARNASSIUS APOLLO*

Он пожаром Трои опалён,
Потому и назван «аполлон».

Розовый, в подпалинах огня,
Разовому времени родня.

Крыл его летучий парафраз
Вспыхнул над поляной и погас.

Он сомкнул их, осязая сон,
На арчине**, снегом занесён.

Книги, каталоги, словари...
Тень свою поэту подари!

* Аполлон, вид бабочки.

** Можжевельник (*алт.*).

В этом освещении косом
Ты, как нежный эрос, невесом.

Украдут жену, пророк умрёт,
Откочует в Азию народ,

Там, где ничего не залатать,
Будет только бабочка летать.

Будет только бабочки крыло
Помнить всё, что верило и жгло...

Ну, а ты, одноимённый бог,
Не сберёг ты город, не сберёг.

* * *

Раисе Ерназаровой

Ещё задолго до Дельфийского оракула,
Во дни Шумера и Амона-Ра
Мой дух летал на плато Никарагуа,
Вздымаясь от алтайского костра.

Я был с друидами на круге Стоунхенджа,
Я гимны пел, я славил звёздный свод.
И в Аркаиме — страждущий невежда —
Я Зороастра слушал у ворот.

Века крушили троны и преданья,
Песнь становилась ветром и ручьём,
Мысль облекалась в морок мирозданья,
Затягивая знания быльём.

Но над руиной жаворонок ожил:
Гэсер! Гэсер! — трезвонило с небес.
Сказал монах во тьме: «Помилуй, Боже».
Град пробудился, а гуслир — воскрес.

Вы, зрячие, не ведавшие чуда,
Сквозь вас течёт сияющая нить,
Чтоб оседлавши жёлтого верблюда
Пророк ушёл и умереть,
и победить.

* * *

Не сочиняй, не придумывай, просто смотри
в тёмную воду, на углей багровое тло,
вместо Вергилия выбери в поводыри
это течение, это мерцание, это тепло.

Так погружаемся... Так, хронотропную мглу
одолевая, мы видим пустой Назарет:
пыльная осень, Мария стоит на углу
возле арабской кофейни с ларьком сигарет.

Скоро декабрь. Живот, как большая луна,
полон, огромен и перевалил через край,
переждидай светофор, молодая жена,
ангел, храни тебя крепко! и ветер, играй

то ли хиджабом, не вижу я, то ли платком,
вот поплыла, понесла сокровенный сосуд,
все оглянулись... и замерли, и тронуло холодком,
чрез перекрёсток
надежду последнюю
нашу несут.

* * *

На веранде дома деревянного,
от зимы еще не отошедшего,
я слоняюсь — сам не хуже пьяного
грузного шмеля, едва нашедшего
выход из норы, где зимогорами

ждалились мы тепла насущного
и — поющей Пасхи над соборами,
и — замены тощего на тучного.

На веранде, светом перекрещенной,
с шевельем сора прошлогоднего,
с кучей дров, с извиистой трещиной
на стекле, с остатками исподнего
в банной шайке, с ветхими растениями
на столе, в кувшине мне подаренном,
я торчу — и глупо и растерянно,
как теленок посередь проталины.

На веранде, сквозняками обжитой,
с верстаком, со стружкой почернелюю,
с кирпичом корчагинского обжига
(из него тандыр, быть может, сделаю)
и с рыбачьей снастью, что по осени
на гвоздях повисла, не разобрана,
я опять ворон считаю до семи
и плюю на все четыре стороны.

На веранде, верю я, на родине,
где за огородами — околица,
где лишь самородной боли отдано
все, что окликается и молится,
где еще побуду я, не призванный,
не прощенный пленник мира данного —
братом, человеком, а не призраком,
на веранде дома деревянного.

СИНИЧЬЯ СМЕРТЬ

От ветродуя, стужи, голодухи
Синица залетела на чердак,
Где по щелям в анабиозе мухи
И кавардак.

Проверила опилки и стропила,
 По балкам пробежала, по жерди,
 Где всякий хлам висит, и позабыла
 Бояться... И запуталась в сети
 Рыбацкой...

Это странное заделье —
 Из ячеи капронной выбирать
 Не плавники, а коготки и перья,
 Синичий пух по воздуху пускать,
 Подобный пеплу...

Думать о прощанье,
 О море том, что всё ещё горит,
 О женщине, о давнем обещанье —
 Оно мне вновь о счастье говорит.

* * *

Светлане Кековой

Ёксель-моксель или гоголь-моголь,
 Три матрёшки глупых и топчан!
 Горя мало, неба — много-много,
 И не дозовусь односельчан.

Там, где утром мама мыла раму,
 Льдинками рассыпан алфавит.
 А Дзеды давно не имеют сраму,
 Спят себе во гробе возле храма
 У седых развесистых раки.

Этак сяду ночью на крылечке,
 Запыляет гроздью Орион.
 Всё от Бога, братцы, всё от печки!
 И везде, повсюду перезвон.

Оживают нежные созвучья,
 Плачьте хором чукча и хасид,
 Где лучей серебряные сучья
 Древо мироздания трусит.

И язык, как чудище морское,
 Восплаывает под небесный кров,
 Наполняя счастьем и тоскою
 Вечное сияние миров.

ХАБАРОВСК-МОСКВА

14 февраля 2007

В плацкарте проводницы расцвели,
 Румяные — со швабрами парят...
 Им до весны, повдоль седой земли,
 Ещё четыре рейса, говорят.

А в тамбуре — морозная пыльца,
 Свистит метель в разбитое стекло.
 На полустанке тьявкает с крыльца
 Лохматый пёс, устало и не зло.

И лес уже не помнит о себе,
 Урал снегами заперт, затворён.
 В буранной люльке, в прозрачной трубе,
 В безвременье качается вагон.

Внутри тепло. И простыни чисты.
 И чай горяч. И запах уголька...
 И кажется, что только три версты
 Отъехал ты от юности пока.

Но — ни фига! Разноголосый люд
 Сам по себе — свидетель катастроф:

Китайский щёлк, таджикский перехлюзд
И русский мат летят поверх голов.

Солдат-контрактник брешет о Чечне,
Девушка ему хочет погадать,
Бугай храпит в измятой простыне,
Армянский сосунок мытарит мать.

На полке по четыре, как скворцы,
Китайцы снова жрут свою лапшу.
Шныряют коробейники-купцы.
Немые рады каждому грошу —

Суют под нос иконки, мусор книг.
Старуха с Сахалина прёт икры
Четыре пуда, кижуча балык
И фляжку героина — для сестры.

Палёной водки дух из-под полы
Сочится тихо в глотки северян.
И стужа лижет тамбура углы.
И мгла течёт из незакрытых ран.

Туда-обратно съездил — и уже
Полмесяца смахнуло языком.
Туда-обратно — пахарь по меже.
Туда — Москва, обратно — в горле ком...

И кулаком проталину в окне
Ты судорожным жестом продави:
Ревком в огне, Георгий на коне,
И век уже без мира и любви.

Коловорот, Микула, Николай!
Круговорот и полымя пути!
Из края в край, на Ирий или рай
Пускай ложатся рельсы впереди...

* * *

Поздно, братец мой, мне быть альфонсом,
Скоро душу в ночь соборовать...
Разве мало под луной и солнцем
Места и любить, и горевать?

Нежности корыстной не приемлю,
Ни жене, ни власти не должал.
Перед небом этим в ту же землю
Я уйду... А кто бы возражал?

Здесь, клонясь во брани невозможной,
Ранен я, но не сошёл с коня.
Гроыхай карета жизни пошлой
Мимо недобитого меня.

Есть ещё у Господа приюты.
И стихи у ангела в горсти.
Есть ещё остатние минуты
Мне по-русски их перевести...

* * *

За дощатой, просящей пощады,
За подпёртой с обеих сторон
Древоколем, за старой оградой
Мы сидим на крыльце впятером.

У соседа скулит кобелишко,
На решётке шипит барбекю,
И на пару Саврасов и Шишкин
Опрокинули по коньяку —

За ворон на изломах забора,
За репейно-овечьё руно
И за охру закатного бора
С тучей розовой будто вино.

С ними вровень дорогу осилив
 И нашарив гармошку в сеньях,
 Запевают Рубцов и Васильев
 О гнедых и соловых конях.

Зернью росною клонятся травы,
 Вдоль отчества стелется дым,
 Поднимаются от переправы
 Вечер вместе с туманом густым.

И какая-то тля золотая
 Пьёт по капельке душу мою,
 Чтобы, вместе с друзьями рыдая,
 Замерла она вновь на краю...

* * *

На куполе храма, шеломе златом —
 Зальсина снега...
 Как долго искал я во поле пустом
 Тепла и ночлега,

Креста, благовеста, отцова перста
 И благословенья
 В дорогу, которая снова чиста
 До благоговенья.
 Простили, простили. Уже ничего
 Бояться не надо.
 Простыли постели пространства Его
 До самого Сада.

Ямщик мой, живей! Уже вижу венцы
 Земного эфира...

.....

Но снова в кармане звенят бубенцы
 Мобильного мира.

КАФЕ «ПУШКИН»

Обильных мяс осётр с икрою несравненной
И стерляди янтарная уха,
Паштет гусиный, зелень, потроха
Каплуны, вертела с телятиной отменной
И — рюмка горькая с полынной синевой
Под ароматы паровых форелей,
Приплывших из архангел и карелий,
Из беломорской дали ледовой.

Ах, архирейский сиг, что жиром истекает,
Разложен на престольном серебре —
Восторженным акафистом горе!
А рядом с ним рубинами сверкает
Наливка клюквенная в гранях хрусталя,
Но, их достоинств мы не умаля,
Всё ж восхитимся мрамором белужьим,
Прозрачностью и розовым окружем
Телес, подобных боку корабля,
Что сотворён таким услады для.

Его икра, как перлы огневые,
Зернисто-чёрно-карие, живые,
На блюде — как у девы на груди...

Но погоди, мой друг, не уходи!
Ведь это всё Державин, а не Пушкин,
Победы гром, империи восход,
Снегирь и флейта, слава, ледоход,
Восторга жизни шумные игрушки.

А мы сидим сегодня на Тверском
В том мире, что поэту не знаком,
Хоть он стоит напротив, зеленея...
Моложе нас, но всё и вся успел.
Он нашу муть навряд ли бы воспел,

Увы — ни Бонапарта, ни Энея,
Ни Гришки, ни Бориса, ни Петра,
Лишь гоблины...

Пора, мой друг, пора
Нам поклониться этому подножью,
Своё храня...
Уже не проклинать,
Но также — и любить, и вспоминать,
И плакать, положась на волю Божью.

* * *

В заснеженных полях и до, и за Уралом
Томительно светло блуждает душа,
Как будто бы летишь за гаснущим хоралом
В замедленном немом обратном монтаже.

От станции Шарья до станции Бочаты,
От снеговой горы до снеговой норы...
Где ситный свет небес и вёрсты непочаты,
Где вечная печаль — наперсница хандры.

В белым-белых валах, в белёсом лабиринте,
В любезной тишине, в засыпанных лесах
Мы встретимся... как вы, хранители, велите,
Чтоб дрогнули сердца на ангельских весах.

И снова — небеса, метели, мгла, сугробы,
Забытый горизонт, заброшенный простор!
И двух прощённых душ нехоженые тропы,
И зябнущей любви бессонный приговор.

*18 февраля 2009,
станция Буй*

ИЗ ГОРНЯЦКОГО ДЕТСТВА

Утром форточка открыта,
А над нею — чик-чирик,
И синичья звень, и сита
Злато-солнечного блик!

Духа блинного шкворчанье
На жаровном чугуне,
И воскресное качанье
Жёлтых зайцев на стене.

Это масленицы марта
Световая кутерьма,
Где, по-козьему космата,
В клети топчется зима,

Где сосульки пробивают
Сто колодцев до земли,
Где ещё весна бывает
В ослепительной дали!

Это рыхлые сугробы,
Под которыми вода,
Это рухнувшие гробы
Грубо колотого льда.

Это, вынырнув из драки,
Мимо станции Топки
Весело бегут собаки,
Свесив набок языки...

* * *

Ю.К.

Мы с тобою служили и служим,
И служенью не будет конца,
Есть покуда межа и оружие,
Милость Сына и воля Отца,

Есть покуда весенние лужи,
Летний ливень и даль Покрова,
Здесь покуда любимые души
И — покуда Россия жива.

* * *

Ангелы хороводятся
На Рождество Богородицы,
В дальней дали от Сибири поют,
Маму мою подсобиравают,
Маму мою успокаивают,
Светлое поле раскатывают,
В белые сани усаживают,
В девий убор обихаживают:

— Ты, Евдокея, работница,
Варница и огородница,
Ты, Евдокея, страдальца,
Божией Матери данница,
Ехай по небу по синему
После труда непосильного,
Тихо твори баю-баюшки,
Ехай по раю по краюшку,
Солнышко, чистая мельница,
Жизнь до луча перемелется,
В доме Хозяина дивного
Дни станут хлебом Единого.

«Ты, цветочек, вырасти большой,
Солнышку откройся всей душой,

Листики пошире разверни,
Стебельки повыше протяни!

Сколько нам жить — напрасно не считай,
Расцветай, цветочек, расцветай»...

.....

Только бы, зелёный мой дружок,
Мышка не смахнула наш горшок.

* * *

Отобрал у вороны подсолнух.
Оседлав, расклевала на треть...
В этой осени линзе подзорной —
Дальнозоркой, лазурной, узорной —
Можно детство своё рассмотреть.

Вновь резные наличники клёнов
Обрамляют небесное дно,
А в бору малахитно-зелёном
То ли лень, то ли облако звона,
И в росе паутин волокно...

В перевёрнутом омуте вижу
Лик Алёнушки, косы осин.
Стой, козлёночек, цокай потише!
Мир, как чаша, глубок и недвижим,
Пей его из младенческих сил.

* * *

Через двадцать лет, шаробокая,
Докатилась русская Мля
До межи, где жив, слава Богу, я
На руинах календаря.

Двадцать лет — как нет, обхохочешься,
Босота да хмеля гудёж,
А мы пели всё: «Куда котишься,
Не воротись, пропадёшь!»

Прокатилась Мля перемельная
Камнем-жерновом по душе —
Наше счастьеце карамельное,
То, которое в шалаше, —

До межи, где мне ещё кажется,
Словно в детстве, веки смежа,
Всё загладится, всё уляжется,
Зарастёт, как след от ножа.

За окопами, за погостами,
Там, где косточки родныя,
Я рыдаю — пень стоеросовый
Под раскатами воронья.

Коль пустым-пуста воля вольная,
Коли веры нет у неё,
Да погибнет эра крамольная,
Да возьмёт надежда своё!

Горе горькое не воротится,
Не замкнёт любовь ворота...
Отмолила нас Богородица,
Упросила Христа.

ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВУ

Брат мой первый и брат мой последний,
Здравствуй, брат!
Белый беркут меж нами посредник,
В жар-закат
Улетающий за нелюдимый
Перевал,
Где печатью неизгладимой
Мир сковал
Дух возвышенный и дерзновенный,
Хан-Алтай.
Где красую неприкосновенной
Длится даль.
На Сумере, где мир безглаголен,
Словно сон,
Ты, сбивавший кресты с колоколен,
Ты спасен.
Ты прощен не за муки бесчестья,
Плен земной,
А за песен свободные вести
Над страной.
Ты не пулей, что в сердце остыла,
Вознесен,
А любовью, чья страдная сила
Гнёт закон.
Здесь крови твоей вольное знамя
Отцвело.
Там души твоей буйное пламя —
Вскленье светло.
Брат мой радостный, брат мой могущий,
Брат живой!
Нежный, хищный, раздольнотекущий,
Ножевой...
Грозной Азии сын белокурый,
Хан стиха!
Солнца знак над твоею фигурой —
Свастика!..

ПОЧТИ ПАМЯТНИК

Собрат по разуму, прими
 Мой бюст, отлитый из металла!
 Налей вина на дно бокала,
 Как принято между людьми,

И подними, как дар и дань,
 Бокал и чокнись с изваяньем.
 Пускай рубиновым сияньем
 Лозы
 омоется гортань.

Пускай я буду походить
 На древних тюркских истуканов.
 Поставь меня среди стаканов,
 Цветов и книг. Я буду жить

Как прежде — на ветру и солнце,
 Смотреть в раскрытое окно.
 Когда б вы знали — как давно
 Моё отправлено посольство...

Оно — то в виртуальной мгле,
 То в сопредельном мире странном.
 Оно тащится караваном
 По приснопамятной земле.

А идол, истукан, болван —
 Лишь след, лишь старое кострище...
 Где — песни, скачки, толковище
 И пот, и кровь горячих ран?

Пролей вино. Чингиса дух
 У шкафа вдруг отворит дверку.
 Как на балбал двуглавый беркут,
 На лоб мой сядет пара мух.

И твой весёлый попугай
Щеку мне окропит помётом.
Следи же за его полётом
И песню новую слагай!

* * *

По положим снегам вдоль берез по холмам невысоким
Мы поедем с тобой на восток в Буготакские сопки,

Где над настом прозрачные рощи слегка розоваты,
И просторы воздушные дремлющей влагой чреваты.

Снова в глянцевых ветках февраль привечает синицу,
И меняет оковы мороза на льда власяницу,

Чтоб по корке наждачной сосновое семя летело
По полям, по долам до золотого от солнца предела.

Мы поедем в деревню, где в бане поленья багровы,
А «Ленд Ровер» на старом дворе популярней коровы.

Там над прорубью цинковый звон, и вторую неделю
Месяц плещет хвостом, в полынье поджидая Емелю.

Я по-русски тебе говорю, пригубивши водицы,
Не годится роптать, коли тут угадали родиться.

Я, как старый бобер, здесь — подвластный и зову
и чуду —
По весне, после паводка, буду мастырить запруды...

ТЬМА И БУРЯ ЗА УТЛОЙ СТЕНОЙ

Пробудившись в ночи,
что ты помнишь о часе рожденья?
Ты качался во чреве,
объят материнскою мглой.
И — кричи не кричи —
ни прощенья, ни снисхожденья.
Одинок, одинок...
Тьма и буря за утлой стеной
деревянного дома...
Какая такая плацента?!
ложесна, пуповина?!
Лишь скрип заржавелых пружин
пожилого матраса,
лишь памяти рваная лента
да оставшихся лет
теплохладный режим.

Как гремит на заборе ведро,
и труба завывает,
и колотится ветер о стену — немтырь ножевой...
Мир устроен хитро,
ничего просто так не бывает:
в страхе телу дотлеть,
а душе — отрядили конвой.

Я в ночи пробудился,
я слушаю времени хрипы,
все конечное корчится в муках и чувствует предел.
Флейты труб водосточных
сыграть
о любви мне могли бы,
но, увы, этой ночью — они не у дел.

Вод рожденья и смерти стоячее море прогоркло.
Каждый лишь в одиночку
сквозь хляби вершит переход.

Слышишь, коли подступит
 под горло,
 под самое горло,
 только не обернись,
 уходи же, душа моя, вброд!

В этой сваре стихий
 слишком много пустого надрыва.
 В этой гонке ревнивой
 на финише
 нечем дышать.
 И поэтому все,
 что действительно — то справедливо,
 по сему, сколь не тщись,
 неизбежного
 не избежать.

Пробудись же в ночи!
 И покуда душа не успела
 для воскресного дела, для Пасхи
 испечь куличи,
 дом мой, топка, дрова,
 кочерга, даже брэнное тело, —
 теплят
 пламя
 в печи...

ЛАСТОЧКИ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ

I.

Как окликается — строкою ли, звездою? —
 Как время катится в Казани золотое
 По кладке каменной, над гулкою водою,
 Как время катится в Казани золотое!
 И на вокзале, и в порту, и на постое,
 В Кремле, во сквере и в саду, и на просторе
 Эдиля-плеса, и в глуши аудиторий —
 Как время катится в Казани золотое...

II.

А нам с тобой еще колечко не отлито,
 И наша встреча не по замыслу Эвклида.
 Лоза склоненная, казанская Лолита,
 Княжна, плененная в эпоху Еврорлита.
 Суюмбеке моя, печаль моя и нега,
 В твою ли келию заглядывало небо?
 Суюмбеке моя, ты в шаге от побега
 Из башни-крепости миллениума-века...

III.

А над Кремлем — и ни аяты, и ни четьи —
 Касатки-ласточки от храма до мечети!
 Как диски-молнии, как искры-телеграммы,
 Снуют и вьются от мечети и до храма.
 Свистят на воздухе, над Башнею завихрясь,
 На виражах по траектории — навыхлест!
 Их гнезда свиты из мелодии и света,
 Из золотых тенет державинского лета...

* * *

На калине ягоды пожухли,
 На траве то иней, то ледок,
 И лесов оранжевые букли
 В колтуны сваялись у дорог.
 Друже мой, по пажитям и весям
 Тишина да белые дымы.
 Скоро отпоем, откуролесим,
 Отъелозим по свету и мы.

Так прозрачна роща, так пустынна —
 Текот дятла да синицы звон.
 Вот уже прохладно и простынно
 Манна упадает на амвон...

Хочется оуклится, забыться,
Задремать у родины в пазу.
И листает умершие лица
Память-ветер, словно на весу.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Ток поэзии, ткань ремесла,
Невесомая лестница света...
Возле моря старуха жила,
Та, что девой любила поэта.

Валом пенным накатывал сон
На морозные рифы коралла,
Ей казалось, что мир занесен
От окраин до гребня Урала.

Параллельного мира лыжня,
Караульные крики сорочки,
Тает в окнах видение дня,
В снеговом пропадя заморочье.

Фонарей золотые круги,
Где рои мотыльковых метелей,
Где пуховые крылья пурги
И смолистые запахи елей.

Было — не было. Бал или блажь?
Прорубь — зеркало или могила.
Что не сбылось — в реестре пропаж.
То, что минуло — сделалось мило.

Ничего, ничего не прошло,
Даже лето и то недалече,
Коли лепетом позанесло
И снегами укрыло по плечи.

И летит по лыжне, по лучу,
 Юной девою пенорожденной,
 Песнь! И вновь возжигает свечу
 Дух — надеждою освобожденной.

в самый темный день 2010 года

ЭТЮД С НАТУРЫ

Над оцинковкой подоконника, за старой рамою
двойной —
 Лазурь небесного иконника, сугроб да вензель ледяной.
 В кувшине мертвые соцветия на фоне снежного горба,
 А дальше — купол новолетия в сиянье зимнего столпа!

На синеве златеет храмина, и крест лучится в вышине.
 И торжествующе, и пламенно уже и в сердце, и вовне
 Во дне рождественские кружева плетутся спицами зимы
 Из ожидания и стужева той жизни, что прожили мы.

ВЕСНА В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ

С марала пали рога на мартовские снега,
 Вот так — и вся недолга: безрог — и не до врага.

А рядом, под треск сорок, проснулись барсук, сурок,
 И город мокрый — продрог, топочет, как носорог.

Я тоже чешу бока — без водки, без табака.
 Лишь лужи и облака, овсянка и курага.

* * *

Паучок, дружище восьмирукий,
Ты зачем плетешь среди зимы
Пряжу одиночества и скуки —
Сеть для ловли пыли или тьмы?

На окне мороз, а не ромашки,
Для охоты — снулая пора.
Ничего, ни мушки, ни букашки,
Ни зануды вечной — комара.

И жилец ничем тебя не сможет
Поддержать. Он сам такой же лох —
Вяжет, нижеет, все не подытожит,
Все никак не выкупит залог

Жизни...
Ты же кружево антенны
Слушай дальше, затаясь в углу:
Звон Вселенной? рокоты Геенны?
Сон младенца, неподвластный злу?

Виктор Брюховецкий

* * *

*Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо.*

П. Васильев

Они уже ходили смелыми,
С февральским запахом чернил,
Они уже считались зрелыми,
А я еще перо чинил.

А я еще гусей отлавливал:
Я ловко прятался в стогу
И гусакам лепешки стравливал,
Чтоб ни «га-га» и ни гу-гу.

И находил во дни былинные
Под Панюшовскою горой
Среди гусиных журавлиные
И ястребиные порой...

Я не в селе теперь, я в городе,
И убивает наповал,
Что не купался в речке Сороти
И в Кишиневе не бывал.

Но, каждый вечер, в час назначенный,
Я сам себя к столу гоню,

Беру из пачки той заначенной
Перо и лезвием чиню.

И обнажаются все доблести,
И мир становится иной,
И все сомнения и горести
Меня обходят стороной.

А мне и впрямь все это по боку,
И я гляжу, гляжу во тьму,
Туда, где Блок идет по облаку,
И нету лестницы к нему.

* * *

Не присягал ни волку, ни царевне,
Центральный гроб не оросил слезой.
Что мне Москва, когда в моей деревне
У деда Сашки дом сожгло грозой.

Что с этим горем съездовские страсти?
Мы знали и почище егерей!..
В моем краю все реже слышно «здрасьте»,
И нищих прогоняют от дверей.

А будущее... Все в одной примете:
В колодце воду достают вожжой —
Коней свели, а цепь украли дети,
Обкуренные мертвой анашой.

Мне так их жаль. Москву не жаль, заразу,
С ее Кремлем, похожим на печать,
Или перчатку, что таит проказу:
И мерзнет кисть, и страшно надевать.

ЛЕСОПОВАЛ

Раскурю «косяк» — часовой нам свой! —
Подопру косяк, подышу травой.

Поплывет барак (весела трава!)
Хорошо-то как!.. И пойдут слова.

То хвоей горчат, то крапивой жгут,
То щепой торчат, то совьются в жгут.

Перекроют дых, собирай-сгребай,
Голой правды в них непечатый край.

Я беру слова, подношу к губам...
Подтянули план к сорока кубам!

Мы берем его не осиною —
Корабельной сосною красивою!..

Пью из чайника. Брага спелая!
У начальника женка белая,

Ликом чистая, зубом частая,
Голосистая да сисястая.

Над брусникою нагибается,
Во весь сладкий рот улыбается.

Из-под темных век два огня плывут:
Не тебе, мол, зэк, гулеванить тут.

Ой, пророчица! Мне ж без надобы,
Мне ж не хочется... А ведь рада бы!..

У начальника нету чайника! —
Есть пять тысяч душ и лихих к тому ж.

Он в заботах весь, не горазд любить...
 Корабельный лес!
 Век не вырубить!

* * *

Судьбы моей суровый матерьял
 С заплатами соломенного цвета...
 О, знать бы, кто меня на прочность проверял,
 И сна лишал,
 И не давал ответа.

Водил смотреть, как через край стрехи,
 Снопы лучей швыряет солнце в окна,
 Как зноя летнего тягучие волокна
 Качают острых тополей верхи.

Подсказывал, мол, вот где скрыто все,
 В огромном диске яростного света!..
 Сармат-кузнец, когда приметил это —
 Ось отковал и вставил в колесо!

Тележное — со скрипом и подпрыгом,
 Оно свело кочевника с ума...
 И покатилося солнышко по ригам,
 Ссыпая золотишко в закрома.

Вставали тени и ложились криво.
 Дышали многоярусно стада.
 Пластая крылья, прижимались к гривам,
 Добычу настигая, беркута,

И замирали в развороте гордом,
 Нацеливая страшный свой удар.
 Дымилась печень, и, кровеня морды,
 Саженой рысью волки шли под яр.

А солнце било это всё с размаху
 Лучами света в локоть толщиной,
 И, расправляя под ремнём рубаху,
 Пел человек, влюбляясь в шар земной.

Я песню эту слышу сквозь эпохи,
 И, принимая будущую тьму,
 В любом цветке, в любом чертополохе
 Я вижу солнце и молюсь ему.

ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВУ

Вот и снова пурга завела карусель,
 Развернула под окнами скуку былую.
 Это Павел Васильев стреляет гусей,
 В вихревом кураже напоследок балуя.

И валит белый пух, над страной гогоча,
 А в подвалах Лубянки ни капельки света.
 И озноб сотрясает плечо палача.
 И оглохла Москва от казачьих душетов.

Ой земляк, сколько выбил из птицы пера!
 Ой земляк, так стреляют лишь перед бедою...
 Наберу полный чан голубого добра,
 Растоплю и омоюсь небесной водою:

Отомрут все печали, пахнет полыньём,
 И на гнутых ногах казаны возле стоек
 Развернут животы над кизячным огнём,
 И татарской луною сестренка босая

Станет дуть на угли, на колени припав,
 И забулькает варево — пшенка с картошкой.
 Ах, как вкусен кулеш с горьким запахом трав
 И печеной на углях пшеничной лепешкой.

И овчинным тулупом туман от реки
 Наползет, и в ночное отправятся кони,
 И в посконных рубашах замрут мужики,
 Уронив на колени большие ладони...

Где ты, эта страна? Затерялась в веках.
 Саманы, таганы, запах пала и каши,
 И тяжелая доля в тяжелых руках,
 И побитые холками задницы наши...

Бей, Павлуха! Пали! Пусть валит белый пух!
 Коль не дали допеть, дайте хоть насладиться...
 Пролетит над страной красноклювая птица,
 Но напрасно замрёт в ожидании слух.

Не допел...Вороной у далекой юрты
 Не дождался хозяина. Вымерло поле.
 Горькой солью, проклятою горькою солью,
 Забивали не только кайсацкие рты.

Я смотрю за окно. Я живу сам не свой.
 Эх, Россия-кошевка, ну, что ж ты, ей-богу,
 Вновь летишь над обрывом... убит ездовой...
 Вороной без вожжей не осилит дорогу.

* * *

Я шкет-суслолов, я сусланов ловлю!
 Пастух меня учит настроить петлю
 Среди ковылей и кипящего зноя.
 Он пахнет седлом, кизяками, костром.
 Потом мы сидим в полынях под бугром
 И курим, и смотрим, как овцы гурьбою
 Стекают к воде, потрясая руна...
 Налево страна и направо страна...
 Вершины курганов неровной грядюю
 Отходят к Алтаю. Как пахнет полынь!

И беркут, пластая тяжелую синь,
 Висит в два крыла над округой своею.
 Тень птицы — то вниз, то спешит на холмы,
 И суслик на свет вылезая из тьмы,
 Свистит и петлю надевает на шею...

Запомнилось: курево, беркут... и это,
 Сквозь тело прошедшее острое лето,
 Суслиные тушки, шкворчащий казан...

.....

И грозы, что нам присылал Казахстан.

* * *

...И широкие скулы неровной гряды
 И кочующий беркут, и перепел в поле,
 И ярлык золотой из далекой Орды —
 Это все моя родина.
 В крапинах соли
 Ночь привязана прочно к Полярной звезде:
 Тяжко дышит, стекая тяжелой росой,
 И зари полушалок полощет в воде,
 Раскрывая ворота идущему зною.
 И восходит восток...

Ничего не забыл,
 Мне хранить это все до последнего часа.
 Я всю юность мою красотой облучался —
 Черноземы пахал и стропилы рубил,
 И за злаком ходил, набирающим колос.
 Но веселую ноту превыше любя,
 Я стрелял, отгоняя печаль от себя,
 В журавлей за глубокий рыдающий голос.
 Может, это как раз и дает столько боли!
 А иначе зачем каждой ночью в строке
 Вызревает роса с легким привкусом соли
 И, с ресниц опадая, плывет по щеке.

БАБЬЕ ЛЕТО

1

Сухим и желтым туго наплывая,
Сентябрь поднимает на крыло
Косатых, и они, за стаей стая,
Косым углом уходят за село,

Где нынче столько золота взошло,
Что на токах от края и до края
Стоит работа славная такая,
Такое, понимаешь, ремесло,

Что зиму всю мне после будут сниться
Обветренные лица и пшеница
В курганах на расчищенном кругу,
Осколки неба синего, сухого,
Летающее золото половы
И золотые бабы на току

2

И золотые бабы на току,
Подолы подоткнув, косынки туго
Стянув узлами, бедрами упруго
Раскачивают жаркую тоску,

Понятную любому мужику
Настолько, что сентябрьская округа —
От риги до сверкающего луга,
Где серый кобчик дремлет на стогу —

Притихла так, что слышно паутину,
Не потому ли бабам половину
Сентябрь отдал, что, пробуя на вес,
Они, слегка на икры приседая,
Подкидывают золото Алтая
Лопатами до выжженных небес.

Равиль Бухараев

* * *

Зряще меня в усталости,
В изнеможенье жил,
Боже, пошли мне радости,
Хоть и не заслужил,

Чтоб с головой повинной
Вспомнил, что я живой,
Прежде, чем стану глиной,
Листьями и травой.

Боже, пошли мне радости
Светлой и задарма,
Чтобы, пугаясь праздности,
Я не искал ярма.

Чтоб, не смиряя взора,
Помнил, что тщетна смерть:
И в небесах опора,
И под ногами твердь.

ЗАКАТНЫЕ СТАНСЫ

Пусть в замысле стихотворенья,
где я тебе муж и любовник,
с медовой травой забвенья
сплетается белый шиповник,
и в желтых камнях ежевика
прядет кружева вождлений,
и эхо блаженного крика
живет в сопряженьи мгновений.

Мне нынче хватает бессмертья
шмеля, стрекозы и цикады,
чтоб молча исчислить столетья
заросших развалин Эллады,
где зелень замлела от счастья
в сцепленьях взаимной неволи,
где нет у любви сладострастья, —
лишь светлый покой после боли.

Под скалами — берег лекалом,
и море в сверкающих искрах
к отвесным ласкается скалам,
и свет откровений, неистов,
дух ядом целебным врачуя,
нисходит в цветы молочая,
Божественный жизни не чуя,
Божественной смерти не чая...

Заходится сердце от боли.
Душа цепенеет от страха.
Я только усилием воли
себя отличаю от праха.
Но дух воскресает от страсти
в просторах звенящих бессмертий,
где шмель бередит ради сласти
отверстые раны соцветий.

Так пусть же под вечер продлится
жизнь с вечной горчинкою горя,
пусть воздух, как ангел, струится
над чувственным золотом моря,

покамест в стрекочущем зное
со счастьем сплетаются страхи,
и солнце мерцает двойное
в печальных зрачках черепахи.

РАТНИКИ

Ввысь — по небесной стерне,
По бездорожью...
Сын мой погиб на войне
Вымысла с ложью.

Был он печальник войны,
Павший до срока
Среди своих — без вины
И без упрека.

Вот и возносится он
В звездах просторов
Выше всех ваших знамен,
Воплей, укоров,

Над золоченой главой
Слезного храма,
Где не избудет живой
Грязи и срама.

Ввысь — по горящей стерне,
Неопалимо...
Сколько их, в этой войне
Павших незримо!

Боже, хоть ты сохрани,
К свету да примут!
Сраму не имут они,
Сраму не имут.

* * *

Облачко. Чуткая веточка.
Легкая птичка.
Это, наверное, пеночка
Или синичка.

Осень. Крылатое семечко.
Сеянец света.
Это, наверное, девочка
Смотрит на это.

Это, наверное, вспомнится,
Душу встревожит.
Ежели сердце опомнится.
Ежели сможет.

Вот он и вечер, и веточка —
Легкая птичка.
Это, наверное, пеночка
Или синичка.

Михаил Вишняков

* * *

Только бы даль отзывалась далёкая.
Только бы высь открывалась высокая.

Только бы солнце России в лицо.
Только бы внук выбегал на крыльцо.

Много ли надо мне, старость обычная?
Личная воля да книга приличная.

Русская жизнь с огоньками в ночи,
Где отыскались от света ключи.

Письма друзей с откровенными строчками.
Ясь и мерцающий разум над точками.

Почта в Читу ещё ходит пока.
Жизнь коротка. Потому велика.

* * *

...в попиранье заветных святынь

Блок

Последний русский умер и зарыт...

Вл. Берязев

...великодержавная грусть

Ст. Куняев

Вдохновенье невежды всё реже,
 Чаще русский, осознанный путь.
 Вышла белая лодка на стрежень,
 И назад её не повернуть.

Здесь не руки на вёслах изранишь,
 А, смиряя сердечную дрожь,
 Ясно знаешь — кого ты таранишь,
 И на чьи позывные гребёшь.

Мироколица гордого Росса
 Залегла, как полярный медведь.
 И Аляске с копьём эскимоса
 Не пробить в ней лобастую твердь.

Одряхлевшего духа разруха
 Начиналась столетия назад.
 Если Кремль отзывается глухо —
 За спиной восстаёт азиат.

Чья впотай за оградой ограда?
 Сон Аркадии душит полынь.
 Белых вилл голубая услада
 В попиранье заветных святынь.

Чья в крестах золотая дорога?
 Посмотрели б на собственных чад.
 Не гневили ни Бога, ни рока,
 Если оба тревожно молчат.

Хороши закулисные игры,
Только эта гроза — не гроза.
Молодое повстанчество тигров
Грозным заревом режет глаза.

Кто кого подомнёт и рассеет?
Карту мира крои не крои.
А грядущая гибель Брюсселя
Не на нашей, славянской крови.

Трубку мира курить, видно, не с кем.
Не сплотит всех Великая Русь.
В этом путь наш особый и резкий.
В этом — новодержавная грусть.

АМАЗАР-РЕКА

Течёшь ты по светлому доньшку,
От севера к тёплому солнышку.

Играя жемчужными бликами,
Спешишь ты к Амуру Великому.

Твои берега соболиные
Пропахли росой и малиною.

На камушках острых, на брёвнышках
Журчит твоё звонкое горлышко,

И эхо огромноголосое
Гудит над седыми утёсами.

Неси, Амазар, моё горюшко
До самого синего морюшка.

Пусть солнце играет ресницами,
А ночка сияет зарницами,

Чтоб сам я запел, как соловушка,
На трезвую утром головушку.

* * *

Вечер на родине, — тёплый! — на родине.
 Цвет лепестков за калитку летит.
 А в конце улицы, за огородами,
 Тонкое платье твоё шелестит.

Тонкий туман веет струйками свежести.
 Над горизонтом макушка луны.
 Платье в объятьях молчанья и нежности,
 Выдох и вдох зоревой тишины.

Верится, любитя, сладко мечтается.
 Всё ещё вместе и всё впереди.
 Руки сплетаются и расплетаются.
 Голос «прости» или «не уходи».

Нет на земле никакой непогодыны.
 Нет на душе ни обид, ни грехов.
 Вечер на родине, память на родине.
 Сто лет до этих прощальных стихов.

ЛЕТОПИСЕЦ НАД «СЛОВОМ»

Как узорно, звучно это «Слово»!
 Клич и плач, и трубы в серебре.
 Жаркий блеск шелома золотого,
 Тайный звон на раненой заре.

За рекой, как лебеди, туманы.
 Что ж, пора коней своих седлать.
 Быль создать. Не поздно и не рано
 Крест принять, а князю — исполать!

Путь открыть неведомый и мгlistый,
 Где среди побоищ и пиров,
 Позлащённый кубок византийства
 Русской брагой полон до краёв.

Пусть потом колдуют летописцы,
Озаряет свет иконостас.
Слово создано. Пора молиться.
Будь, что будет — Бог за всё воздаст.

ВЗГЛЯД С УДОКАНА

Николаю Гладких

Мельчает эпоха, как чарский песок.
Народ не высок да и Кремль не высок.

Один Удокан устремляется ввысь
Протестом, спрессованным в острую мысль.

Здесь рек и раздумий великий исток,
Высотного воздуха крупный глоток.

На уровне века раскрыт окоём.
На уровне веры — духовный подъём.

Ущелья и пропасти, бездна провалов.
Эпоха великих людей миновала.

В России не может быть мелким поэт.
Талантов — без меры, характеров нет.

Взойду на опасный, скалистый мысок:
Народ не высок да и Кремль не высок.

Лишь горная высь над долиной разрух
Острит и кремнит свой повстанческий нюх.

* * *

В мае берёзы, взрослея, белеют.
Кони и люди, старея, болеют.
Луг от жарков, как жаровня, горит.
Бабушка, неслуху, мне говорит:

— Кони и люди устали батрачить.
Рыбы под осень не любят рыбачить.
Эхо запрячет в лесу голоса.
Коротка летняя Божья краса.

Неслуху, мне не понять эти речи.
Утром берёзы белеют у речки.
Вещий жулан над калиткой поёт,
Мне или бабушке знак подаёт.

ЧЕРНЫЙ АЙСБЕРГ

Черный айсберг — знобящая тайна.
Над пучиной страданий и бед,
знак подавший, он сверху растаял,
но следов для дознания нет.

Черный храм без мерцающей свечки.
В нём поддонная мгла тяжела.
Беспощадная синяя вечность,
как возмездье, внутри залегла.

Под водою обратная башня,
целый мир, погрузившийся в лёд.
Словно лемех под раненой пашней,
вдоль России куда-то плывет.

Звездный холод, ниспосланный свыше.
В Забайкалье, в стране ледяной,
я проснусь и мучительно слышу:
черный айсберг идет подо мной.

* * *

Ночью тихо в Сибири.
Люди точат ножи.
Их пока не убили.
Надо думать и жить.

Тонкий точильный камень,
Вспомни, как было встарь —
как поёт под руками
самокальная сталь.

Бог-то Богом, но в святцах
вышла черная масть.
Надо обороняться.
Нынче лютая власть.

Знают дети и жёны,
что там ночью звенит.
Лишь инстинкт обороны
нас в Чите сохранит.

Нечего извиняться.
Надо думать и жить.
Надо обороняться.
тихо: вжик-жик, вжик-жик.

* * *

Сеет вечность, как сито осеннее,
блётки инея и серебрец,
средне-русских берёз порусение,
и даурской боярки багрец.

И дрожит, и лепечет, и мечется
прикипевший к чозении лист.
Позлащённая горечь Отечества,
Ветер Азии — буря и свист.

Весь октябрь над лесными опушками,
где зеленые сосны гостят,
буремглой с небокроем по-пушкински
над моей головою свистят.

* * *

Ночь, как в библейские годы.
Час караванной луны.
Ясные синие своды
теплым свеченьем полны.

Ясь кругосветная. Искры
жгучих, летучих комет.
Бог, обитающий близко,
знак оставляет и след.

Пастырь надмирный не дремлет,
стадо народов пасёт.
Впрямь изначальное время.
Только двухтысячный год.

КОНИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

«Михаил, расскажи, какими были кони»
(предсмертная просьба брата Ивана)

Кони, Иван, были рослыми, сильными,
именно этим считались красивыми.
Чалка-молчун, с ним на пару Илим
был в эти годы всегда молчалив.
Тяжко тянули, шажок за шажками
сани с дровами, телеги с мешками.

Ласточка с тонкой, капризною шеей.
Вся — от копыт до ушей — верховая.

Вся карусельно — игривая шельма,
чуткая, словно росинка живая.
Жизнь ее — память на зыбких весах —
мёртвой легла в августовских овсах.

Помнишь Цыганочку дяди Вахрама?
Эта была своенравно — упрямой.
Зоркой была, как ночная сова.
Пьяных по ямам везла, как дрова.
Сколько здесь было и слез, и веселья,
вытрясет хмель из любого похмелья.

Рыжка Ушкан обольстителем был,
слышал за шесть километров кобыл.
Ухо вострил и, ноздрю раздувая,
все ухмылялся, в отлучке бывая.

Карька-философ, большой и серьезный,
вечно любивший стоять под березой.
Карьку всегда не тянуло к жилью.
Думал он долгую думу свою.

Русские кони! Мы выросли с ними.
Роком обласканы, вьюгой гонимы,
вдруг, расставаясь навек и всерьез,
мы не скрывали нахлынувших слез.

Мой-то Серко все искал меня ржаньем,
горьким, похожим на голос рыданья
родины, скрывшейся в зябкий туман.
Кони любимыми были, Иван.

КОЛОДЕЦ

Когда мой дед был молодой,
а бабушка молоденькой,
они ходили за водой
колодезной, холодненькой.
Босые ноги жгла роса,
вилась тропинка узкая.
У бабушки была коса
пушистая и русая.
Век девятнадцатый сиял
над полем и над звонницей.
Тогда никто еще не знал,
чем это все закончится.

Когда отец был молодой,
а мать была молоденькой,
они ходили за водой
колодезной, холодненькой.
Двадцатый век. Одна война
с другой войной смыкаются.
Вода в колодце так темна,
что кровь не отмывается.
Проселок наш не пел — хрипел
От Колымы до Дайрена.
Кому допрос, кому расстрел.
Терпи, многострадальная!

Когда я сам был молодой,
жена была молоденькой.
И мы ходили за водой
колодезной, холодненькой...

* * *

Смерть не обязанность, а привилегия.
Зная о будущем все наперед,
тихо отъехать в санях, на телеге ли
в русскую вечность, где лучший народ.

Там все друзья мои верные, смелые,
поле не брошено, цвет не измят,
только березы небесные белые
вдоль бездорожья шумят и шумят.

Ветер бушующий, снег пролетающий,
бор, начинающий мощно гудеть,
здесь на ликующих, праздно болтающих,
очи закрыв, можно кротко глядеть.

Русь изначальная — Русь бесконечная.
Смысл не потерян во имя чего —
ночью свеча над дорогой засвечена, —
явь восходящая сна моего.

АВТОПОРТРЕТ-2004

Утром посмотришься в зеркало
и, пережив потрясение,
скажешь словами Есенина:
— Что же, ты, жизнь, наковеркала?

Смотрят глаза одичалые,
старо-конюшенно-чалые,
с опытом сивого мерина,
с русской печалью немереной.

Может быть, рано состарился
и потому не преставился,

ставший почти долгожителем,
с горечью обворожительной.

В смысле же левого-правого,
нет ничего совершенного —
что-то еще от лукавого,
что-то уже от блаженного.

* * *

Брызнул ли дождь на кленовые клавиши —
звук извлеченный, привиделся он —
цвет побежалости, жар остывающий,
дальний, но ясный малиновый звон.

Инеем раненый помнит об инее.
Чувствует ветвь нерасцветшую
гроздь.
Знает неспрошенный тихо по имени,
чей он незванный, нечаянный гость.

Ангел, играющий около облака,
что-то наваял во сне золотом.
Где-то в Читинской, в Рязанской
ли области
кто-то склонился над чистым
листом.

* * *

Все ли Боги вымерли?
Нет не все — при нас
Русь, как в трубке Кимберли,
на разломах гибельных
сдавлена в алмаз.

Прошлое искрошено,
 время не вернешь.
 Но, как опыт прошлого,
 Русь с огромной площади
 собирает мощь.

Глубока опасная
 трещина разрух.
 Но за нею ясная
 грань горит алмазная —
 острый смысл и дух.

Чувствую физически,
 как благую весть:
 в сдвигах тектонических,
 в замыслах мистических
 есть величье. Есть!

* * *

Елене Сластиной

Голубику посыпали сахаром —
 голубую, — как первый мороз, —
 стол накрыли, уселись и ахнули:
 надо ж так разгостились всерьёз,

и забыли, что в банке протопленной,
 млеет пар, что с утра налегке
 у тропинки, дождями протоптанной,
 ждёт туман с полотенцем в руке;

что в студёной воде омовения,
 отразится таинственный вид,
 и, вздохнув под берёзовым веником,
 жар уймётся, душа отболит.

Здравствуй, русская жизнь незабываемая!
 Чаша синих небес и земля,
 где укроется, настезь открытая,
 беспощадная старость моя!

ст. Хушенга

* * *

Ольге Золотцевой

Мне б родиться у берега светлой Нерли,
 а учиться в Михайловском или в Тригорском,
 где над вечером русских равнин журавли,
 а над утром — лазоревки солнечной горсткой.
 Здесь гармония мира смягчила углы.
 Тихо катятся тёплые воды речные.
 Купы верб, словно яблоки, плавно круглы,
 Над округлым холмом облака кучевые.
 Взгляд ласкает спокойный разлив красоты,
 без изломов и резких подъёмов дорога.
 У меня же в душе поторчины Читы,
 пики гор, словно острые брёвна острога.
 Рвёт мне ноздри горячий степной суховей,
 вьюга режет глаза и кончается зренье.
 Не тунгус, не монгол я по крови своей.
 Вот и всё. И закончено стихотворенье.

РУСЬ И НЕРУСЬ

Русь и нерусь к святому колодцу придут.
 И по пояс стоят, отражаясь в колодце.
 Отраженье колодца сквозь космос несется.
 Звезды дикие синюю пряжу прядут.

Из видений проселков, берез и дождей,
 из весеннего поля, веселых веснушек,

летописцев, считающих годы кукушек,
космонавтов, священников, разных людей.

Спит вода, истолченная лунным пестом,
и колодец, как ступка, вздыхает протяжно.
Нерусь чётки считает и думает важно.
Русь молчит, осеняя пространство крестом.

Здесь не сыщешь на всех одного мудреца.
Кто ж прочтет современную страшную повесть?
Так о чем вы, зеркально, в колодце по пояс?
Мысль не вижу, одно отраженье лица.

Мысли нет — слова нет на устах у Христа.
Нет звучанья вселенского звездного хора.
Русь и нерусь стоят перед ликом террора.
Его имя внизу и вверх — пустота.

* * *

Памяти Николая Рубцова

Не придавайте значенья
разным печатным словам.
Верьте лишь в послесвеченье
дара, сиявшего нам.

Светлой и ласково-грустной
тянется памяти нить,
все не умея по-русски
выразить и объяснить.

В это народное лето
знаком эпохи былой
столб незакатного света
долго стоял над землей.

Над горизонтом вечерним
Тлел он серебряно-ал.
Кто это послесвеченьем
Нам в темноте просиял?

Чья это там золотая
точка на звездной оси —
самая жгучая тайна
в неосвященной Руси.

* * *

*В День закладки первого камня
в строительство Кафедрального Собора в честь
Иконы Казанской Божьей Матери в Чите*

Нахоложен лесной тишиною,
спит снежок на плече у зимы.
Бог с ней с этой пропащей страной,
есть ещё не пропащие мы.

Пережив не одно потрясенье,
смуту общую и тарарам,
стерпим всё и во дни воскресенья
восстановим порушенный храм.

Вознесётся он ввысь куполами,
будет звон и сиянье пойдёт.
Нас антихрист пугает словами,
дело делает русский народ.

Над безверием, над нищетою,
озаря надеждой сердца,
Божий храм восстаёт над Читою,
как Всевышняя воля Творца.

* * *

Памяти Юрия Кузнецова

Глаза твои грозно косили
 на Запад, где тайный Восток.
 Был слишком зноблящ для России,
 мерцающим духом высок.
 Сказал мне, тревожно сутулясь,
 у елей кремлёвской стены:
 — Мы все до сих пор не вернулись
 с любимой народом войны.
 — С проклятой...
 Отрезал: — С любимой!
 Руки не подал и ушёл
 в туманы свои и глубины,
 и шаг был насадно тяжёл...
 ...Завоет сибирская вьюга,
 и ты постучишься, как гость:
 — Один я. Ни брата, ни друга
 и здесь для меня не нашлось.
 Пустынны пути мировые.
 Века суетятся, спеша.
 — А что ж нам мерцает в России?
 — То Дух изронила душа.

* * *

Ни моря, ни тучки жемчужной.
 Чита. Лай тюремных собак.
 В их мозг натекает от стужи
 Тяжёлый арктический мрак.

Грызутся, заходятся воем,
 Цепями гремят на бегу.
 Как будто конвой за конвоем
 Уводят в ночную тайгу.

Оклад православной иконы
 Настужен оконным ледком.
 Георгий с копьём — всё же конный.
 Христос всё пешком да пешком.

Бредёт, страстотерпец, шагает
 Народной беды инвалид.
 И снег под босыми ногами
 Не тает — шипит и горит.

ЛЕРМОНТОВ

Брат мой Лермонтов.
 Роком и веком гонимый,
 Ранний вестник на русской спокойной равнине.
 На кремнистых дорогах твоих
 Конь споткнулся — упал и затих.

Ни свободы в России, ни тайного выбора,
 Даже имя из гвардии выбыло.
 Постарались, архивы крова,
 Мгла от Зимнего, тьма из Кремля.

Век-опричник в казённой шинели чернеет.
 Пой, поэт, песню пой, только парус не рви.
 Не пейзажный, он в русском пейзаже белеет,
 Одинокий, как Пушкин в народной любви.

В демонических бреднях витает Европа,
 Тяжко топчет в Россию кровавые тропы.
 Изначально свиреп и надолго жесток
 Набухающий грозами юг и восток.

Ум пылает, душа, возвышаясь, мятётся.
 Самый трудный поэт, я прошу, я молю:
 Отчего наша острая мысль остаётся
 Той же странной любовью в родимом краю?

О какое блаженство есть в тучке жемчужной!
В гордой чести, в любви, нам не нужной
и нужной!

С глаз долой от ревнивых, насмешливых глаз.
Дан приказ — и карету нам, и на Кавказ!

И какие бы Демоны там не грозили, —
На прямой поединок выходят бойцы....
Удалого Калашникова
не казнили.

От него по широкой Сибири
пошли удальцы.

Ирина Гончарук

* * *

Чайную ложку соли,
чайную ложку соды —
словно от непогоды
я ухожу от боли.
Снова под зонт — укрыться,
снова в плаще — согреться.
Вверх по тропинке — птица,
вниз по дорожке — сердце.
Сколько цветов и веток...
Солнечной черепахой
тени — с места на место...

Солью в воздухе пахнет.

* * *

Что нас связало? Мы — острова,
дальний и близкий.
Самые ласковые слова —
яркие блики.

Солнечных зайчиков на руке —
словно веснушек.

Я начертала звездой на песке:
«Станешь мне мужем».

Что нас связало? Мы острова,
близкий и дальний.
Самые ласковые слова?
Страшные тайны...

* * *

Мы проведем златые дни,
мы их обманем.
Так расползаются огни
в сыром тумане.
Все пропадает под зонтом,
лишь выйдет в двери:
молочный зуб, молочный дом,
молочный берег.

* * *

Ах, дни и ночи, дни и ночи
нам уготовили созвездья
держат в руках земли комочек,
дрожать и думать об отъезде.

А дни и ночи, дни и ночи
длинней, чем месяцы и годы.
И сердце оборваться хочет
и переплыть огни и воды.

Так одиноко... Так печально
звезду за краешек потрогать.
Не зря, недаром, не случайно
сегодня — дождиком дорога.

* * *

Что написано пером,
к сожаленью, не летает.
Свечка, медом налитая
не сравнится с топором...

И ни строчки не живет
на ее плечах покатых,
только девочка-соната
до утра при свечке шьет.

Обещай любить ее,
сказки сказывать до света...
Все чадит венки сонетов,
все покоя не дает.

Лидия Григорьева

ПАМЯТИ ТУМАННЫЕ ДОЛИНЫ

Грозди обмороженной калины,
зимняя звезда,
памяти туманные долины —
не ходи туда!

Слабым синим светом засияет
лунный керосин.
Не ходи туда, тебя затаянет
месиво трясин.

Заморозки поздних упований,
воздух в свиток свит,
очи выест дым воспоминаний —
душу изъязвит...

БАЙРОН В ВЕНЕЦИИ

Поэт в путешествии — разве не суть,
что долог, опасен и призрачен путь.
Вот Байрон в Венеции. Пушкин в Крыму.
Тайком пробираются, по одному.

Натягивать долго пришлось удила,
чтоб рысь не догнала и власть не взяла.
Чтоб душу утишить. Чтоб свет повидать.
Чтоб в Греции землю крестьянам отдать.

От крымских степей да в одесский лиман,
где грезы и слезы, любовь и обман,
где стансы, романсы, восточный напев,
где строфы «Онегина» ветер напел.

Венец златоуста — нисколько не мил,
когда за тобою немеряно миль,
жителейское море неволит гребцов...
Как схожа недоля великих певцов!

Хрустальная в небе сияет луна.
Вот Байрон в Венеции выпил до дна.
В чернильце пусто. Европа во зле.
И слезы Августы застыли в стекле.

НАТУРЩИЦА

Снимай, снимай! Я фокус наведу,
подсветку сделаю и выдержку поправлю.
В резиновую эту наготу
немного жизни и любви добавлю.

Снимай, снимай! Я вся уже дрожу,
тут холодно, как в мастерской Матисса.
Я наготой своею дорожу,
она мне обеспечит плоску риса
когда запечатлит Утамаро
мой абрис в эротической нирване.

Я скрою очевидное тавро
от пьяной папиросы Модильяни,
когда меня возьмут для съемок «Vogue».
Задрапируюсь в рубище наряда,

чтоб различить клеймо никто не смог:
нимфетка, нимфа, нежная наядка...

Снимай! Снимай скорее все с себя,
ведь ты не лучше буйного Гогена,
который нас под тело подгребя,
употребив, ломал через колено.

Снимай! Снимай убогое тряпье,
искусство здесь уже неактуально.
Вот женщина. Вот горькое житье:
натурщица, в натуре, натурально...

* * *

Вот зимний, пагубный, венозный
уходит морок, озираясь...
День занимается морозный —
там света будущего завязь.

Восходит свет над фирмой частной,
над фермой, фифой куртуазной,
и над Россией безучастной,
и над Европой буржуазной.

Не привыкать, кусая локоть,
с непогрешимостью во взоре,
в морозный день восстав, заплакать
от счастья или же от горя...

* * *

Больно стоять на слепящем свету
ангелам черным в зимнем саду.
Полупрозрачный траур расцветки —
черные крылья и черные ветки.

Встану ли утром, ко сну ль отойду,
вижу, стоит в поднебесном саду,
в свете неистовом и раскаленном,
траурный ангел с крылом опаленным.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В Нью-Йорк опускаешься, словно
в бездну.

Еще мгновение и я исчезну
на самом дне Уолл-Стрита
в иле людском зарыта...

Если же ехать Парижем, скажем,
верх экипажа задев плюмажем,
то это уже из книг — и не спорь! —
коих ты наследница — по прямой.

Или вернуться туда, где — ой мне! —
жизнь доживать на Филевской пойме,
где нет ни кола уже и ни тына,
потому что нет уже с нами сына...

Нет чтобы с горя мне околеть бы...
Что ж я ношусь над землей, как ведьма,
в поисках стойбища и пристанища,
видимо, все же я пройда — та еще,

если взялась шевелить метлой
лондонский мульти-культурный слой.

Так раскроилось судьбы лекало.
Вот донесло меня до Байкала.
Вот под крылом уже Улан-Батор
и родовой украинский хутор.

Как занесло меня в эти выси?
Надо у мамы спросить, у Маруси...

* * *

Равилю Бухараеву

Житейских радостей заемный
жесткий жмых,
запромыслительное зла столпотворенье...
А ты, грустнейший из печальников земных,
свое мне посвятил стихотворенье.

Уже к земному сердцу не лежит,
а роз потусторонних — не взрастила...
Я палец уколола, мне не жить,
а спать и спать. Я этот мир — простила.

Да только вот... Простил ли он меня?...
Я может быть прощения не стою.
Глаза закрою среди бела дня,
и побледнею, как перед бедою.

В душе свинец расплавленный застыл.
В саду моем разор и окаянство.
А для того, кто так меня любил,
я вымолю и время, и пространство.

Он предан был. И предан был не мной.
Но восставал из пепла в новой силе.
Мы вместе одолели путь земной,
который стал и чужд, и непосилен.

Но только мне. О нем не говорю.
Он одолеет жизни быстротечность.
Сад тоже смотрит утром на зарю,
а к вечеру вперяет взоры в вечность...

* * *

Скажите мне, я — Он или Она,
когда небес зияет глубина
в лазоревом зазоре объектива,
и сквозь него вселенная видна?
Заманчивая, впрочем, перспектива...

Иль все-таки фотограф — это Он,
горбятящийся жалко испокон
под тяжестью футляра и штатива,
пока зеваки смотрят из окон?...
Печальная, конечно, перспектива...

Мужская многотрудная стезя.
Меня туда и допускать нельзя —
так тяжек груз, и путь бесповоротен!
А я — слаба. Но падая, скользя,
могу взлететь, поскольку дух безплотен...

Снимай, фотограф! Нам не суждено
узреть недостающее звено:
как сверху посыпая звездным сором,
не Я, не Он, а некое ОНО
нас держит в фокусе и щелкает затвором.

* * *

Европа, видная отсель...
Ты явно к ней благоволишь.
Ну, вот еще один Брюссель!
Ну, вот еще один Париж!

С Петром Великим заодно,
перешагнув через моря,
давно немытое окно
в Европу настезь растворя,
стоишь усталый и пустой,
как будто дальше нет пути,
но раз пустили на постой —
плати!

* * *

«Я поехал на вокзал» —
ангел ангелу сказал.
«Я с тобой», — сказал другой.
Время выгнулось дугой,
прозвенело, как стрела.
Эта жизнь проистекла,
обозначившись едва...

Улетели оба-два.

Андрей Грицман

ДОЛИНА ДУНАЯ

По этим городам проходит полоса
не отчуждения, но отречения.
Разреженная гарь в осеннем небе
за медленной рекой плывет на север.

Темнеет рано, и октябрь бесшумно
сжигает виноградники в долине,
где торжествует осень Нибелунгов.
Под легкой пеной плещущей сонаты
смертельно тлеет слой пивного сула.

Осела гарь, невидима и вечна.
Гнилые зубы одиноких башен
оскалом возвещают о победе,
и тени смотрят из сырых провалов.

А мы, как соглядатаи, следим
из маленькой таверны, что напротив,
за толпами туристов из центральных
холодных, аккуратных, чистых штатов,
что в клетчатых штанах бредут по замкам,
торчащим, как значки на крупной карте,
по радиальной зоне разворота
гвардейских дымных танковых дивизий,
рассеянной по городам и весям
давно бездомной
Южной группы войск.

ШЕРЕМЕТЬЕВО

Так широка страна моя родная,
что залегла тревога в сердце мгlistом,
транзитна, многолика и легка.

Тверская вспыхивает и погасает, такая разная:
военная, морская;

и истекает в мерзлые поля.
Там, где скелет немецкого мотоциклиста
лежит, как экспонат ВДНХ.

За ним молчит ничейная земля,
в аэродромной гари светят бары,
печальных сел огни, КамАЗов фары,
плывущие по грани февраля
туда, где нас уж нет.

И слава Богу. Пройдя рентген,
я выпью на дорогу
с британским бизнесменом молодым.
В последний раз взгляну на вечный дым
нагого пограничного пейзажа,
где к черно-белой утренней гуаши
рассвет уже подмешивает синь.

СЕЛИЩЕ-УГОЛЬ

Селище-Уголь — это городок,
верней, поселок городского типа.
Как все они — глухая слобода
или курган надежды пятилеток.
Урочище когтистое в лесах,
торжок среди речных маршрутов,
отрезанный от мира на треть года.

С тридцатых — корпуса в три этажа,
уборная на всех без переборок,
остатки толя, жесьть и остов пса
у края мокрой известковой ямы.
Прилавки рынка, выцветший кумач
фабрично-слободского изолята
в дремучем логове калининских лесов.
Там с бабушкой и дедом я провел
свое восьмое памятное лето —
рожденный недалеко чужеземец
среди туземных северных племен.

Как хорошо, спокойно и беспечно,
поужинав вдвоем картошкой с луком,
спуститься тихо одному к реке
и молотком рубить в карьере мелком
податливый, слоистый известняк.

Закат ложился в берендеев лес,
погасшая река дышала с нами
поверхностями тысячи озер,
не ведая начала и конца.
Мой дед сидел у керосинки в кухне,
глядел в закат и был смиренен
(а впрочем, что тогда им оставалось?):
трофейный подстаканник, Киплинг, трубка.

Вокруг была вода, плотина, рыба,
уже почти безжизненная шахта,
здравпункт, контора в церкви и кино,
откуда рокот «Сталинградской битвы»,
по воскресеньям сотрясавший воздух,
бесшумно падал на надречный холм,
на дот, где надпись **RAUCHEN VERBOTEN**
предупреждала белок и вальдшнепов
и лешего, оглохшего от шума
времени, что в секторе **KZ**
запрещено дышать эрзацным дымом.

Мы собирали ягоды, грибы
внутри кругов смертельной обороны,
и топь доисторического леса
хранила сталь всех сверхурочных смен.

Мне снился мост с разрывами и дымом,
и дед мой, окруженный в сером доме
на дальнем берегу, и бабушка зовет,
и он дошел до нас и просит чаю.
Мы снова были вместе, и теперь
я знаю: все уже неважно.
А прожитое после — отвлеченье
от главного: сидения на кухне
в чудесном ожидании у окна —
когда закат зажжет через минуту
прохладную чернеющую бездну.

Еще я помню наш отъезд, рабочих
у бора в ожидании трехтонки.
До станции примерно три часа.
В последний раз я видел эту воду
чешуйчатых озер и в темном небе
текучий конус дальних диких уток,
ушедших безвозвратно тенью судеб
в бездонное отверстие луны.

* * *

Мне хотелось узнать, почему треска,
и хотелось узнать, почему тоска.
А в ушах гудит: «Говорит Москва,
и в судьбе твоей не видать ни зги».
Так в тумане невидим нам мыс Трески.

Мне хотелось узнать, почему коньяк,
а внутренний голос говорит: «Дурак,

пей коньяк, водяру ли, «Абсолют»,
вечерами, по барам ли, поутру —
все равно превратишься потом в золу».
Я ему отвечаю: «Ты сам дурак,
рыбой в небе летит судьба!
И я знаю, что выхода не найти,
так хоть с другом выпить нам по пути
и, простившись, надеть пальто и уйти».

«Не уйдешь далеко через редкий лес,
где начало, там тебе и конец.
Так нечистая сила ведет в лесу,
словно нас по Садовому по кольцу,
и под ребра толкает носатый бес».

Там, я вижу, повсюду горят огни,
по сугробам текут голубые дни,
и вдали у палатки стоит она.
И мы с ней остаемся совсем одни,
то есть я один и она одна.

Баир Дугаров

НА ЗАКАТЕ

Блаженствующе солнце на закате
напоминает мне о сукхавати —
буддийском рае.

И нежится в косых лучах пространство.
И каждое мгновение прекрасно,
в пространстве тая.

И стелются до горизонта травы.
И в час вечерний нет светлей отрады
припасть к планете.

И долго слышать слухом обостренным,
как шепчутся в траве под небосклоном
тысячелетья.

МОРИН-ХУР

Хурчин* погладит, как ребенка,
свой морин-хур, простой и нежный,
и поплывет напев негромко
над серой плоскостью безбрежной.

* Хурчин — музыкант, играющий на морин-хуре, народном музыкальном инструменте.

И закурится дымкой синей
печаль травы, травы пустынной.
Сын вспомнит мать, мать вспомнит сына,
но каждый вспомнит дым полыни.

И шли столетий караваны,
и тихо музыка звучала.
И чуть дрожа тайком сбегала
слеза по скулам Чингисхана.

О, пой, струна волосяная,
о горьком запахе становий,
и всадник пыльный, замирая,
коня у юрты остановит.

Струна, струна волосяная,
чем в сердце родину заменишь?
Пой, пой, струна моя степная,
пой так, как только ты умеешь.

МОНГОЛЖОН

Монголжон*, ты — приволье, в которое верится,
ты — улыбка степи на лице каменистых хребтов.
Как свободно и яро равниною стелются
гривы хлесткие горных упругих ветров.

Синь, сверкая, стекает с отрогов скалистых.
Желтым светом травы каждый дом озарен.
Сколько помыслов чистых и песен лучистых
расцвело на просторе твоём, Монголжон.

С детских лет моим прадедам я благодарен,
что избрали Саяны отчизной они.
От сиянья вершин белоглавых недаром
наполняются светом особенным дни.

* Монголжон — долина в горах Восточных Саян.

Я не раз, горизонтам седым улыбаясь,
на гнедом пронёсился вдоль гулких лесов.
И рождалась во мне неумная радость
от качанья былинки и волн облаков.

Я хотел бы повиснуть росой над поляной,
сумасшедшею птицей пронзять небосклон,
камнем стать и луной. Иль гореть безмянно
золотистым цветком на земле Монголжон.

ПОЭТЫ

По склону гор в раздумии бреду ли,
беседую ли с хвойной тишиной,
рождаясь в дальнем водопадном гуле,
тьнь Миларайбы следует за мной.

Но почему он, жрец уединенья
и гималайских царственных снегов,
ко мне опять приходит из забвенья —
безмолвия растаявших веков.

А в час, когда лазурной струйкой дыма
начало дня струится в синеве,
поэт Басе походкою незримой
след росный оставляет на траве.

И посох тишины цветущей вишней
увенчивает пригородный сад,
на языке неведомых трехстиший
деревья просветленно шелестят.

А в миг, когда предгрозье даль объемлет,
окутывая тучами простор,
я знаю, кто вселенной чутко внемлет,
чей молниями вспыхивает взор.

И полночь в жажде самовыраженья
ложится человеку на уста,
и тютчевское слово озаренья
высвечивает бездну, как звезда...

Не ведаю, с какою мыслью тайной
мне возвращают дол и небеса
ушедшие в предел тот изначальный
поэтов разноликих голоса.

Быть может, в них сквозит напоминанье,
что жизни всплеск, отпущенный тебе,
лишь в творчестве находит оправданье
пред светом звезд, открывшихся судьбе.

Да, есть в стихе божественность дыхания,
в былинке — человеческая суть.
Грохочет колесница мироздания,
и пылью вслед клубится Млечный Путь.

ВЗОР

В ее глазах
с оттенком предосенним
такое колдовство заключено,
как будто пьешь ты,
смешанное с зельем,
тягучее прохладное вино.

О этот долгий взор,
он так прекрасен,
беспомощно тосклив и оттого
он нежно
и пленительно опасен
для вольного блаженства твоего.
Что дорожить
свободой и простором?!

Есть взгляд —
судьбу и глаз не отвести.
Так степняков
притягивает город —
и никуда потомкам не уйти.

ПЕШИЙ ВСАДНИК

Я прошел по путям,
где промчались монгольские кони, —
на Восток и на Запад —
до Хуанхэ и Балкан.
Проступали огни небоскребов
на облачном фоне,
и глядел мне вослед сквозь столетия
сам Чингисхан.

Не по воле высокого
Вечного Синего Неба —
по желанию сердца
и тайному зову крови
привела меня память,
сама отряхаясь от пепла,
на просторы
моей родословной тоски и любви.

Оглянувшись на Степь,
осененную дымкой тумана,
обретал я в дороге себя,
и любимых, и кров.
И служили мне пайдзой*
не повеленье кагана,
а улыбка добра
и хорошая книжка стихов.

* Пайдза — пропуск или удостоверение в виде пластинки.

Мне дарила Евразия
саги и сны золотые.
И струился из древности
хрупкий таинственный свет,
и гречанка по имени Роза
под небом Софии
обернулась ко мне,
словно знал ее тысячу лет.

Как последний кочевник,
я в храмы входил и мечети,
оставляя Пегаса
на свежей лужайке пастись.
Лишь одна моя вера
пребудет со мной на планете —
степь, былинка на тихом ветру
и небесная высь.

«Урагша»* — и, как лук,
выгибалась опять эстакада,
и московский таксист
помогал мне, и грозный аллах,
чтоб в кочевье моем
огонек светофора с Арбата
продолжался звездой
в багдадских ночных небесах.

Поднималась не пыль от копыт
на равнинном просторе —
то вверяли свой дымный бунчук
города облакам.
И на пляжном бездумном песке
у Последнего моря
был в душе я с тобой,
мое Первое море — Байкал.

* Урагша — вперед (монг.-бур.).

«Тангра ведет мое сердце и племя
 мое от полыни к бессмертью», —
 Так начинал Аспарух свое слово,
 на пыльных путях обретая отчизну.
 Тысячелетье кружилось: кириллицы песнь,
 освятившая духа начало,
 Тень полумесяца на византийских руинах
 и колокол поздний славянства.
 Тайным послем отщумевших времен
 я пришел к тебе, мадарский всадник.
 «Тангра», — воззвал к небесам я,
 и в розе полуденной запах услышал полыни.

ДАУРИЯ

Дар золотого пространства —
 Даурия, кони каурые мчат над Аргунью.
 Данники неба, владыки мгновений —
 дауры оставили имя простору.
 Дали сомкнулись, и вал Чингисхана
 засеян зеленой и красной гречихой.
 Долгого солнца лучи сквозь листву желтизной
 отливают казачьих лампасов.
 Добрый сентябрь отары пасет у холмов,
 и бредут караваны зародов.
 Да, моя Азия: дикий цветет абрикос,
 словно сакура, рядом с полынью,
 Дао — завет мудрецов — снилось мне —
 сопрягается с Уром — столицей шумеров,
 Дара* — богиня и аура жен декабристских —
 Даурией все откликалось.

* Дара — тибетская богиня, почитаемая народами Центральной Азии.

АЗИЯ

Аз — на монгольском наречье «удача и счастье».
Да, именно «счастье».
Азия, лани твои торопили мое на земле появление.
Азбука вечных письмен, проступавших
на пальмовых листьях и скалах.
Азимут веры, искавшей в пустыне опору
и храмы в душе воздвигавшей.
Алангуа, из сияния лунных лучей сотворявшая
всадников грозных.
Алою пылью клубились просторы,
и лотос в уставшей пыли распускался.
Айсберги гор вырастали из бездны песчинок,
спрессованных жизнью и смертью.
Азия — твой караван так велик, что отыщется
след мой едва ли.

ЗВЕЗДА КОЧЕВНИКА

Мужчине — путь, а женщине — очаг.
И чтобы род мой древний не зачах,
роди — молю и заклинаю — сына.
Стрела летит, покуда жив мужчина.

Мужчине — дым, а женщине — огонь.
И чтоб в бою мой не споткнулся конь,
я должен знать, что юрту греет пламя,
как предками завещанное знамя.

В мужчине — дух, а в женщине — душа.
Травинка держит небо трепеща.
Без очага, без сына, без любимой,
как одинокий смерч, развеюсь над равниной.

Елена Елагина

* * *

Бог милосерд, да рок неумолим.
Неслышной поступью, как вечный пилигрим,
Бочком-волчком судьба твоя крадется,
Набросив капюшон на пол-лица,
И есть ли смысл у мёртвого гонца
Спросить, что в ней, болезной, нам зачтется,
А что, напротив, гирей на ногах
Повиснет, оправдав наш чревный страх?
О будущем — ни-ни! И грех, и зябко.

С душой своей в согласии живи,
Нырять в поток божественной любви,
Как в воду — птичка смелая, оляпка.

* * *

Времена не выбирают...

А. Кушнер

Оставим девятнадцатому веку
Всю тонкость чувств и обморок в корсете,
Любимый томик, на скамье забытый,
Тургеневской природы половодье
И фетовской природы увяданье,
И чеховский притихший мезонин...

Оставим эти детские картинки
 Тем дням, когда не знали слов: «блокада»,
 «Фашизм», «Освенцим», «холокост», «зачистка»,
 «Напалм», «Макдоналдс», «маркетинг», а также
 «Гламур» и много прочих дельных слов.

Ведь как-то и без оных управлялись,
 И предвкушали небеса в алмазах,
 И верили в величье человека
 И в слово неперменное «прогресс»,
 В сверкающее будущее... Право,
 Глядеть без слёз и смеха невозможно
 На это детство мозга и души,
 На тот уют, надежды и мечтанья.

Какое счастье быть обычным смертным,
 Не доживая до осуществленья
 Всех грандиозных чаяний! Но разве
 Есть щель, в которой можно отсидеться
 И выпавшее время переждать?

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

И жить ленюсь, и умирать боюсь,
 И никому уже давно не снюсь,
 И ни о ком ночами не мечтаю,
 И с Господом по-прежнему на «вы».
 И дремлют все сторожевые львы
 Цепочкою — от Рима до Китая.

2.

Не в том беда, что голова седа,
 Не в том беда, что полночь на пороге,
 Что мёртвая замшелая вода
 В который раз обнюхивает ноги.

А в том беда, что голова седа,
А в том беда, что полночь на пороге,
Что чёрная нездешняя вода
Несёт, как дикаря в его пироге.

* * *

Не поэтом, не пророком,
А упрямым-скоморохом
В острой шапочке торчащей
С бубенцами на конце
Вновь хотелось бы родиться.
Не до старости — до срока
Жить с раскрашенной улыбкой
На придуманном лице.

Эти космы рыжей масти,
Эти щеки цвета свеклы,
Плюс немислимого цвета
Рукава и сапоги!
И, размазывая слезы —
Только б краски не поблекли! —
Хохотать под шум дубравы
И под белый гул пурги.

Быть посмешищем пропащим,
Бессемейным и бездомным,
Наплевать на все системы
Многомудрых дураков,
Колесо вертеть и сальто
Под единственным огромным
Небом, зная: все минует,
Прожил век — и был таков!

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ АЛЕКСАНДРА КАБАКОВА

1.

Из воздуха и вещего пера,
Из ветоши последнего добра,
Из ветра, попадающего в лузу,
Из рыбьего следа, паренья птиц,
Из всех закрытых на замки границ,
Из счастья, распирающего блузу,
Из липнущей к душе ночной тоски,
Из звуков несмышлёных, что легки
Не только на подъем, но — на паденье,
Из всех щелей, из всех земных преград,
Растут стихи, которым тот лишь рад,
Кто знает путь зерна и провиденья.

2.

Жаркими чернилами, страждущим пером
Пишется, что слышится сквозь небесный гром,
Что во тьме колышется, застя тишину,
Пишется, чем дышится сердцу одному.

На бумаге гербовой, на газетной рже,
На табличке глиняной, треснувшей уже,
На воде податливой вилами, веслом,
Вечными чернилами, пушкинским пером...

DEJA VU

Двенадцать грохнуло. Я сверила часы.
Военный встречный тоже вскинул руку.
Всё повторялось: осень, полдень, мука
Несовпадения, созвездие Весы...

Всё повторялось: солнце, холодок
 Под сердцем каменным, за воротом, повсюду,
 Чреватый неизбежностью простуды,
 Стихотворенья крохотный росток,

Возникший между делом, на бегу,
 Не утешающий, но придающий силы
 Быть нелюбимой, бедствовать, врагу
 Зла не желать. И помнить всё. Как было.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Стройотрядовский вар, прикипающий
к пальцам и к робе,
 По две смены бетон вперемешку с матком
и дымком...

Ах, какая живучесть заложена в давнем микробе,
 Раз так долго болеем с тобою мы этим вдвоем,
 Заражая друг друга, чумные чумазые братья —
 Разбери-ка попробуй, кто где в этих ватных штанах
 В керамзитовой куче, что нам становилась кроватью
 В перекурах недолгих, да так и осталась во снах,
 В подсознание ушла, затаилась в надежде июля
 Первобытной рептилией в иле и в угле любом.
 Не спасает давно ни дождя подвесная пилюля,
 Ни иллюзия дружбы, ни дети, ни дело, ни дом...

Есть в году это время, что душу тревожит, как святки.
 Снова город раскопан донельзя — плывун и базальт.
 И гремят молотки, сотрясая кирзовые пятки,
 И зловеще-родным пахнет свежий, как творог асфальт.

Алексей Ивантер

ПАМЯТИ ЕВДОКИИ И БОРИСА

*Вся Россия голодала,
Чуть жила на холоду...*
Арсений Тарковский

Дуся по миру ходила,
Побиралась в холода —
Снег месила, ей от силы
Было десять лет тогда.

Между Пнёво и Лунёво,
От Сушигориц в метель
До Язвихи, а там снова
Не в Крылово, так в Сабель.

А в избе у бабы Веры
Восемь — мал меньше мала,
За оврагом волки серы,
Не звонят колокола.

Что ж не бьют по Никонору?
Больше не во что звонить...
В мёрзлу землю в эту пору
Тяжко бабам хоронить.

Скрип от санок... Где вы, где вы,
Евдокия и Борис?
...на мороз ушли за хлебом,
За их души помолишь.

Поклонись лесам и пойме,
Доброй русской стороне,
На которой пей ли, пой ли —
Смех и грех её во мне,

Свет Её, что явлен снова,
Скрип полов и дымный дух,
Вся любовь Её Христова,
Всё тепло седых старух...

СЛОВО

I

Запах щей ли казённых, детства ли моего...
Нежный рос я ребёнок — били все одного.
Заводские задворки, стройки да пустыри...
Запах стойкий и горький ещё крепок внутри.

Он не сразу, не сразу свой направил лемех —
Зримый чистому глазу — тот Один, Кто за всех.
То, что Правда открыла — мир не скроет и князь.
С нами Крестная Сила, так живи, не клонясь!
С нами Вещий и Святой, центральной, ядерной —
Наш Учитель — Распятый и навечно живой.

II

Возрождало из пепла, приходило волной,
Поднималось и крепло, обнималось со мной,
Окаянного гула не вменяло в вину,
Наклоняло и гнуло, распрямляло в струну.

От того ли, что грешен, потому ль, что любим —
 В русском небе подвешен, как архангельский дым.
 Потому ли, что битый, оттого ль, что живой —
 В русском слове отлитый, в речь забитый скобой.
 Ни овец не пасущий, и не сеющий ржи —
 Как на свете живущий — ни пойми, ни скажи,
 Не оратай на пашне, я — не верящий в Зло —
 Мимоходом попавши под Господне крыло...

КОРОМЫСЛО

Уйду декабрём первопутком — не гол и не бос.
 Поймаю попутку — КаМАЗ, тарантас, лесовоз.
 Попутчика встречу хромого с седой бородой —
 Глухого, немого — в пути за живую водой.
 Кривое неся коромысло, бредёт неспеша.
 В нём нету ни толка, ни смысла — святая душа!
 Над княжей Россией, озлобленной, ражей, спитой —
 Заплакал Мессия и сделал Россию святой.

Кривое неся коромысло — не крест — на плечах,
 С времён Гостомысла убогую ношу влачах.
 Петух прокричал ведь, а там хоть и не рассветай.
 От древних начал киснут десять веков, почитай.
 Но тесто подходит, фурычит, мои голубки!
 В четыре руки пора выпечь тугия хлебки.

Приёмного сына взрастила, пустила под кров
 Твоих Северов Палестина, святых Северов.
 Сама-то с котомкой — делила ржаны сухари,
 Чужого ребёнка кормила, согрела внутри.
 Окольных не зная путей, с коромыслом устав...
 Но нету приёмных детей Иисуса Христа.

* * *

Потому что срывается голос на весеннем ветру,
от того, что дожил до весны и зимой не помру,

что на чёрной реке — рыбаки на трещащем ледке,
а на белом снегу огоньки на другом берегу —

Вот за тот бережок-бережок, за Уральский хребет
сам себе нарисую на атласе мира билет,

и поеду, поеду, поеду на юго-восток,
как астролог велел, потирая вспотевший висок.

За ордынскую степь, за монгольский Алтай, за Китай,
только чёрный большак на колёса хундая мотай,

только дважды в дацане одном никогда не ночуй,
приходи налегке, уходи налегке, откочуй.

Потому что дорогу тебе указал на роду
тот монах, что дудел в костяную у брода дуду.

Оттого, что дорогу святит её пыль. Да ветра.
И вестями свистит — над кюветом её пехтура,

что снимает кольцо с онемевшей холодной руки,
поднимает лицо на Матфееву речь и Луки,
перед самым концом отпусти ей любые грехи...

* * *

Пахнет хлевом и овцой,
Чабрецом и тмином,
Подгорелую мацой,
Тихим днём, что минул,

Закипающим котлом,
Молоком овечьим,
Человеческим теплом,
Духом человеческим...

Пахнет белой золой,
Куркумой и потом,
Жёлтой стружкой и смолой,
Плотницкой работой.

Плотник плотнику мостит
Скорбную дорогу,
Плотник плотника простит,
Вверит душу Богу...

Но не смертью под горой
Пахнет — жизнью вечной,
Не оливовой корой,
А дорогой млечной,

Пахнет козами окрест,
Пахнет тем и этим...
И мешает бегать крест
Плотниковым детям...

* * *

В доме у колодца
Помирает дед.
А водичка льётся
Цельный день, мил свет.
Долгая беседа,
Тапочки, кирза...
А в дому у деда
Синие глаза.

В доме у колодца
Тишина-покой,
А водичка льётся,
Пьётся день-деньской.
Буду помирать я,
Якоря рубить —
Хорошо бы, братья,
У колодца жить.

ВРЕМЕНА ГОДА

Тем летом кончилась война,
Была черёмухой больна
Окраина Рошала.
Но, притворяясь небольшой,
Стонала полночь за стеной,
Старухам спать мешая.

А осенью крысиной той
Они просились на постой,
Где лишь бы лечь да охнуть.
Она была за главврача,
А он ночами так кричал,
Что ей хотелось сдохнуть.

А той зимою он ушёл
В поля, где всяк — босяк и гол
В одной артели братской.
Она — жила, она — пила,
И бабкою моей была
Той самой — ленинградской.

А той весною шли дожди,
И сердце ёкало в груди
В облупленной больнице.
Там было резать, было шить,
И значит, надо было жить
С неписанной страницы.

Вояки с нашего двора —
 Кто блатота, кто фраера,
 Кто петь ходил на клирос...
 Она была им не сестра,
 Её боялись мусора,
 Я с ней в обнимку вырос.

* * *

Из всех polegших за Россию в глухие темные года у Бога смерти попросили, наверно, многие тогда. Сибирь как яблоню трусили, в поселках томских храмы жгли. Из всех polegших за Россию мне жалче эту соль земли. В тайге сентябрьской и апрельской среди багульника и хвой лежит в воде священник сельский с отрубленною головой. Из всех polegших за Россию — не за понюшку табака, приснился мне отец Василий, убитый томской Губчека. Кому по вере и по силе, а он у Господа в паю. Идет-несет отец Василий в холстине голову свою. И что мне с этой головою, в какую мне сокрыть траву за Искитимом, Луговою усекновенную главу? Прости меня, отец Василий, что разумею, но дышу. У всех polegших за Россию себе прощения прошу. Отец Василий, это ты ли? Ты отпусти мои грехи, мне протяни Дары Святые из замерзающей реки. Дожди падут, снега растают, где народился — то люби. Плывет гусей шальная стая, и нету храма на крови. Журчит-течет вода святая по Искитиму и Оби.

* * *

Марине Кудимовой

На исполох
 цветут жарки сибирские —
 дары Земли Небесному Царю,

но как Молох
на башни монастырские
глядит в упор, я на тебя смотрю.
Ты мнишься мне
в исподнем цвета белого,
над головой — пеньковая петля,
в твоих словах судьба народа целого,
в твоих чертах
тамбовская земля.
В них вижу я:
за башнями и пашнями,
березняком
и низким тальником
Россию-мать убитую и страшную
везет тачанка с черным передком
сквозь грай ворон,
могилы черноземные;
пьян эскадрон,
идуший на рысях,
и роят схрон
крестьяне подъяремные,
и белят саван бабы на сносях.
И алый стяг,
как бледная денница...
Донские кони
перейдут в намет,
и мнится
мне кровь пьющая пшеница,
на колокольне
бьющий пулемет.
И рядом ты
стоишь, и лечь не легче ли
под образами
с грузом вековым?
Идет задами
Войско наше Певчее.
...там Бог молчит, там над Тамбовом дым.

* * *

Соловецкий ангел пролетает
Ни свет ни заря.
Там, где пролетает — снег не тает
У монастыря.

Подо льдом кривая мостовая,
Храма осьмерик.
И лежит вода, как неживая —
Путь на материк.

Время нас верстает и свистает.
Поживем — умрем.
Соловецкий ангел пролетает
Над монастырем.

Впереди Ходынка и Кузнецкий,
Тушино и Спас.
Господине ангел соловецкий,
Помолись за нас.

* * *

Лечись рассолом и кефиром, мочись за
ржавым гаражом. Мы неразрывны с рус-
ским миром, с его ампиром и гужом, с
ухваткой «выпить на дорожку», с повад-
кой: по полу кирзой; сыграй, трофейная
гармошка, мне песню с русской слезой!
Чтоб все бывшее вспомнялось, болезненное
враз перемогло, в душе живой пере-
вернулось и со слезами пролилось, чтоб
не блуждали наши души у Льва Толсто-
го в бороде, хоть ходим мы по русской
суше, как по евангельской воде.

* * *

Под овечьим пледом из Кералы
Умирала теща, умирала
В комнате с окном на купола;
Тяжко ела, тяжело умерла.

Был тогда я дальнего далече,
Все пришлось на Олюшкины плечи:
Тещенька, а следом и тестек
(Сразу вслед за Дусею утек).

В Люберцах не жили, а гостили,
Друга друг пилили и любили,
Друг без друга выжить не могли.
Ты, мое сердечко, не боли.

* * *

В зарослях краснотала,
В Устьянском ли бору
Что-то со мною стало —
Слова не подберу.
Что мы сказать осилим,
С тем и уйдем из мест
Милых под небом синим
Под невысокий крест.

И, как седой калека,
Что присягал царю,
Я на руинах века
Все говорю-горю,
Речью и пьян и болен,
Слов я, гляди, накрал!
И, как слепой Марголин,
Что-то из них собрал.

Глянь, достославный друже,
Вот негустой улов —
Все-то мое оружие
Из немудреных слов.
Старым еловым кряжем,
Пихтою вековой
В землю родную ляжем —
Это само собой.

Пьяны теплом и болью,
Слышим едва-едва
Тех, кто до нас с тобою
Тут говорил слова,
Выбрал такую ж сечу,
В слово себя облек,
И на излете речи
В землю родную лег.

И остается с нами
Лагерной снег зимы,
И под рубахой знамя
Прячем на теле мы.
Судит нас совесть, судит,
Если слеза в горсти.
Будет в России, будет
Знамя кому нести.

* * *

Доктор Яков, доктор Яков —
Бог военно-полевой,
Немцев шил и австрияков
На любой передовой.

Коль ты Жид Всея России —
Значит некогда поссать,
Герра доктора просили —
По-немецки написать:

Рук-то нету, незадача,
 Нету рук, а фрау есть!
 Пишет доктор на удачу
 В догоревший Дрезден весть.

Мама с бабушкой в ссылке,
 Над Россией красный снег,
 Госпитальные носилки,
 Заменявшие Ковчег.

Жизнь приходит и уходит
 С лазаретом и ружжом,
 Яков, Генрих, Фриц и Додя
 За последним рубежом.

Там не спится и не пьется,
 Не копается в золе.
 Все уходит. Остается
 Только правда на Земле.

* * *

Поле с белыми маками за глухими оврагами,
 где окопы запаханы, а пехота оплакана,
 где под талой водицею, под землицей дубелою,
 под полёгшей пшеницею с костью чёрной да белою,
 по январскому холоду, по удушью по летнему
 эти буйные головы никогда не последние...
 И стоят не колышутся деревья по-над пашнями,
 пенье тихое слышится над живыми и павшими,
 над дорогой идущими, над с дороги сошедшими,
 над в далёко зовущими, над до срока ушедшими...
 Но под сладкой рябиною, под калиной горящей
 ты лежишь непалимая, светом горним горящая,
 в свет небесный зовущая, хоть сама не нашедшая,
 но куда-то ведущая как судьба сумасшедшая.

* * *

Где говорят на мёртвом языке — течёт песок в извилистой реке, шумят шатры и войлоки сыреют, бурлит ячмень в овечьем молоке, пастуший посох и кетмень в руке, и спят ветхозаветные евреи. На языке поющем и живом поговорим в бору сторожевом, привыкшем слушать русское наречье, о голосах пшеницы и овса, и о местах, где липкая густа родная речь, как в мае шерсть овечья. Ты на каком ином ни говори, важнее то, сокрытое внутри, что заставляет губы шевелиться, пойти-найти певучие слова, влести в пути в ночные кружева, уйти и снова словом возвратиться.

* * *

К бузинной тростине приладь мундштучок,
К свирели таёжной.
Раз полон кумышки тугой бурдючок,
Уснуть невозможно.
И выдох пустив через длинный курай
Из лёгких табачных,
Мотивчик старинный давай наиграй
Под небом бивачным.
Зовущий за горы, из тёплых укреп
В котомку с веками,
Где древних акынов ломается хлеб
Потомков руками,
Где связь родовая не с графом Толстым,
Не с Мойше Даяном,
А с этим акыном поющим простым —
Усталым и пьяным.
Он скверно поёт и, наверное, спит —
Не мает значенья.
Он кровь голубая полынной степи,
Ночного кочевья.
Он память травы и лесов голоса,

Олень под вогулом,
 И там, где ступали его торбаса,
 Всё полнится гулом.
 А я подголосок, круги на реке,
 Худая мережа —
 Пою на невнятном чужом языке
 И дудкою брежу.

* * *

Как рамена неведомого предка,
 Что пас овец и сыр варил тугой,
 Обожжена моя грудная клетка
 Зарёю бледной, песнею другой.
 Тут русский дух, тут русская заплачка,
 То богомолье, то дреколье вдруг,
 Одним из двух — не байкой, так подначкой —
 На хлебосолье друга встретит друг.
 Остерегись — среди осенней ночи
 В сырых лугах приметят чужака
 Тверских собак недрёманные очи
 И волчий глаз чужого огонька.
 Платочный край, заросшая дорожка,
 Лубочные окошки у воды,
 Знакомый лай, далёкая гармошка,
 В ночных садах холодные плоды.
 Какой беды ещё здесь не знавали,
 Какую болью баб не обожгло?
 Молчат сады, что дважды вырубали,
 А всё равно всё в яблонях село,
 Где набело живут без перепряток,
 И от Творца не прячутся в углу —
 Такой завет сложился и порядок
 За тыщу лет, что нашему селу.
 И ни Орда сюда не наезжала,
 Ни рыскал враг по лихой поре,
 Одна беда, вся вишня вымерзала,

Едва за сорок стукнет в январе.
 Но по весне опять сажали вишню,
 Кто понимает — ягод госпожу.
 Я на Земле себя не числю лишним
 И тоже вишни в мае посажу.

* * *

Пройдя сквозь звёздные врата, больней в знакомые места мне с каждым разом возвращаться. Родному духу причащаться: Солянка, Чистые Пруды и голубиные следы. Пройдя сквозь звёздные врата, я вижу: улица пуста, стоит таджик на повороте, где вы меня не узнаете, Солянка, Чистые Пруды, и голубиные следы. Не обольщайся-обольщайся, не возвращайся-возвращайся в родное детское кино! Там пусто, холодно, темно, там все давно поумирали, и вещи папины украли, и дует ветер над Москвой — сырой, колючий, верховой, и память путается в датах рождений Шварцев бородатых, и стёрся «номер» на дверях, и умер Лёня в Снегирях... Но свет над детскими местами! Но след под звёздными вратами! Гудок заречный заводской! Стоишь хмельной и сумасшедший, как тот солдат с войны пришедший над гробовой жены доской...

* * *

Яблоки в детских колясках, яблоки в детских колясках нищие наши старухи катят к дороге поближе. Выросли дети и внуки, выросли дети и внуки — славные дети и внуки! ...А на обочине жижа. Выросли — поумирали, спились, убили и сели, что-то удачно украли, где-то нещадно влетели... Но серебрятся вершины русского женского духа... Господи, не разреши нам этим перечить старухам!

Лучше купить этих яблок вёдрами, вёдрами сразу!
Лучше купить этих яблок прежде, чем хлынет из
глаза — красных, зелёных и жёлтых, жёлтых, зелёных
и красных вдоль федеральной дороги — продолгова-
тых и разных. Матушка, полный багажник! Матушка,
полный багажник!

...Кланяться, кланяться в ноги...

Елена Игнатова

* * *

Марсия дудкой клянусь, Марсия кожей,
тою кифарой, что нынче разбита, увы, —
нет ничего пустотелого слова дороже,
хвойного звука ручья, вечного шума травы.

Детская спесь у сатира — мохнатую голову лавром
он увенчал, и свирель, что Афиною гневно
брошена (ибо игра искажает черты богоравных),
он подобрал и дудит. И рожа его вдохновенна.

Что же — не тем ли мы платим: лица искаженьем
и цели,
рабством гордыни, клейменьем любви без ответа
за мусикийские игры, за хрипловатые трели
дудки богини, с рожденья подобранной где-то?

И воздаст Аполлон — за целую жизнь в перегонку:
мертворожденная кровь стекает сведенною мышцей,
дудка, раздавлена болью, всхрипнет еще еле слышно,
лира звенит из травы — эхо негромко...

В эту судьбу я гляжу и вижу, как каждая капля
крови, упавшей в песок, бормочет и учится пенью,
и повторяется вновь древнее это сраженье —
звуки небес вперемежку с вошлями из живодерни,
дудка в горсти у младенца, певчество и нетерпенье.

* * *

В самом начале молодости, о как темны слова.
 Стихи, как на дикой яблоне, зелены и круглы,
 точны толчки крови к сердцу, горит голова
 в самом начале молодости, в черном котле смолы.

Я выхожу в жизнь, точно конь, пущенный в степь,
 запах травы и соли мой пресекают бег.
 Первый рывок в жизнь. Только бы успеть воспеть.
 Не ускользнул бы ни зверь и ни человек.

Шорох семян в земле и яростный шум трав.
 Слово горит в крови, сладостное на вкус.
 Только б все назвать, после пойдем, кто прав.
 В самом начале — бешеный молодости прикус.

1966

* * *

Вы мне ворожите, родные города —
 там созревает жизнь, как семечки, тверда —
 ты — Вязьма сладкая, ты — брошенный Саратов,
 где солнечные дни и пыльные закаты,
 где я не поселюсь, наверно, никогда.

В который раз мне видится, как дед,
 надев очки, листает книгу рода
 (он умер до войны),

он ищет след
 моей судьбы — но нет меня, но нет!
 Я пустотой страницы много лет
 бреду, как по пустыне в дни исхода.

1990

* * *

На улицах города, где снег и ветер,
где мы узнали, что человек смертен,
где мы пьянели в глухом цветенье,
а ночь прикапливала наши тени,
я присягаю вам в прежней вере.
О, бредни о Бабеле и Бодлере,
о, девушки в бабушкиных перчатках,
дворянской складки, железной хватки,
с коими мне ни в чем не тягаться,
я не забыла о прежнем братстве.
Прощай же, полдень любви несчастной,
желанья славы, молитвы страстной,
когда вступали, не зная броду,
в свершенья пору, в забвенья воду.

1978

ДЕКАБРЬ

Окостенелый свет расправлен в декабре,
леса оголены и стали без дыханья,
и в длинной полынье на утренней заре —
волос безжизненное колыханье.

Угольного зрачка движенья неживы,
и тени на лице на смертные похожи.
Блестящий низкий лоб и скул монгольских швы
меж черною водой и ледяною кожей.

Восходит нежный пар — дыханья волокно,
колеблет волосы подводное движенье...
Лежит российская Горгона. Ей темно,
и тонкой сетью льда лицо оплетено,
и ужаса на нем застыло выраженье.

1972

* * *

Как хитрый грек,
сквозь Рим жестоковыйный — хитрый грек
бредет, скрывая в бороде усмешку,
и наблюдает городскую спешку
из-под кофейных век.
Как тайный грех,
любовь свою к Москве, как тайный грех,
я объявляю ныне.
Господь, ты сотворил в людской пустыне
гончарный цех?
Кой-как, признаться, лепят малых сих,
но сколько их!
Все сто холмов,
уподоблю все сто ее холмов
златым восхолмьям конского навоза,
но с чем сравнить татарские заносы
ее чинов?
Зима черна,
кремлевская стена начинена
покойниками. Спит копчушка в склепе.
Разносит двери магазинов слепо
в Москве страна.
Здесь млад и стар,
приказчик и добытчик млад и стар,
кипит базар,
печется новый миф столичной лепки.
Здесь «про» — сильны и «контра» тоже крепки.
О, где пожар!
Скрываю смех,
чеканки петербургской жесткий смех.
Грущу о тех
цветах прекрасных, что цветут в болоте.
И обдувает кровью на отлете
гончарный цех.

* * *

Носит дьявол кузовок,
сыплет из него песок.
Вот и Кузомень несчастный
он песками заволок.
Было село — мед с молоком,
блестели сады на взгорье,
и ластился берег бельком
к Белому морю.
Пашня еще не лысела. Не сохло
солнце на кольях могил,
и в палисадах домов под окнами
никто отцов не хоронил...
Если б вы видели Кузомень,
где колодец брякает цепью,
наглухо заперт в будке, а крепи
карбасов пошли на мостки,
и только песок затирает мерно
проплешины взорванной церкви.

1982

* * *

Детства опара.
Ветрянки зеленый цветок,
да на воде подсоленной — тюря.
Выйдешь — торчит во дворе «воронок»,
наши мужчины охочи до тюрем.

Дом. Дом,
немцами строенный дом,
влажный барак.
Можно купить за пятак
завиток из пластмассы,
можно до ночи кататься

на карусели железной.
Мы засыпаем без слез —
девять душ в конуре. Тесно.

И среди нас расцветают искусства:
вот инвалид — гнет подвески для люстр,
есть и художница — голод и юность,
бант голубой, нежно-серая кожа.
Тридцать рублей — нарисует портрет маслом.
Нарисовала меня
на кошку-копилку похожей.

Родственник-летчик к нам залетел сгоряча,
морщился — мы неприглядны.
Куча угля за окном, пятна на потолке,
да голубые глаза на стебельке
узкого личика. Кожа в зеленке, ветрянке...
— Кем же ты будешь?
— Прачкой! Такие красивые тряпки! —
И ослепила — надежды птица в руке.

1976

* * *

Я живу в новостройке, где небо по локти в земле,
где сиамские кошки гуляют в остывшей золе,
а остатки домишек чернеют, как стертые зубы.
Город вытрусил нас, проронил сквозь
дырявый карман,
вот и кладбища кончились. И оседает туман —
пограничники прячутся в нем или же лесорубы?

Мы живем в новостроенном мире —
горошками блок,
и на карту страны оседает кровавый парок,
и в глобусе пятая часть отливает рудою.

Говори мне: отчизна и Отче, отчаянье, чад,
расскажи мне, как в каменных рощах
подранки кричат —
я люблю и страшусь, отвергаю, приемлю такую.

А пока что поет самогонка в ребре батарей,
перебиты деревья и нет непокорных зверей,
отползают деревни — а мы добивать отстающих.
Это общий процесс, понимаю, везде и у всех:
золоченая белка грызет золоченый орех
и на каждый район полагаются райские кущи.

1978

* * *

В любви несчастной есть избыток света
и царственная горечь. Столь нелепы
смиренье, ожиданье и мольбы,
и унижение так театрально —
не уломать, не умолить судьбы.

В любви несчастной есть придонный свет,
и не сорвется одинокий голос,
заслышав отклик. Целый мир, как полость
рапаны — моря шум, но моря нет.

О, одиночества голубизна,
чужого счастья рабская галера,
и человек с лицом легионера
все так же снится...

1986

Ангел жатвы и покоса проживает на дворе,
у него лицо и плечи облупились на жаре,
косит сено, возит просо, из рожка поит телят...
Его очи голубые ночью в небесах горят.

Белый ангел, ангел снежный — холоднее родника,
твой высокий трубный голос так понятен старикам.
Что за речи на рассвете ты усталым говоришь?
Чистым снегом засыпаешь, чистой памятью даришь.

Вслед за травами и хлебом наступают время сна:
свет и холод, даль и небо, расщепленные до дна,
слабый шелест, сладкий голос, ангел ледянее льда.
Врачеванье легкой болью — всех потерь, всего труда.

1972

* * *

Силы прошу я и сердца без края,
исполосовано болью, сумело б замену снести...
С каждым отъездом — частица души, отлетая —
не отлетает. Крошась, как краюха сухая,
все же прощает и силы нашла для «прости».

Речи заемной прошу я — немецкой, английской,
русское слово для слуха, что слезные яблоки глаз...
Что мне Москва? Словно в яме остылой и склизкой,
нету его. Сердце, выдай холопа Бориску,
чтобы судил его памяти Тайный приказ.

Я попрошу о ночах без греха и о теле без плоти,
о неязвимом навек золоченом яичке судьбы.
Вы же смогли... В ослепительном вашем полете,
к Лете припав, вы забвенью безгрешное пьете.
Как мне прожить на высокой нервущейся ноте,
как избежать и запоя, и воя, удавки, угарной избы?

1977

* * *

И — кончилась смерть. Снова запели птицы.
И не хотелось душе с мертвой водой родниться.
Зеркала слепота. Плачущих глаз криницы.
Здравствуй, шум луговой, каменная земляца.

Этот полет сквозной — как побег из неволи.
Глядя тебе в лицо, впервые не знаю боли,
выиграна любовь — и не полслова боле,
я оставляю тебя, но не твоею волей.

Выиграна судьба. Всем вопреки играла.
Время проститься. Мне руки трава ломала,
ворон облатку нес. Целую ночь стояла
горькой воды река — сердце мне размывала.

1973

Виктория Измайлова

ХРОНИКИ ВАЛЕРИИ

Любимой собаке посвящается

На развалинах империи,
именуемых Россией,
Жили мы вдвоем с Валерией,
Бремя времени носили.

В доме с плохонькими стенами,
Столь похожем на лукошко...
Мир со вспоротыми венами
К нам заглядывал в окошко.

Город был, как старый мусорщик,
Замкнут, зол и неопрятен,
Матерщинник, вор и мученик,
Весь из грязно-серых пятен.

Но зато была Валерия,
Обладая нравом дерзким,
Хороша, как кавалерия
На параде королевском.

С жалкой фигою в кармане я
Вместо грез и капитала,
Но взаимопонимания
Нам с Валерией хватало.

Под гитарное брэнчание
Плыли рядом наши вздохи,
Ибо жгло меня отчаянье,
А ее — терзали блохи.

Вымирало население,
Таял век, столпы сметая.
Вырастали поколения
На котлетах из минтая.

А прекрасная Валерия,
В общем, склонная к причудам,
С неизменным недоверием
Относилась к рыбным блюдам.

Дули западные ветры, и
Всюду радостно твердили,
Что отныне силы светлые
Нас, мол, темных, победили.

Но под клекот сытых лекторов
Мы учились жить немногим,
Ненавидеть вивисекторов
И сочувствовать убогим.

* * *

России Дух сквозь него глядел,
И думал всяк, кто в секрет проник:
«О, как Он страшен и как велик!», —
Когда Хворостовский пел.

Ревели в душах колокола,
над миром плыли Его крыла,
Он небо Руси до краев закрыл
В шесть раскаленных железных крыл.

Сто тонн урана в Его праще,
сто тыщ подснежников на плаще,
две птицы вещие на плечах,
два моря кровавых слез в очах.

На белом платье простого льна
багряным вышиты имена
и правды жизни Его детей,
падений, подвигов и смертей.

А в складках платья того — мечи,
лампады, свечи и куличи,
пируют вороны на стерне
и розы кружатся в полынье.

Многажды ранен, но не убит,
Он помнил все из своих обид,
стоял над миром, глаза слепя,
взрастивший сердце больше себя.

И каждый видел сквозь рампы свет,
что равного нашему Духу — нет,
Ему не дано ни друзей, ни жен.
А орден Басковых был смешон.

* * *

По сравненью с нами — рано, а по данным
школьной карты —
где-то возле Еревана жили древние урарты.
Жаркий хлеб пекли из проса, пряли шерсть, варили пиво,
на соседей глядя косо, деловито и строптиво.

Тяжелели, млели склоны от обилья винограда,
крепил стены и колонны ослепительного града,
ткались пологи и шали, длились плавные беседы,
боги щедро обещали и удачи, и победы.

Лгали боги, злились печки, пели вражеские стрелы.
 Не осталось ни дощечки — все пропало! Все сгорело!
 В доме красные обновы, вина красные в подвале,
 в стойлах красные коровы — почернели, отпылали.

И пошли урарты с пылью, с дымом об руку по миру,
 распевая песнь ковьилью погорелому кумиру,
 с мудрецами и царями, с невеселой детворою,
 зябнут, жмутся под дверями, плачут в ивах под горою:

«Теста я не домесила! Не дошла покрывала!
 Я серег не износила и от солнца не устала!»
 Причитают, словно ветры, гонят листья по дороге...
 Впрочем, может, это венды, скифы или аллоброги.
 Или русские к исходу подступающего века
 на распутье в непогоду. Осень. Ночь. Фонарь. Аптека...

А покуда ты — живая, можешь ты побыть немного
 и рабынею Мамаю, и натурою Ван Гога,
 выйти в красном за калитку к пикту, готу или хетту,
 взяв прабабкину накидку, зная, что спасенья нету.

* * *

Лес придорожный, не ставший краше.
 Здесь мы с тобою бродили раньше,
 здесь, у больницы, в конце недели,
 как две синицы, на пне сидели.

Все так же дали многоголосны,
 все тем же медом залиты сосны.
 Дымит в их ветках слепящий магний,
 идут их корни до самой магмы.

Идут подземной дорогой длинной
 в единоборстве с песком и глиной,
 в обнимку с вечною мерзлотою,
 рудой железной и золотою.

Перебирают ручьи и норы,
перетирают гробы и горы.
Рубцы и раны притоки Леты
им омывают. О, где ты, где ты?

Но в крепких кронах царит живое.
И мед все каплет и каплет с хвои
в полынных листьях худые чаши,
на пни и камни, на тропки наши.

Он проникает в земные поры
и затекает в гробы и норы,
не прорубая ступеней новых,
идет дорогой корней сосновых,

по тем же скатам, по тем же метам
ложась то златом, то самоцветом,
питая вечную пуповину,
делаясь ядом наполовину.

Седые воды ворчат невнятно.
Плывут по Лете ржаные пятна —
среди ваших лодок, меж ваших лапок...
О, мед поэзии, как ты сладок!..

* * *

Мой грустный, золотоволосый,
Мой одинокий бог!
Там у реки звенят стрекозы,
Цветет чертополох.

Неловкий, колкий, тонкокожий,
Он рвется из земли.
И на глаза твои похожи
В его цветках шмели.

Горячих трав живые гусли
Так ждут твоей руки!
В них тельце прячет серый суслик
И ползают жуки.

И пестрой птицы изумленье,
И блики на тропе —
Все в этом мире изъявленье
Моей любви к тебе!

О, для тебя в том мало прока!
Ты носишь на челе
Печать отчаянья и рока,
И ходишь по золе.

И ночь зовешь. И гонишь солнце.
Лишь уличный фонарь
Глядит в разбитое оконце
На нищий твой алтарь.

И чертит, чертит тень немая
Узоры на стекле.
Я прихожу и понимаю,
Что истина — в золе,

Что в край стрекоз и дикой мяты
Я больше не войду!
Что все мы будем здесь распяты,
Чтоб быть с тобой в Аду!

* * *

Задохнувшимся от жира, размечтавшимся в петле,
покажи нам, Аль-Джазира, что творится на земле!
Архаичные пейзажи, экзотические сны!
Наши рожи и вояжи непростительно пресны.

Обойдись без пошлой позы, мелких фраз, плебейской лжи,
ты обугленные розы, розы Басры покажи!
Как там Штаты озоруют, что там люди говорят,
как там древности воруют, как там скважины горят.

Покажи, как рвутся бомбы, как на мрамор льется кровь,
как уходят в катакомбы Совесть, Правда и Любовь!
Обозначь в багряной луже мародеров всех мастей,
покажи, как в Эль-Феллудже оперируют детей!

Как отравленную рану жжет поверженный народ,
как несчастному тирану клерк бесстыдно лезет в рот,
как со звоном бьются янки о пластид и динамит,
словно лекарские склянки о языческий гранит!

Ах, покуда врет полмира ты — одна на небеси!
Говори нам, Аль-Джазира! Мы не верим Би-би-си!
Докажи, что хитрый Толкин — не мечтатель, а пророк,
и не агнцы, а волки, и не действие, а пролог.

В сладкий час хмельного Шира сквозь экранное стекло,
покажи им, Аль-Джазира, их кровавое мурло!
Пусть визжат и матом кроют, не тушуйся — это жизнь!
Кошке ясно, что прикроют, да уж как-нибудь держись!

Для удобства, для блезиру монстр раскрутит Палантир.
Монстр не смотрит Аль-Джазиру, он не любит
аль-джазир.

Те, что вовремя не пали под копыта чужака,
будут маяться в опале все ближайшие века.

Толстозадые индюшки, облаченные во власть,
Бледно-розовые шлюшки насвирепствуются всласть.
И незрячи без клистира королевские пажи!
Ну, хоть ты-то, Аль-Джазира, покажи им, покажи!

* * *

И дальше — по течению реки,
где под водой — кремлёвских башен главы,
монастыри, обрывы и дубравы,
а меж ветвей — прозрачные мальки,

дворы и крыши, нивы и луга,
по площадям повозок вереницы,
гнилые лодки, злые водяницы,
а в волосах — песок и жемчуга,

где над водой — пылью небесной ржи
витают свет, трепещут птичьи клики,
и в облаках — божественные лики,
а в бородах — стрекозы и стрижи,

Орел и Лев, и судьбы на Весах,
огни знамений, мрачные зарницы,
парад планет, стальные колесницы,
летучий бриг с кометой в парусах,

где вдоль воды — чужие маяки,
родные кладбища и пепелища,
и чернь подла, и знать темна и нища,
и под стенами храмов — кабаки,

все пустыни — пустыни, всё — леса,
всё окна Вавилона и Содома,
и больше ни детсада, ни роддома,
ни даже глаз потерянного пса,

где на плоту — гниет последний брат —
на сотни раз промоченный слезами,
расшитый розами и образами,
и образами милых чёрный плат,

где, заточён неведомо за что,
ты сам себе — всевидящее око,
и бесконечно долго — до истока,
и безнадежно мало — до Ничто.

Александр Кабанов

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ТРИПТИХ

1.

Чем дольше я в Венецию не еду,
тем ближе и отчетливей она,
и память, что отпущена по следу,
в зубах приносит пробку от вина.

Quercus suber, редкость небольшая —
фиалкой пахнет, музыкой подвод,
я вспоминаю кьянти, урожая...
...да, это был неурожайный год.

Купаж из смальты, камня и металла,
тускнеющий от жажды терракот,
гуляющая Венеция дремала —
но, по привычке, открывала рот.

А ночью в запыленные стаканы
мохнатые стучались мотыли,
покуда из Пьемонта и Тосканы
хорошее вино не привезли.

Я не был здесь, но вспоминаю пьятца
Сан Марко, возвращение домой,
мою любовь, чьи волосы струятся,
и женщину, беременную мной.

2.

Чумацкая, поющая «Oh, Sole,
oh, Sole mio...» полночь проплывет —
изогнутая, как стручок фасоли,
и мост привычно втянет свой живот,
боясь щекотки — более чем боли.

На пристани поскрипывают доски,
кофейники зевают невпопад,
и ты, мой друг, божественна чертовски,
но вот уже светает, новый ад —
сейчас откроют Медичи и Босхи.

Пока изюм ворочается в тесте,
наносятся последние мазки,
и то, что нас удерживает вместе —
других бы разорвало на куски,
на похоронки и благие вести.

3.

Вот — гондольер, и солнечная смазка
еще лоснится на его лице,
усат, ребрист, он говорит: «Будь ласка,
но истина — в поленте и в тунце,
а книжный переплет — сплошная маска...»

Поберегись, прекрасное мгновенье —
се ангел-гондольер предохраненья.

И на десерт — поцеловав Франциску,
спускается к гондоле тяжело,
и между волн вонзая зубочистку,
вдруг вытащит волшебное весло —
блестит эмаль, подверженная риску.

Туристы из Одессы, старички,
супруги, пенсионные планеты:

морщин — меридианы, и очки —
чернеют на глазах, как две монеты,
за перевоз, в какие наши Леты?

И мы плывем сквозь виноградный жмых —
два полумертвых, два полуживых,
одни — к поэту, на могилу Б.
другие — на прощание к себе.
И тишины классическая fuga
из райского не выпускает круга.

* * *

Отечество, усни, детей своих не трогай
ни плавником, ни острой двурогой,
ни косточкой серебряной в «стволе»...
Славяне — очарованная раса,
ворочается пушечное мясо
в пельменях на обеденном столе.

А я — любовью сам себя итожу,
ты — в переплете, сбрасываешь кожу,
как сбрасывают ветхое вранье
в считалке, вслед за королем и принцем,
так бьют богов, так пробуют мизинцем —
отравленное зеркало мое.

Трехцветная юла накручивает мили,
вот белый с голубым друг друга полюбили,
вот красный оросил постельное белье...
И ты рисуешь профиль самурая,
от нежности и от стыда сгорая,
отравленное зеркало мое.

* * *

«Кровь-любовь», — проскрипела кровать,
 «кровь-любовь», — рассердилась таможня,
 «кровь-любовь», — так нельзя рифмовать,
 но прожить еще можно.

Пусть не в центре, пускай на краю
 бытия, не в портянках атласных —
 восклицательным знаком в строю
 русских букв несогласных.

Кровь-любовь, благодарность прими
 от компьютерных клавиш истертых,
 и за то, что остались людьми,
 не желая расфренживать мертвых.

Кровь-любовь, не дается легко
 заповедное косноязычье,
 но отшельника ждет молоко:
 утром — женское, вечером — птичье.

* * *

Вечность кончилась, слава — стиху,
 чьи шмели — опыляя недели —
 в черных шубах на рыбьем меху,
 как барышники, хором гудели.

Вечность кончилась нам вопреки,
 мы остались, а вечность — едва ли,
 мокроносые, словно щенки,
 засыпая — агавы зевали.

Им не тесно в корзине моей,
 самозванцы, мечтают о Крыме:
 вот приедет помещица, ей —
 будет взятка цветами борзыми.

Этих — нужно кормить колбасой,
этим — надо готовить сиропы,
вот и смерть промелькнула с косой —
золотой, деревенской, до попы.

Нас посадят в тюремном саду,
где рассвет наступает на грабли,
вечность кончилась, новую жду,
пусть ее отпускают по капле.

* * *

Вдоль забора обвисшая рабица —
автостоп для летающих рыб,
Пушкин нравится или не нравится —
под коньяк разобрать могли б.

Безутешное будет старание:
и звезда — обрастает паршой,
что поэзия, что умирание —
это бизнес, увы, небольшой.

Бесконечная тема облизана
языком керосиновых ламп,
так любовь начинается сызнава,
и еще, и еще Мандельштамп.

Не щадя ни пространства, ни посоха,
то ползком, то на хряке верхом,
выжимаешь просодию досуха —
и верлибром, и белым стихом.

Чья-то ненависть в пятнах пергамента —
вспыхнет вечнозеленой строкой:
это страшный вопрос темперамента,
а поэзии — нет. Никакой.

* * *

И когда меня подхватил бесконечный поток племен,
насадил на копыта поверх боевых знамен:
«Вот теперь тебе — далеко видать, хорошо слышать,
будешь волком выть, да от крови не просыхать,
а придет пора подыхать, на осипшем ветру уснуть,
ты запомни обратный путь...»

И когда я узрел череду пророков и легион святых,
как сплавляют идолов по Днепру, и мерцают их
годовые кольца, как будто нимбы, за веком — век:
только истина убивает, а правда — плодит калек,
только истина неумолима и подобна общей беде,
до сих пор живем и плавимся в Золотой Орде.

Ты упрячь меня в самый дальний и пыльный Google,
этот стих, как чайник, поставь закипать на уголь,
чтобы он свистел от любви до боли, и тьмы щепоть —
мельхиоровой ложечкой размешал Господь.
И тогда я признаюсь тебе на скифском, через моря:
высшей пробы твои засосы, любовь моя.

* * *

Твои дела — не так уж плохи,
вот паучок вбирает нить,
а вот капризный тембр эпохи —
его попробуй уловить.

Корабль плывет, дельфины лают,
судьба — вместилище трухи:
как жаль, что нынче не ссылают,
не убивают за стихи.

Юрий Казарин

* * *

Почти отмучившись, отмучив
ночь, косоглазую от слез,
проснусь и вспомню: снился Тютчев,
и — сажа белая берез.

Тряхнет скворец, с бесстрастным глазом,
плечистым пушкинским плащом:
кто долгим прошлым был наказан,
тот будет будущим прощен.

Душа отбрасывает тело,
как дым отбрасывает тень
между луной и светом белым
в его смертельную сирень.

* * *

Так смотрит птица, ночь, звезда
и в горечь очи собирает.
Всё умирает навсегда —
а зрение не умирает.

Вон утка в полынье, в мороз —
вдоль смерти выпишет кривую
и замирает как донос
зиме на жизнь, ещё живую,

и на меня с разбитой мордой,
с набитой горечью аортой,
завязанною в узелок,
чтоб тоже улететь не смог.

* * *

Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу,
нужен мальчик-заика и ножик,
и река, и чтоб небо щипало в носу,
и пыхтел под рябинами ёжик.

Скоро дождик равнине вернёт высоту,
в одуванчике высохнет ватка.

После ивовой дудочки горько во рту,
после ивовой музыки сладко.

* * *

И, усомнившись в тишине,
ты просто лёг лицом к стене,
к небесным трещинам — без молний,
но с пылью бездны в глубине —
и замолчал ещё безмолвней,
чтоб было слышно, как в окне
искрится стужи злая мякоть.
Чтоб замолчать лицом к стене
и не заплакать.

* * *

Т. С.

Вот железная койка,
 сталинская постройка
 жизни, страны, семьи.
 Ссылные — на Урале
 жили и умирали
 родственники мои.

О, железная койка...
 Карцер. Головомойка.
 Выскрипеть всю — нет сил.
 Сколько узлов, позоров.
 Может быть, сам Суворов
 в Альпы её возил.

Лает в любви, как лайка,
 сядешь — кричит, как чайка,
 в долбаной тишине.
 Проволочные клетки —
 панцирь её: от сетки —
 ромбики на спине.

У, железная койка,
 плачет по ней помойка —
 я её разберу
 и увезу на дачу.
 Лягу. Вздохну. Заплачу.
 Может быть, не умру.

* * *

Воздух болит. Сука.
 Или душа — разлука.
 Или перекурил —
 выдохнуть нету сил.

Может, от каждой жажды
я умираю дважды.
Боли своей блесну
с водкой в стакан плесну.
Пусть в глубине мелькает —
к вечности привыкает
в горле, во рту, во мне,
на обожженном дне.

* * *

Прямо в синее роца разрыта,
листопад — это взгляд следопыта,
вот и вышел, как водится, весь,
понесло шелуху алфавита
в черно-белую зимнюю взвесь.

Побирайся в заснеженном поле,
разбирай круговые следы
чистой речи в чернильной неволе,
словно в древнем, как кровь, алкоголе
серебристую думу воды.

* * *

Так пишет прозу воздухом снежок —
смятенье смысла, кровельный ожог,
и слышно, ловит бабочку Набоков
в узилище высоких водостоков,
где слово пахнет круглой пустотой
и длится дольше крови золотой...

* * *

Из темноты, из самой темени
со лба морщинистого нить —
осадки осени и времени
с округой не соединить.

Здесь мысль — оседлая и странница,
заноза, девственница, блядь.
Но к ночи хляби устаканятся —
и взгляд от них не оторвать.

Здесь из Венеции и Питера
не извлекается квадрат
воду — медленнее свитера,
распущенного в снегопад.

* * *

Вот звезда себя закинет
в воду голую, и бес-
печно лодка половинит
фотографию небес.

Крепнет чай, как бычья печень,
и в окно глядит в тоске
не чечен, а чечет-чечень
с каплей крови на башке.

И мужчина, прижигая
губы, черный чай клюет:
у него судьба такая —
слышать снежный недолет.

У него висит на волка
кверху лапками, во сне,
как у Чехова, двустволка
на бревенчатой стене.

* * *

Опять зима. В полях живет никто.
Мороз как поцелуй. Краснеет веко.
И дятла, дятла, дятла долото.
Мороз как поцелуй. Без человека.

О яблоко горячей пустоты,
которое в себя вжимают рты,
навстречу двигаясь друг другу,
надкусывая — горькое — по кругу,

два круга крови так перехлестнув
в восьмерку, словно стеклодув
себя на волю выдыхает —
и потому зима и все — сверкает,
взлетает, падает, порхает

и птицей пропадает на суку
в лесу, увидевшем тоску...

* * *

Тенью под берегом-брегом,
как под глазами, легли
воды, вскормившие снегом
твердое слово земли.

Как я окрест умираю! —
брось мне сквозь небо звезду:
вон по сугробам к сараю
я за дровами иду...

* * *

В банке кофейной четыре окурка,
дохлой пчелы драгоценная шкурка,
белый, нецарский, дурной пяточок,
словно упавший на решку зрачок.
Смотрит, родной, на меня, как Господь.
Взять бы его, да с пчелою, в щепоть —
бросить в толкучую воду
на золотую погоду...

* * *

Кровельные прорехи.
Небом налился дом.

Мозг мировой — в орехе
греческом, золотом.

Господу хватит крови,
воздуха, губ и слёз
ядрышко в русском слове
оборонять в мороз.

Бахыт Кенжеев

* * *

Не обернулась, уходя, не стала
сентиментальничать, а я шептал, дурак:
прощай, моя душа, я знаю, ты устала,
сойдемся в тех краях,

где мы еще глаза влюбленные таращим
на свет неведомых невзгод
в прошедшем времени — вернее, в настоящем,
которое пройдет,

где чайки бедные кричат о сладком вздоре
известняку — а он от старости оглох,
где рвется к морю с пыльных плоскогорий
кладбищенский чертополох,

где ящерка и уж, невызревшая смоква
на греческом кусте —
жизнь не обветрилась, не сохлась, не поблекла —
стоит в бесценной нагоде

и смотрит ввысь, и ясно слышит море
далекое, и молча, мы поем
о том, что звезды — соль, рассыпанная к споре
бессмертия с небытием.

* * *

«Обласкала, омыла, ограбила — рано умер и поздно воскрес.
Рад бы жизнь переписывать набело — только времени стало в обрез.

Долистать бы ночное пособие по огням на межзвездных путях,
залечить, наконец, хронофобию — не молитвой, так морфием». Так
человек размышляет единственный, оглушенный бедой мировой,
ослабевший, а все же воинственный, непохожий, но просто живой.

Всем воздастся единою мерою. И когда за компьютером он
до утра ретуширует серые фотографии серых времен —
пусть бензин и промерзшая Лета, пусть облака над отчизной низки —
только б светопись, ломкая летопись, заливала слезами зрачки.

* * *

Прозревший вовремя буддист, один на каменной кровати, давно забыл, что мир нечист, что человек зачат в разврате: он предков читит, не пьет вина, мурлычет мантры допоздна, не видит снов про лед и пламя, но слышит: на краю земли шумят просторными крылами невидимые журавли.

И рад бы в рай, да не пускают грехи. Поплачем, помолчим. Как в сердце бьет волна морская тяжелым золотом своим! И пленный ум, и ум бессонный боятся неодушевленной, необратимой череды унылых перевоплощений — псом станет царь, дебилом — гений, землей — полночные труды.

Звезде — сгущающейся плазмой, нам — льдом на воспаленных снах утешиться, да безобразной, но честной старостью. Монах тибетский — непорочный лотос, живая молодость и кротость, — не станет за меня молиться подстреленному журавлю — но я и сам с небесной птицей дорог воздушных не делю.

* * *

Скучай, скучай, водица ледяная по реченьке, текущей без забот.
Грек, мой сосед, гармонии не зная, по вечерам анисовую пьет.

Владелец странной лавки по дороге в аптеку, для кого содержит он
свой пантеон? Кому сегодня боги (читай: Арахна, Марсий, Актеон)

нужны? Как хлипки эти малолетки, как трогательна эта нагога!
Не мрамор, нет, старательные слепки, в телесный цвет раскрашены... И та

охогница, которая бежала сквозь лес ореховый, оленям бедным вслед,
и тот, хромой друг жаркого металла, и те, кого в природе больше нет —

малы, что запонки, и как младенцы, зябки, — в краях, где крот базальта не грызет,
лишь гипсовый Гадес в собачьей шапке, смеясь, вдыхает царственный азот.

Устал, и сердце меньше мечется. Еще и крокус не пророс,
еще морковным соком лечится весенний авитаминоз,
но стоит в предрасветной панике вообразить грядущий год,
где дудка квантовой механики над белокаменной плывет —
легко работать на свободе ей, охватывая наугад
опустошающей мелодией кинотеатр и детский сад,
игорный дом, и дом терпимости, музей, таверну и собор —
знать, наступило время вымести отживший мир, постылый сор —
и жалко, жалко той скамеечки с подстеленной газетой «Труд»,
где мы, целуясь неумеючи, печалились, что не берут
ни в космонавты, ни в поэты нас, и, обнимаясь без затаей,
играли в мартовскую преданность нехитрой юности своей —
пальто на вате, щука в заводи, льняная ткань, простейший крой —
лишь позабытый звездоплаватель кружит над темною землей.

**РАЗГОВОР ПОЖИЛОГО СОКОЛА
С ПРЕСТАРЕЛЫМ ВОРОНОМ**

«Что, товарищ, ты невесел?
Что почесываешь плешь,
не поёшь вороньих песен,
свежей падали не ешь?»

И отвечает товарищ,
темным ужасом зовом:
«Я спален огнем пожарищ,
будто в танке боевом.

Я играл крылом-предплечьем,
пас орлиные стада,
сладким глазом человечьим
угощался иногда,

ведал все, что было скрыто
под тулурами овец,
а теперь я раб артрита,
робких бабочек ловец».

«Ты, товарищ, пессимистом
стал, забывши стыд и честь.
Ведь под солнцем золотистым
всякой твари место есть!»

«Гаснет газ вселенской кухни,
через считанных минут
солнце желтое потухнет,
дыры черные взойдут.

Мы — пирующие птицы,
но в печальный этот час
что-то струнное случится,
недоступное для нас».

* * *

И забывчив я стал, и не слишком толков,
только помню: не плачь, не жалеяй,
пронеси поскорее хмельных облаков
над печальной отчизной моей,

и поставь мне вина голубого на стол,
чтобы я, от судьбы вдалеке,
в воскресенье проснулся под южным крестом
в невеликом одном городке,

дождался рассвета, и вскрикивал: «Вон
первый луч!» Чтобы плыл вместо слов
угловатый, седеющий перезвон
католических колоколов.

Разве даром небесный меня казначей
на бульжную площадь зовет
перед храмом, где нищий, лишенный очей,
малоросскую песню поет?

Светлана Кекова

* * *

Мы жили наготове
поест за пяточок,
но вдруг в каком-то слове
завёлся червячок.

Он нам открыл науку —
молчать и голодать,
и каждый день по звуку
из слова выедать.

Он жалок был и беден,
и телом неказист,
сам по себе — безвреден,
но грыз словесный лист.

Он проползёт по краю
в ночной чернильной тьме,
и я уже не знаю,
о чём поведать мне.

О том ли, как синица
летит через моря?

Но вижу — кровь сочится
опять из словаря.

* * *

Водишь слово по кругу: сурьма, кутерьма и тюрьма.
Слово к свету ведёшь, а вокруг — манихейская тьма.
Слово долбишь, как землю, она тяжела и горька,
а твои сослуживцы стоят у пивного ларька.

У пивного ларька Вознесенская церковь была,
и над ликами пьяниц плетут пауки купола,
и в Святая Святых вдруг въезжает, пыля, грузовик,
и над куполом крест водружает паук-крестовик.

* * *

Если всё живое лишь помарка...

О.Мандельштам

Света нет. Перегорели пробки.
Жду, что будет память коротка
я, сидящий в спичечной коробке
наподобье майского жука.

Дрогнут крылья в теле полусонном.
Мне прямого утешенья нет —
я не знаю, по каким законам
кафкианский строится сюжет.

Если космос — тёмная пучина,
Кафка — дилетант или профан,
то в замочной скважине причина
кроется, как змей Левиафан.

Жёсткие надкрылья бесполезны
для личинок нерождённых слов...
Вставь железный ключ в источник бездны
и сломай хитиновый покров.

* * *

о. Игорю Цветкову

Среди странных взлётов и падений,
в лунном свете с головы до пят,
богомолы в виде привидений
молча над полянами висят.

Лишь один из них, лишённый крова,
от себя и мира отрешён,
силится обманутое слово
натянуть на лоб, как капюшон.

Но пока он к смысловой палитре
добавляет краску или две,
странный зверь в пирамидальной митре
в разноцветной движется траве.

И пока изгой из богомоллов
с именем нащупывает связь,—
торжествует звука странный норов,
жизнь проходит, плача и смеясь.

И среди растений в виде свечек,
ничего не видя впереди,
засыпает навсегда кузнечик
с маленькою арфой на груди.

* * *

Я являла странную обузу
для лжеца, льстеца и простеца,
и мою растерянную музу
сбросили с морозного крыльца.

Неплохую службу сослужила
муза — этот маленький зверёк.

Я кристаллы снега положила
в крохотный стеклянный пузырьёк.

Думала, что снег ниспослан свыше
так же, как объятья и стихи...
По ночам в доме скребутся мыши,
злые мысли, старые грехи.

Так о чём я думаю? О стирке
платья в длинной ледяной реке.
И стоит на полке снег в пробирке,
в маленьком стеклянном пузырьке.

* * *

Спят скелеты листьев
в культурном слое.
Пляшет куст лещины,
как древний грек.
Обрывая осень на полуслове,
начинает сыпаться первый снег.

Запотело утром воды зеркало,
и портрет зимы отразился в нём.
А совсем недавно листва мерцала,
отливая золотом и огнём.

Что же? Ливень листьев —
не плод раздумий,
отблистал на воле — и был таков.
И лежит любовь среди юных мумий
фараонов, ибисов и быков.

Египтянин выйдет на волжский берег —
пусть томится время в гробу пустом!
Он поклон отвесит, и рыба жерех
голубой ледок разобьёт хвостом.

* * *

В поисках поздней расплаты
мечется огненный лес —
ясени-аристократы,
мелких кустарников плембс.

Слово, как поезд с откоса,
мчит, обрывая строку.
Кажется знаком вопроса
ворон на крепком суку.

Кончилась наша эпоха —
время династии Мин,
спрятались в зарослях лоха
бабочки русских равнин.

Только и в диких оливах,
вставших на нашем пути,
их — молодых и счастливых —
больше уже не найти.

НЕ НАЯВУ И НЕ ВО СНЕ

1.

Я вспомнила владычество Астарты
над кронами осенних тополей,
мелки, географические карты,
карандаши, чернильницы и клей,

и пуговицу, вырванную с мясом
из старого зелёного пальто,
и наизусть заученное классом
таинственное слово «шапито»,

указки путь из Азии к Европе,
умершей жизни мелкие дела,

и в нищенском её калейдоскопе
блеск нестерпимый битого стекла.

2.

Я видела закованного в латы
богатыря в усталом старике,
и льда неаккуратные заплаты
на тихой помутившейся реке,

я видела в старухе, взявшей прялку,
чтобы закончить давние труды,
царицу ночи, девочку, русалку,
владычицу струящейся воды.

Я видела: мне снова двадцать восемь,
я молода, худа и весела,
но сквозь весну просвечивает осень,
и голова её белым-бела.

3.

Облака плывут, за собой оставляя тени,
осторожно, боком, подходят к воде олени.

Ведь олень, как сказано, жаждет потоков водных,
а душа томится в метаньях своих бесплодных.

Ах, душа-криница с прохладной водой разлуки,
а любовь — синица, но тоже не дастся в руки,

и наказан дух за пристрастье к мечам и латам,
и сияет осень речным хрусталём и золотом.

4.

Не презирай дыхания отцов,
их отзвучавших мыслей и желаний,
смотри: бредущих к водопою ланей
остановил какой-то странный зов.

Он прозвучал, как памяти призыв,
и медленно рассеялся в пространстве,
и плачут о своём непостоянстве
соцветия рябины, ветви ив.

И если плачешь ты, прими скорей
простое, но целительное средство:
не предавать последнее наследство —
рыдания и муки матерей.

Покуда я о жизни речь веду,
над миром солнце всходит и заходит,
и плачет Суламифь, и молча бродит
царь Соломон в ореховом саду.

5.

Имя — свежая рана
или спрятанный шрам...
Нина, Вера, Татьяна,
Алла, отрок Иван.

Рана тянется к ране,
плачет небо, дрожа:
— Где купцы и крестьяне,
лесники, сторожа?

— Стал строитель и плотник
горстью букв на листе,
как израильский сотник,
что стоял при кресте.

Пусть ночуют солдаты
в неизвестных местах,
не стираются даты
на незримых крестах.

Кто не значился в списках.
тот живёт без затей
в поминальных записках
наших бедных детей.

б.

Не наяву и не во сне,
не в жизни, не в кино
тащил отшельник на спине
пшеничное зерно.

Летел орёл — и был таков,
лев рыскал — и пропал.
И семь железных башмаков
отшельник истоптал.

Но он внезапно занемог
в пустыне у скалы:
его, наверно, сбили с ног
воздушные валы.

Дополз отшельник до реки,
как камень, лёг на дно...
И вот сквозь кисть его руки
растёт — рассудку вопреки —
пшеничное зерно.

* * *

Три памяти, три крови, три любви:
Одна тоскует в сердце юной девой,
Другая смотрит грозной королевой
И заставляет прихоти свои
Нас исполнять. И мы, её рабы,
В слезах целуем узкий след судьбы.
Но третья приближается любовь,
Она грозит тоской и самосудом,

Пока ещё струит вторая кровь
Ток благодати по больным сосудам.
Блестит луна в седой её косе,
Загадочна, как смерть, её природа,
И месяцы — стальные оси года —
Вращаются, как спицы в колесе.

* * *

Встал на стражу полдень ослепительный,
по колено в солнечной крови,
и следит, как матерьял строительный
собирают молча муравьи.

Вот один несёт иголку хвойную,
и плечо его обожжено,
а второй, как совесть беспокойную,
держит в лапах длинное зерно.

Муравьи — хорошие работники!
Ты лежи в траве и загорай,
а они, как Ленин на субботнике,
будут строить муравьиный рай.

* * *

Постепенно и я узнаю,
длилось прошлое вечность ли, миг ли?
Слишком долго мы жили в раю,
так что к этому раю привыкли.

Но душа тяжела и суха
даже в огненный миг испытанья...
Узнаю эту землю греха,
а над ней — облаков очертанья.

Узнаю этот сумрачный сад,
погружённый в пространство, как в воду...
Там плоды золотые висят
и сулят нам покой и свободу.

* * *

Я, услышав крыльев трепет,
веки разомкну.
Человек из глины лепит
для себя жену.

Перед сном он пьёт таблетки,
смотрит на табло,
а в грудной томится клетке
лишнее ребро.

Мышья норка, хлеба корка,
розы на окне...
Знаю я, кто будет горько
плакать обо мне.

В белой блузке из нейлона,
в юбке из парчи
я, как сон Пигмалиона,
растворюсь в ночи.

Виктор Кирюшин

* * *

Листья повымело дочиста,
Изморозь на тополях.
Не тяготит одиночество
В этих остывших полях.

С дымкой предутренней млечною
И лебедой у межи
Кажется ясной и вечною
Небесконечная жизнь.

Звезды качаются в омуте,
В черном лесу камыша.
Тикают ходики в комнате,
Вечно куда-то спеша.

* * *

Задыхаюсь от косноязычья,
Но уже не зайти за черту —
Слово рыбье, звериное, птичье,
Словно кость, застревает во рту.

Снова древнюю книгу листаю,
Чей волнующий запах знаком.
Вы, от века живущие в стае,
Не считайте меня чужаком!

Беззащитен и разумом смутен,
Смуглый пасынок ночи и дня,
Я такой же по крови и сути —
Муравью и пичуге родня.

Но природа, закрывшая двери,
Немотой продолжает корить.
О, свободные птицы и звери,
Научите меня говорить!

* * *

Давно забытая отрада —
От счастья голову терять.
Но девичьего винограда
Так дерзко пламенеет прядь!

Так воздух утренний разрежен
И удивителен на вкус,
И, облетевший, не заснежен
Вдали черемуховый куст.

Пускай седыми холодами
Грозит недалняя зима,
Пускай не видимся годами
С той, что свела меня с ума.

Но иногда приходят снами —
Ее лицо, улыбка, речь...
И очарованная память
Уже дороже новых встреч.

* * *

Вслед за омутом — мели,
Блики солнца на дне,
В дымке черные ели:
Тихий август на Цне.

Пахнет поле полынью,
В небе ястреба тень
И последней теплыню
Наливается день.

Храма Божьего главки,
Желтизна там и тут.
Лишь старушки на лавке
Безмятежно цветут.

Чей-то слышится клекот
За остывшей рекой...
До зимы недалекой
Далеко-далеко!

Тихо катится солнце
За рябиновый куст,
А вода из колодца
Ледяная на вкус.

* * *

Лес обгорелый,
десяток избенок,
морок нетрезвых ночей.
Плачет в оставленном доме ребенок.
— Чей это мальчик?
— Ничей.

Невыносимая
воля в остроге,
вязь бестолковых речей.

— Чей это воин,
слепой и безногий,
помощи просит?

— Ничей.

Словно во сне, великана связали,
гогот вокруг дурачья.

— Чья это девочка
спит на вокзале
в душном бедламе?

— Ничья.

Остервенело
в рассудке и силе
продали это и то.

— Кто погребен
в безымянной могиле
без отпеванья?

— Никто.

Родина!

Церкви и доли, и пожни,
рощи, овраги, ручьи...

Были мы русские,
были мы Божьи.

Как оказались ничьи?

* * *

Ни тропинки, ни следа,
Травы в пояс, бор — стеною,
А под елями вода,
Ведрышко берестяное.
Манит белое как снег
Средь полуденного зноя...
Видно, добрый человек
Проходил передо мною.

* * *

Жизнь не так и плоха,
Лишь терпенья чуток:
Есть на свете ольха,
А под ней омуток.
Там и небо синей,
И шелковой трава,
А в речной глубине —
Золотая плотва.
Там вода, как слеза,
А вдали — островок...
Шевелит стрекоза
Голубой поплавок.
Ни тиха, ни быстра,
Что-то шепчет река.
Лишь дымок от костра
Нынче горек слегка.
Черный ворон во тьму
Прогорланит: «Ты где?»
Не ответчу ему.
Не поверю беде.

* * *

Вид и убог и божествен:
Голые стыннут леса.
Дождь барабанит по жести
Двадцать четыре часа.

Осень. Безлюдье. Равнина.
Озеро цвета свинца.
Низкого неба рванина.
Русская даль без конца.

Грустно-то... батюшки светы!
Вольно-то, как уж ни глянь...
Вот где родятся

ПОЭТЫ

И беспросветная пьянь!

* * *

Из комнаты, прокуренной и тесной,
Уйти на волю — на реку и в лес,
Где падает, внезапно и отвесно,
Таинственная музыка с небес.

Как будто вправду соткана из пуха,
А в глубине — сияние и свет,
Она звучит, едва касаясь слуха,
Когда темно, когда надежды нет.

И вдруг душа становится покорней,
А жизнь ясней и проще, чем была...
О, этот зов незримой выси горней:
Вначале хор, потом колокола!

Запоминай мелодию и пенье,
Как самое заветное, храни!
Настанет час и кончится терпенье,
Но вновь и вновь тебя спасут они.

Олег Клишин

* * *

Слепая моль из холода, из тьмы
колотится в оконное стекло.
Не достучится. Время истекло.
Она умрёт до снега, до зимы.

На час, на два, но вряд ли до утра
ей силы воли хватит быть живой.
В последний миг зарыться б с головой
в душистый ворс настенного ковра.

Сливаясь с волокнистой тишиной,
перелететь, переползти в комод...
Безмолвием блаженным полон рот,
пуховой шалью, кофтой шерстяной...

* * *

Трудяге-дворнику с фанерною лопатой
(тем более, что он — это она)
сочувствуешь: какие снегопады! —
роящаяся тихая стена
надвинулась, накрыла целый город.

От близоруких полчищ белых пчёл
не скрыться. Норовящие за ворот
нырнуть — туда, где слишком горячо
для их существования. Исчезнув,
не уменьшают общего числа
бессмысленно кружащихся над бездной,
слетающих с лебяжьего крыла...

Как будто ледяной помпейский пепел
бесшумной бурей движется в душе,
летит в лицо, прижизненную лепит
сырую маску из папье-маше.

* * *

За несколько часов до Рождества
немного светлой грусти и слова
сочувствия, сусальные псалмы,
сиянье свеч внутри крошечной тьмы.

В шитье роскошном патриарших риз
не обнаружить белых нитей из
пелёнок, плащаницы. По делам,
как сказано, отмщенье аз воздам.

Шаг в сторону. В соломенном углу
устало притулился на полу —
се человек, который вне игры.
В мешке дырявом все его дары.

Морозный луч мерцающей звезды
запутался в лохмотьях бороды.
Не из волхвов и явно не пастух.
Пусть он спит. О нём не надо вслух.

* * *

Тёмно-зелёный из ельника плотный венок —
 невыносимая траура тяжесть в руке.
 Разве родным объяснишь про отпущенный срок?
 Как же такое?... Внутри на каком волоске

всё ещё держится? Как не исчез вообще
 весь этот мир: это солнце и люди, и лес?
 Кроткая божья коровка на цепком плюще,
 ласточки в небе... Зачем не бывает чудес?

Яркие розы и чёрные ленты, венки,
 словно щиты, вкруговую один к одному.
 Памятных слов серебро, лепестки, лепестки...
 Краски живые в глаза до сих пор почему?

Парни с лопатами делают дело, спеша.
 Желтая жирная, вязкая глина. В неё
 разве уйдёт всё, что было тобой? Ах, душа! —
 ласточка, божья коровка... Неужто враньё?

Из ниоткуда на свет, с теневой стороны
 перепорхнула на солнечный тёплый гранит
 бабочка, гостя, посланница вечной весны,
 вроде капустницы самой обычной на вид.

ОДНАЖДЫ ГЛЯДЯ В ОКНО

...подумать о летящей паутине,
 о тонком блеске серебра, о том,
 что все когда-то этот мир покинем.

Лети, лети в сиянье золотом
 лучей прощальных...

Наше время длится,
 пока друг к другу тянутся слова,
 пока не перевернута страница
 последняя...

Пока любовь жива.

* * *

Мы глубину придумываем сами —
 в осенних лужах, в небе, в зеркалах,
 в расширенных бессонными часами
 внезапно близких пристальных зрачках.
 Так смотрит ангел в самые потёмки
 души. Мерцают звёзды, ночь тиха...

Из глубины пульсирующий тонкий
 луч узнавания колыбель стиха
 качнёт. Лишь свет и музыка по сути
 нам остаются от былых щедрот,
 в неумолимо тающей минуте,
 вблизи летейских пограничных вод.

ANNO DOMINI

Выдохов хватит двух.
 Лысый, как новобранец,
 стебель в руках. И пух
 в небо взмывает. Танец

бабочек. Лепесток
 летнего дня Господня.
 Яркий вчера цветок —
 легкий дымок сегодня.

Выйти на свет дано
 где-то посередине
 жизни. Цикад зерно
 сеять по луговине.

Ну не сердись, пчела!
 Всем нам счастливый случай
 выпал. Настой тепла,
 медленный всхлип уключин.

Вневременной поток:
озеро, ветер, птица.
Перистый завиток
на голубой странице.

* * *

Охотник — любитель природы.
Припомним: Тургенев, Толстой.
А сколько пернатых в те годы
слеталось на летний постой
в родные края!
«Слышь-ка, барин,
держи по-за лесом левей».
Калиныч сегодня в ударе.
На низкий полет дупелей
выводит. А ну, брат Тургенев,
исполни коронный дуплет.
Когда-то узнаем, что гений
из Ясной Поляны сосед.
Когда-то поймем: смысл высокий
за долгую жизнь не постичь.
В прибрежную чашу осоки
стремительно падает дичь.

Анатолий Кобенков

* * *

Вспыхнет гора и во степь развернется,
охнет вода и свернется в траву...
клепочки ставенок, скрепки колодцев —
не покупается, не продается
эта цепочка из этих ау;

фея алтайская кличет в палатку,
фея славянская тянет в райпо,
идол языческий бьет под лопатку,
ангел евангельский метит в ребро;

взор Иисуса, занозы Каифы,
клинопись Ману и выкрик зека:
«Русским — Россию» —
так скины и скифы
кычут и кличутся через века...

Ветер приходит и ветер уходит,
жизнь повторяет себя через смерть
и воскресенье,
и Юра с Володей
тянут чрез степь Заведееву сеть —

рыба ли плачет в ней, сердце ли бьется,
гаснет ли Русь, аль алеет восток?..
Сеть разрывается — степь остается:
камешек, колышек да колосок;

воздух гремучий да воздух горячий,
 чу чабреца да пичужье «чив-чив»...
 Господи, Боже, зачем же я плачу,
 страшную радость, как малую сдачу
 с прожитых дней от Тебя получив?..

* * *

Пес умирает, а в мире светло.
 Друг угасает, а в мире светло.
 Сердце чернеет,
 а в мире светло;
 горя по горло, беды намело
 выше окошка,
 а миру — светло...

Тем и утешимся, смерти назло:
 с близкими — страшно,
 с миром — светло...

* * *

Новые поэты, новые писатели, новые критики:
 трамвайные билеты, бабкины скатерти,
 сержантские кители, —

в памяти черной глухонемые пасынки бреда:
 отрок крученных, отрок олимпов, юноша гнедов...

Что я без этих — при папироске — в келье сержантской,
 отрок в берете, в школе заморской — биробиджанской?

Что я им, падший — на маяковке, в облаке пыли
 слово сыскавший древней поковки боли и были?

Жизнь отцветает, смерть расцветает — всё они рядом:
 перышком шепчут, бантиком плещут, пшикают ядом...

* * *

Жизни так мало, что кажется — много,
и поневоле, замкнув уста,
вспомнишь: молчание нам от Бога,
вспыхнешь: свечение — от Христа;

что же касается нашего слуха:
шелеста трав, шелестенья крыл,
это уже от Святого Духа —
душу не тронул, а слух раскрыл...

* * *

А еще — за туманами голубыми,
из которых складывалась ерунда,
у меня был город —
такой, какими
не бывают глупые города.

Он для мамы моей открывал аптеку,
он для папы пиво варил, как мог,
всех приличных мальчиков в библиотеку
приглашая,
а девочек — на каток.

А еще — чтоб не только скучать над книжкой,
чтоб не слишком страдать от сердечных ран,
он держался реченьки,
а под мышкой
он держал пивнушку и ресторан.

Ресторан был маленьким — меньше лужи,
а пивнушка вроде как не была...
Иногда я бывал ресторану нужен,
иногда пивнушка меня звала.

И, послушен зовам их и призывам,
как послушен бывает словам поэт,
я был счастлив мнить себя несчастливым
без единой девушки много лет.

Это я потом их встречал и трогал —
на руках, как маленьких, их качал...
Оказалось, что в жизни их очень много—
даже умный город их не вмещал...

* * *

Вот я и дожил — выпало мешать,
не допускать, наставничать и злиться...
Пока не ласточка — могла бы не летать,
пока не облако — могла бы не кружиться...
Играй на скрипочке — прижми ее щекой,
смахни смычком, что от меня осталось,
пока смычок и скрипочка — щепой,
я — тишиной, а ты — рекой не стали...

Не верь стиху, не прячься от цветка,
не бойся боли — бойся повторений,
и потому не слушай старика
с букетом из сухих нравоучений...

* * *

Станции, поселки, города,
я еще люблю вас иногда.

Мужичок, который с ноготок,
пяточок, который из-под липы
выглянет, и вот уж городок
запропал — ни закусить, ни выпить.

Свешусь с полки — спутаюсь с рекой,
 прыгну с полки — спутаюсь с другою,
 поле овсяное под щекой,
 поле аржаное под рукою...

Промеж тучек — вёдра «журавлей»,
 на заборах — вёдра под посолы...
 Станция: по рюмочке налей,
 наливай по краешек: поселок.

Грудь раскрою — прыгайте сюда,
 улицы, поселки, города.

Жить бы так, как этот, чтобы — с той,
 думать так, как эта, чтоб — как эти:
 с огурцами — в драповом пальто,
 скараулив поезд на рассвете,
 торговаться, выручку считать,
 жмуриться, томиться недостатчей,
 жулить Приму и передыхать —
 по макушку в радости собачьей.

* * *

Звезда мерцает и птица спит —
 мог бы уснуть и дом,
 но мы купили веселый спирт,
 который, как воду, пьем:

подносишь спичку к нему — горит,
 а в глотку забьешь — содом.

И кажется, вот они, друг и звук,
 и верится — в каждый вздох
 влагают персты свои хлеб и лук,
 святители выпивох, —

и — «ах», говорит нам луковый луг,
а поле ржаное — «ох».

Потом мы спим и, покуда спим,
как повелел Господь,
то курева дых, то отчества дым
сливаются в нашу плоть...

* * *

...случайное замыканье
смыкающих даль зарниц,
печальное заиканье
рассохшихся половиц;

очнешься, пройдешь чрез сени
и сгинешь во тьме веков
на доньшках сочинений
бесчисленных мотыльков;

очнешься, пройдешь меж грядок,
ключицею угадав,
каков на земле порядок
у Господа в мире трав;

очнешься, глаза поднимешь —
уверишься: Волопас
и Веспер, и иже ними —
для Господа и для нас:

надышанное соседство
в немолкнущей пре менад,
отлаженный подле сердца
тургеневский променад,

гремит меж подойных ведер,
взывая «кому повем
печаль свою?» голубь Федор,
не ведая прочих тем,

и задницей ли, плечом ли
выкатывает на риск,
как пушку — твою печенку
толстовский артиллерист, —

и коли ты стерпишь это,
столетняя тишина
кивнет тебе гласом Фета
и шепотом Шеншина...

* * *

Ветер, с ветлою играющий,
солнечный зайчик в руке,
город, светло умирающий
в выпотрошенном городке...

Ласточка тьму занавесила,
туча накрыла окно...
Холодно, голодно, весело,
зло, неприютно, темно;

родина, песнь, Простоквашино —
глупому сердцу вдоггон
сохнет рубаха папашина,
матушкин гаснет кулон;

братова кепочка — чудится —
пуговкой метит в висок...
Родина, росстань, распутица,
радости на волосок...

Чудится, верится, блазнится —
Лермонтов как завещал,
лонюшко девятиклассницы
ангел вчера посещал...

— Кыш, — наступала учительша.
 Ангел молил: — Допусти...
 Родина — бублик от Китежа
 с маковой дыркой в персти...

Смерть запеваает в скворешенке:
 смесью из мглы и чернил
 лонище библиотекарши
 блоковский том опалил —

после проквашенной осени —
 личиком бледным света,
 явится радость Иосифу —
 прятать в пещерке дитя...

* * *

Ветошь осени, вешние воды,
 отстрелявшийся в лоск гарнизон
 и тяжелый, ямщицкой породы,
 истерзавший меня горизонт.
 Чем он стешит меня, что посчешет —
 истругавши, на что изведет
 две березы, четыре скворешни
 и четырнадцать петель ворот?

Дай мне лапу, крыльцо золотое,
 завитое в такие сучки,
 что вся улица, в пьяни и зное,
 пред тобою встает на носки —
 расцелуемся, спутаем лапы,
 задохнемся, вбивая в поддых
 нашу жизнь — домовых косолапых,
 дамских ямок и ям долговых.

Дай мне губы, студеная влага,
набежавшая из черепков
телефона, чеплашек оврага
и сосудов соседских портков —
расцелуемся, спутаем губы,
задохнемся, в председья вогнав
барабаны, литавры и трубы
державеющих в песне дубрав...

Стану прахом — и прахом расслышу
перестак, перестык, перестук
черных птиц с черепичною крышей
в чресполосице наших разлук —
разлечусь, рассупонюсь, засыплю
продавщиц, самогоном прольюсь
в мужичонку, за пьяные сопли
молодого повесы вцеплюсь.

Проведу с тишиной заседанье,
замахнусь на нее кочергой
за скитанья мои... — до свиданья,
до свидания в жизни другой,
где лишь ты да твой шепот горячий,
и куда ни пойду за тобой —
серебристая ласточка плачет
над сестрицей своей голубой...

Анатолий Корчинский

* * *

I

Как весною окурки превращаются в бабочек
И становятся вещи слышней.
Долго тянутся дни — хоть и с помощью лампочек
И не в каждом окне.

Вот твои, например, — кинолента короткая, —
Три окна на втором этаже.
Этот свет голубой, эти тени нечёткие.
Это то, что ужй.

Дай, бог памяти, ты мне припомнить бесплатные
И беспомощные времена,
Когда всяк награждался за подвиги ратные
Титулом пацана.

Место первой любви и разборок с ублюдками,
Этот вечный карьер — метрострой.
Этот холод хрустальный и сердце нечуткое —
Анекдот с бородой.

И всё, кажется, только теперь совершается,
Но уже не пытается быть.
А на небе другие облака собираются —
Тоже в прошлое плыть.

II

Настанет прошлое, и вещи, как живые,
Сойдут за фотографии свои.
Крылатые слетятся понятия,
Разверзнув атмосферные слои.

И вот: мне десять, я лежу с ангиной,
Четырнадцать — и я уже курю,
Шестнадцать — и с какой-нибудь Мариной
Встречаю позапрошлую зарю.

(Неправда: не с «какой-нибудь», я знаю.
Я помню всё, как сумасшедший Пруст:
И номера пропущенных трамваев,
И буйство глаз, и половодье чувств).

Потом — детсад на берегах Амура,
Сончас и в одуванчиках постель,
И нянечка, глухая тётя Шура,
Беззвучно разбивающая гжель.

А вот — зима: постройка лабиринта
В снегу, обвал и — ослепительная смерть,
Когда б не сила древнего инстинкта
И выше разверзающая твердь.

А осенью — по-новой: переключка,
Онегин и Печорин на доске,
И зря так верещит математичка,
И — бездна за спиною (в рюкзаке).

До тошноты приятно, как когда-то,
С таинственным румянцем на челе
Лететь на карусели циферблата —
На ветхом спиритическом столе!

Над головами тех, кто был тобою,
А не собой — до самого конца.
И чувствуешь, что с этой голытьбою
Ты не один под маскою лица.

Внизу твой город, где не помнят крали,
Мечтавшей выйти за снеговика.
Тебя сюда за смертью посылали.
Но не дождались. Кажется. Пока.

* * *

В. Т.

Скоро кончится год и начнётся другой.
Снова будет тепло.
Снова будет светать над тобой, надо мной.
Но что было — прошло.

Снова души затеют лихой перелёт:
Сколько звёзд — столько душ.
И кофейная гуцца опять не соврёт —
Знай, натягивай гуж!

И бельмом не устанет слепая луна
За окошком сиять.
Нам же ныне (и присно) забота одна:
Дни да ночи считать.

Ибо нет ничего, как писал Парменид, —
Всё житьё да бытьё.
И душа-то уже ни о чём не болит.
Видно, нет и её.

Сайлыкмаа Комбу

* * *

О, жизнь моя по имени Зима,
зачем так рано сердце мне сковала?
Виновна ли, грешна ли я, сама
не знаю, так продрогла и устала,

Так бесприютна в толчее людской —
о, жизнь, ответь мне, чем ты краше смерти,
когда с такою смертною тоской
холодный ветер крут за кругом чертит?

Зима-зима-зима, метель метет,
молва сплетает мне венок из сплетен,
цветочек вешний не проклонет лед...

О, жизнь моя, могу ли я о лете
поплакать при огарочке свечи,
которая в ночи со мною плачет?
Не пой мне, вьюга, песен — замолчи
сполна уж самый тяжкий грех оплачен,

мой дар но грех ли это пред тобой?

Ответь, о жизнь, не потому ль я стражду,
что сделала поэзию судьбой —
неутолимой, вечной, горькой жаждой?

* * *

Река могучей молодости стихла
Течений бурных бег сошел на нет.
Задумавшись, смотрела я вослед
годам былым, как будто бы возникла
из пепла жизни молодость моя.
К порогам, перекатам, водопадам
я шла и обводила жадным взглядом
заблудших волн искристые края,
и в зеркале речном, в игре лучей
лицо мое мгновенно молодедело,
жила беспечно, плакать не умела,
не знала вовсе горестных ночей.
Умчались волны, словно скакуны.
Мечта, набрав бутон, не распустилась.
Так пой же, пой, хоть счастья не случилось,—
печали нам и радости даны.

* * *

Вот и все. Дни уходят один за другим.
Душу мне осыпают осенние листья.
Лишь один зеленеющий неопалим,
и не властна над ним поступь осени лисья.

Я ищу в этой жизни дорогу добра,
но, шатаясь, бреду ненадежной тропой,
ни привала мне нет, ни моста, ни костра,
лист зеленый, вседневно иду — за тобою.

У меня на пути перевалы-хребты,
и ни спутника нет, ни весла рулевого,
мне бы посуху, посоха нет, вот и ты,
горных речек скакун, не одаришь подковой.

Неужели же камень холодный в груди
в омут темный потянет, покою во благо.
Лист зеленый, он так далеко впереди,
а под мерзлой землей сладко спится, бродяга.

* * *

Не выдержала нитка паутины
двух душ пролетных тонкий узелок.
Любимый мой, мы несоединимы —
лишь миг, на перекрестке двух дорог.

Мы были вместе и распались руки,
своя не тянет ноша, говорят,
но общий неподъемный груз разлуки
всех в мире бед тяжеле и утрат,
а сердце глохнет под сухой кольчугой
и жадно лижет снег волчица-вьюга
и угасает слабый уголек меж нами,
как меж двух разъятых строк.

Разбитых слов, разъединенных бус.
Пустых снегов солоноватый вкус.
Не дань любви, но суетный оброк
на нищету двух странников обрек.

Не выдержала нитка паутины
двух душ пролетных тонкий узелок.
Суши два русла,
две судьбы пустынный
и одинокий путь далек-далек.

КОЛЬЦО

Кольцо потеряла
Вчера на смотринах
подарено было кольцо,
потеряла,
вчера проверяла его, поправляла,
сегодня горит и сгорает лицо.
Сновиденье, обман.
Где только его не искала,
кольцо свое и, отвлекая печаль,
в глубокие шумные воды ныряла.
Кольца мне отчаянно жаль,
и жизни осталось так мало.
Снега разверзаются пропастью,
слезы морями разлиты,
а доля моя сиротливо
бредет по бездонным сугробам...
Кольцо потеряла.

первод с тувинского С.Михайлова

Василий Костромин

* * *

Воробьи и синицы,
Голуби и вороны...
Как мало надо для птицы
И много — для обороны.

Кровь отворяет пуля,
Мир покоряет воля.
Забывтого Ливерпуля
Для остальных нет боле.

Вдаль по дорожке медной
Бежит паучок напрасно:
Прошлое — неизменно,
Будущее — опасно.

* * *

Придорожное золото.
Эх, береза-слеза.
За ночь брюхо распорото
И навывкат глаза.

Где вы, дни мои ветхие
И печаль на века?
Недопиленной веткою
Мчится к небу Ока.

Говорю о молчании,
Если можешь — забудь:
К монологу в отчаянье
Слишком короток путь.

* * *

Обычная цена: и зрячий, и слепой
Нащупывают дно в невиданном просторе.
Какая тишина отпущена судьбой —
Земным веретенем — узнает каждый
вскоре.
У мертвых и живых в откованном ноже,
В молитвах колесу — не достигаешь
истин.
От капель дождевых светлее на душе,
И ветрено в лесу не облетевшим листьям.

* * *

Доведут меня до скандала,
До пещерного коридора
Драгоценная кладь сандала,
Память моря внутри мотора.

Каждый раз на крыльце высоком
По ночам я гляжу на звезды,
А бутыль с березовым соком
Отражает драконьи гнезда.

Хорошо примерять обновы,
 Хорошо быть большим и мудрым,
 Хорошо бы снова и снова
 Вслед за вечером встретить утро.

А пока снеговых немного
 Низких туч над гранитной мелью
 Обрывается вдруг дорога
 Между лиственницей и елью.

Никому неведомый — знаю,
 Скоро станут колодой карты.
 Спит изнанка земли лесная
 Под лучами лунной кокарды.

* * *

Сторона, моя сторона,
 Необъятны из окна:
 Неба синего воронка,
 Звездных зубьев борона.

Выйдешь утром — бездна рядом.
 Жизнь, как водится, не та:
 На излете, за снарядом,
 Только смерти маета.

* * *

Высокие деревья —
 На радость дураку
 Ударит осень дверью
 По млечному курку.

Земля и небо рядом.
 И этим далям в лад
 Я забывал ограды,
 Которым был не рад.

Огонь бывает резок.
И, на стекло дыша,
Грохочет, как железо,
Над пропастью душа.

* * *

Не будет обнимать
пылающая ива
стеклянное вино
на скатерти лесной,
пока внизу гонцы
идут неторопливо,
и колокол лежит
на отмели речной.

* * *

В зеленоватой глубине руки
рассеянная ящерица дышит,
но этот мир движения не слышит,
и известью становятся стихи.

Я не владею мёртвым языком,
сознанием живым не обладаю,
я по таблицам глиняным шагаю
и разгибаю пальцы над замком.

Безумная действительность моя,
до горизонта — световые годы,
гигантские ночные огороды,
пустынные, как комнаты, моря

Евгений Курдаков

ЧУДЬ

«Чудь белоглазая в землю ушла...»

(алтайское поверье)

Предчувствие прошлого неощутимо,
Но вдруг как пронзит сквозняком ледяным
В туманных долинах Калбы и Нарыма
Озноб растворенья и времени дым.

Здесь каждая падь кропотливо изрыта,
Здесь древние штольни, петляя, бредут
По оловоносным прорывам гранита,
По медным следам зеленеющих руд.

Здесь некогда Чудь ворожила, кружила
Развалами копей, кругами камней,
Здесь каждая россыпь и рудная жила
Нашупана Чудью и ведома ей.

Нет взгорка, что б не был в почине, в заводе,
Нет имени, что б не озвучила Чудь:
Алтай, Светлояр, Златогор, Беловодье, —
Андроновской бронзы начало и путь.

Умолкли легенды, забылись преданья,
Последний свидетель, ты тоже молчишь,

Текущий от Яра по древней Яркани
Яр-теч белоярый, великий Иртыш.

На этих берегах полудиких, на стыке
Страны оловянной и медной страны
Дымились плавильни, и грозные лики
Богов огневых были мрачно темны.

Здесь некогда время варило, месило
Ту дымную правду в огне и золе,
Что бронза — не боронь, не бранная сила,
Когда её больше, чем надо земле. —

Когда под камланье кобзы и варгана,
Почуяв порыв окаянной орды,
Трёхсолнечный оттиск на бубне шамана
Послал её в бездны судьбы и беды. —

Когда из глухого чудского горнила
Сородичей вывел к заветной стране
Всё тот же Атей ли, Атис ли, Атилла, —
Извечный отец на победном коне...

Погасли костры у родного порога,
Чтоб где-то иной темноте присягнуть,
И в прахе и тлене исчезла дорога,
Андроновской бронзы загадочный путь...

.....

Давно опустели чудские разносы,
Где в тысячелетних размывах дождей
Сочились лазури, текли купоросы,
И медь осаждалась на грудах камней.

И только порой из-под шахтных подпорок,
Обрушенных некогда тяжестью гор,
В кремнистой пыли подберёт археолог
Чудской боевой ладьевидный топор,

Он древен, тяжёл, он спокойно бесстрастен,
Но странно знакомо глядит из веков
Суровый орнамент меандров и свастик
Со стенок чудских погребальных горшков.

Исчезло без имени древнее племя,
В чьей нынче крови ты и в чьём языке?
Зачем то и дело смещается время
И мнится родное в твоём далеке?

Зачем, отчего отпечатки узоров
На этих корчагах в курганной пыли
Похожи на вышивки русских подзоров
Со знаками Солнца, Воды и Земли?

Зачем, отчего так тревожат названья
Курчума, Нарыма, Калбы и Сибин,
Как полупонятное напоминанье,
Завет и преданье далёких глубин?

Как будто мы сами по свету блуждали,
Плутали, кружили в кругу вековом,
И снова к себе возвратились из дали,
И дом свой забытый едва узнаём,

Где, как за беспамятство, эхом расплаты
Доносится в звуках Ульбы и Убы
Забытое Альба-Алабырь-Алатырь,
Как сон Беловодья, как память судьбы, —

Где всё, как и прежде, сияют туманно
Алтай, Синегорье, Ярканы, Шамбала,
Где русая Чудь непонятно и странно
Своё отчудила и в землю ушла.

...Эта знаковость, как символ какого-то древнего зова к стране обетованной, завораживала и манила к себе людей различных культур, языков и вероисповеданий, существуя словно бы в глубинном подсознании этих людей, порою бросавших всё и устремлявшихся, как перелётные птицы, в эти края. Это и русские крестьяне, которые в поисках сказочного Беловодья уходили из России и оседали в скрытых горных долинах (бухтарминские старообрядцы-каменщики), это и казахи, искавшие древнюю сказочную прародину Жер-уюк, это и встречный поток из Тибета людей, ищущих мифическую Шамбалу, это и странное тяготение к Алтаю буддийцев, постоянно воздвигавших здесь свои храмы и кумирни, это и легенды о божественной стране Тарбагатай (поэму о ней написал Н. Некрасов), где подразумевался всё тот же Алтай, это и древнейшая привязанность китайских мифов к этим местам, запечатленная священным сводом Шань-хай-цзы.

*Из книги «Ак-Баур. Тайны и открытия»,
Усть-Каменогорск, 2008 г.*

КАРА-БУРАН

* * *

С утра, с потемневшего запада, сзади
 Подуло легко, но уже через час
 Вокруг заплясали холодные пряди
 Бурана, и день, не начавшись, погас.

Котлом забурлила и вспенилась Гоби,
 И старый вожатый, привстав в стремянах,
 С тоской оглядел караван свой убогий,
 Едва различимый в белёсых песках.

Тяжёлая пыль забивалась в овчины
Тулупов, и снег ускорял свой разбег, —
И нужно залечь бы, но были причины
Идти, невзирая на гибельный снег.

То были причины особого склада.
Но позже об этом... Во мраке густом
Верблюды сбивались в ревущее стадо
И кони ревушим брели табуном.

От ветра искрились вьюки, истекая
Тревожным свеченьем в исчерченной мгле,
И думалось, что уж ни ада, ни рая
Давно не осталось на этой земле.

Давно ничего не осталось на свете,
И смерть впереди уж не будет мертвей...
И женщины выли, и плакали дети
За спинами полуживых матерей.

И ветром, и снегом, и вьюгой продуты,
Уже отрешенно молчали, — как вдруг
Из вихря, как призраки, выплыли юрты
С буграми верблюдов, лежащих вокруг.

Развьюченный скот разбрёдался уныло,
А люди, неожиданным согреты теплом,
Едва ль понимали, что всё это было
Спасеньем, предвиденным их вожаком.

* * *

Над юртами буря свистала без края,
И с вечностью звук был в единое слит,
И чудилось — птиц беспроектная стая
Куда-то, как жизнь, бесконечно летит.

Очаг под котлами подкуривал чадом,
И, рыжий аргал в очаге вороша,
Угрюмый вожатый со старым номадом
За чаем беседу вели не спеша.

Они говорили на странном наречье,
На спутанной смеси чужих языков,
Которой всегда объяснятся при встрече
Скитальцы среднеазиатских песков.

Белели безглавые лики бурханов,
И старый номад, погружённый во тьму,
Смотрел на вожатого смутно и странно.
И вот что вожатый поведал ему:

* * *

— Хозяин, за три перехода отсюда,
От встречных случайно твой выведав путь,
Мы гнали своих истомлённых верблюдов,
Чтоб в чёрном тумане тебя не минуть.

Мы знаем, твой путь, как и наш, не из лёгких.
Но, может, кочуя на полночь, на хлад,
Пройдёшь мимо наших селений далеких,
Откуда мы вышли два года назад.

И там, на Алтае, в Ясаке и Камне,
Скажи соплеменникам нашим в горах,
Что мы ещё живы, что наших исканий
Ещё не коснулись ни ересь, ни страх.

Скажи, что наш путь ещё Богу угоден,
Что души ведёт указующий глас,
Что так и идём, на восход и на полдень,
И только лишь сорок осталось из нас.

Что всех хоронили по старым обрядам,
С молитвою праведной и со крестом,
Что жаль не дошедших... Что, может, уж рядом
Завещанный край тот, куда мы идём...

* * *

— Ом мани, — вздохнул сокрушённо хозяин,
И эхом ответила тьма: — Падме хум...
— Какая же цель ваших трудных исканий,
Дороги без края, пути наобум?

Буранная полночь тоской снеговой
Свистала, и бились струя о струю...
И старый вожатый, тряхнув бородою,
Продолжил нехитрую повесть свою:

* * *

— Мы ищем, хозяин, страну Беловодье.
По книгам, которые взяли с собой,
Страна эта там, далеко на восходе,
За черной пустыней, за горной грядой.

Там белые реки и светлые нивы,
Пшеница родится там сам-пятьдесят,
Там издавна вольные люди счастливы,
И в радости Господа благодарят.

Там птицы — несметно, не считано зверя,
Там в вечном цветении сказочный лес,
Там старая вера, там истинно верят,
И всем благодать ниспадает с небес...

* * *

По юрте скреблись вихри снега и пыли,
И звук заунывный просящ был и нищ,
И лики бурханов, казалось, ожили,
И скорбно смотрели из войлочных ниш.

* * *

— Нас гнали по свету сатрапы раскола,
И там, на Алтае, куда ты идёшь,
Ты встретишь и нивы, и пашни, и сёла,
Но всюду там зло, произвол и грабёж.

Мы русские люди. Терпенье и вера
Ведут нас, и нет нам возврата назад.
За путь бесконечный, за муки без меры
Нас ждёт в утешенье взыскующий град.

И там, когда вдруг загудят на подходе
Со звонниц невидимых колокола,
Откроется взорам страна Беловодье,
Куда эти годы нас вера вела...

* * *

Буран не кончался... Над дымом аргала
Огонь пробивался под днище котлов,
И красное пламя едва освещало
Склоненные головы двух стариков.

И каждый из них был согбен и терзаем
Тяжёлою ношей тревожащих дум...
— Ом мани, — вздохнул отрешенно хозяин,
И эхом ответила тьма: — Падме хум...

Гудели пустыни развёрстые недра,
И струи песка, уносимые прочь,
Летели сквозь мрак под ударами ветра...
И вот что номад рассказал в эту ночь:

* * *

— Мой гость, я прошёл со своим караваном
Насквозь и Амдо, и Цадам, и Тибет,
Я видел в пути своём разные страны,
Но там, на Востоке, страны твоей нет.

Мы племя тангутов с холодных нагорий,
Сыны опустелой и сирой земли.
Нас тоже в скитания выгнало горе,
И пастбища наши остались вдали.

Дунганский ахун с озверелой барантой,
Тибетский нойон да китайский амбань
Всё вымели вплоть до последних баранов, —
И всякому подать, и откуп, и дань.

Нищают кумирни и нет уж просвета,
Пустеют поля, вымирает народ...
И вера в расколе: два толка, два цвета, —
Цвет крови и солнца... И кто их поймёт!

Но если, о гость, ты пройдёшь через горы
И целым достигнешь высокой страны,
Скажи соплеменникам у Куку-Нора,
Что мы ещё живы и верой полны...

* * *

Пустыня смолкала. Во тьме непочатой
Слабел постепенно тоскующий вой...
— О Боже, — вздохнул сокрушенно вожатый,
И эхом ответила тьма: — Боже мой...

И сверху, казалось, не ветер, а время
 Стекало по мраку с шуршанием крыл...
 — Куда ж ты ведёшь свое гордое племя? —
 С волненьем вожатый номада спросил.

* * *

— По древним преданьям, в краю полуночи
 Средь моря главами светлейших вершин
 Вздывается остров, блажен, непорочен,
 То остров счастливых, святой Шамбалын.

Там белые реки и млеком, и мёдом
 Струятся меж пастбищ и сказочных скал.
 Любовь и свобода там правят народом,
 Там каждый нашёл то, что в жизни искал.

Там люди красивы, добры и безбедны,
 Как радостный праздник свершается труд.
 В высоких кумирнях творятся молебны
 Во славу единственного из Будд.

И в край тот, явясь из высокого Храма,
 По древним преданьям — чрез тысячу лет,
 Народ поведет за собой далай-лама,
 И путь тот осветит сияющий свет.

Но тысяча — это для смертного много...
 И, встав из своих разорённых долин,
 Мы вышли на Север неясной дорогой,
 Искать свой блаженный святой Шамбалын...

* * *

Беседа утасла... В костре поседели
 Последние угли... И в юрте к утру
 Вдруг стало не слышно безумной метели,
 Всю ночь продолжавшей глухую игру.

В рассветном тумане сквозь сон и усталость
Готовились люди вершить переход,
И в гулкой морозной тиши раздавались
Лишь крики погонщиков, вьючивших скот.

Они расставались, вожатый с номадом,
И каждый, храня и тепло, и печаль,
Прощался друг с другом напутственным взглядом,
Пред тем, как уйти в безвозвратную даль.

* * *

И если кто мог бы свободно птицей
Подняться в тот день над застылой землёй,
Внизу различил бы он две вереницы
Людей, уходящих невидной тропой.

Две тоненьких нити, готовых порваться,
Две вечных надежды, два всплеска огня,
Которым гореть, умирать и сбываться,
Храниться и тлеть —
До грядущего дня.

Юрий Магалиф

* * *

Когда поэту восемьдесят два,
На все он смотрит, будто бы, впервые —
И кажутся спрямленными кривые,
И молодой осенняя листва.

Все позабыто. Опыт зрелых лет
Без сожаленья выглядит напрасным.
И только долгим, бесконечно ясным
Нам видится младенческий рассвет.

Какая ж это странная пора! —
Ты полон сил и до всего есть дело...
Но время, как бы, малость ошалело:
В нем нету «завтра», не было «вчера».

Гудит, беснуется ушедший век,
Перекрутив в кровавой мясорубке
Победы, славу, храбрость и уступки,
Фантазии и прошлогодний снег...

Ты с этим веком сгинешь заодно
Его забудут... А тебя быть может,
На твою книжку кто-нибудь помножит
И выпьет, словно старое вино.

Вперед, поэт! Качай свои права —
Тебе всего лишь восемьдесят два.

БУКЕТ

Мне очень нравятся сухие травы —
 В кувшине старом на моем окне
 Они стоят просты и величавы.
 Не думая о будущей весне.

Они свое уже отзеленели,
 Росой стеклянной тихо отзвенели,
 На солнышко налюбовались властью
 Не грезили о счастье на чужбине
 И не в тщеславной выросли гордыне:
 На что смиренным слава или власть?

Наивный май, июньскую безбрежность
 Хранят в своих звенящих стебельках
 Сухие травы — хрупкие, как нежность,
 Сухие травы — легкие, как прах.

Шуршащие соломенные сны.
 Воспоминания весны.

август 99
Тогучин — Новосибирск

* * *

А если бы
 ты где-нибудь меня
 Ждала на том
 или на этом свете,
 То я,
 загнав надежду, как коня,
 Перемешав слова и междометья,
 Все мчался бы к тебе, к тебе одной —
 Забыв, что могут быть куда проворней
 Над маленькой твоею головой
 Сплетенные рябиновые корни
 Забыв, что снегопады и дожди
 Давно состав суглинка изменили...

И только прах клубится позади
Моих нечеловеческих усилий.

Всё позабуду на пути к тебе!
Судьба... Судьбы... Судьбою... О судьбе...

10 окт. — 6 дек. 98
Тогучин-Новосибирск

* * *

Говорят англичане:
«Что прошло — то прошло».
Почему ж меня манит
Взяться вновь за весло? —
За весло кормовое,
Что вело обласок
Вдоль зеленого строя
Камышей и осок:

Вдоль по речке тенистой
Под названьем Уень, —
В тот простой серебристый
Приснопамятный день,

Когда нам было мало
Рыбы, песен, стихов.
И с утра нехватало
Разных там пустяков,

Когда сердце не знало,
Что летит под откос,
Когда ты хохотала
До упаду, до слез!..

Как минувшее ранит —
Метко бьет под крыло!..
Господа англичане:
«Что прошло — не прошло!»

3 марта 99
Кардиодиспансер

ХУДОЖНИКУ

Не трогай старые свои полотна —
Не поправляй ни кистью, ни ножом:
Написанное некогда вольготно,
Прелестно в легкомыслии своем!

...Мальчишество, свирепые попойки
Сырой подвальчик, пыльный чердачок
Продавленные панцирные койки
И благодатной крепости «сучок»...

Молились на холсты, картоны, доски
Наперекор заманчивой судьбе,
Сжигались гениальные наброски,
Как доказательство самим себе!

Все были Суриковы! Все Ван-Гоги!
И жизнь была бессонной мастерской,
Где боги возникали на пороге,
Слегка взмахнув классической рукой.

Не говори, что ты забыл про это,
Не говори, что стал совсем ручным, —
Что все твои доходные сюжеты —
Прямой упрек безумствам молодым.

Пусть твое имя звучно и почетно,
Но, чтобы знать точнее что почем —
Не трогай старые свои полотна,
Не поправляй ни кистью, ни ножом...

*4 января 99
Тогучин*

Владимир Макаров

НАЧАЛО ЗИМЫ

Снег идёт,
Молодой, беспечальный.
Сквозь стекло, как с озёрного дна,
Смотрят с кухни своей коммунальной
Неподвижные муж и жена.

Отрешённо пространство пронзают,
Освещённые светом дневным.
А чего они знали и знают,
Не понять посторонним по ним.

Сын читает серьёзную книгу,
А родители, стоя вдвоём,
Понимают, что этому мигу
Не вернуться уже нипочём.

Пахнет в форточку новой зимою
Льётся зимний, застенчивый свет.
И на это пространство земное
Тех людей в этот миг ближе нет.

ТРАМВАЙНЫЙ ПОВОРОТ

Далёкий миг во мне живёт —
Печальный, мудрый:
Звенел трамвайный поворот,
Вставало утро.
Внизу над спящею рекой,
Заметный с горки
Дымок, по-зимнему сухой,
Струился горький.
В тот год зима была как сад,
Снежок лепился.
Вот здесь я много лет назад
С тобой простился.
Надёжно смыт разлики час
Разливом вешним.
Но свет твоих волшебных глаз
Остался прежним...
Прочеть бы книгу Бытия,
Но нужен навык.
В ней существуем ты и я,
Но в разных главах.
Да в разных ли? Откуда знать,
Ведь с неба, с неба
На нас сходила благодать
В кристаллах снега.
Ведь повторятся в свой черёд —
Печально, мудро —
Звонок трамвая, поворот,
Седое утро.
И там, где белые дымы
Уходят в небо,
Опять прильнём друг к другу мы
Под взглядом снега.
И нам прошепчет этот снег,
Как приголубит:
Есть что-то вечное во всех,
Во всех, кто любит.

ФИЛЕМОН И БАВКИДА

Вот идут по аллее
 В присутствии снега,
 Что как раз на Покров
 Снова выпал надолго,
 Муж с женою —
 Два немолодых человека,
 Два врача,
 Два продукта советского толка.
 Он ей снова
 Стихи на закате читает,
 Как когда-то читал
 На весеннем рассвете,
 А у ней на пальто
 Снег пушистый не тает
 И мерцают снежинки
 На чёрном берете.
 Нынче август для них
 Был рубиновой свадьбой,
 И родные — из выживших —
 К ним приходили.
 В эти смутные годы
 Им лучше не знать бы,
 Что оболган в стране
 Жанр семейных идиллий.

Рай и ад испытавши
 В быту полосатом,
 Надорвавши сердца,
 Измочаливши нервы,
 Жизнь протопавши рядышком
 В веке двадцатом,
 Осторожно шагнули они
 В двадцать первый.

Что их ждёт в нём?
 Какие знаменья и грозы?

Хватит старых запасов —
 Костюмов и платьев.
 Незадача одна:
 Говоря строгой прозой,
 Толерантности — жить, пресмыкаясь,
 Не хватит.

В мире слёз и улыбок,
 Стекла и металла,
 Где бессчётны дела,
 Где конечны дороги,
 Дай им, Бог,
 Чтоб она без него не страдала,
 Чтоб не мучился он без неё,
 Одинокий.

Дай им, Бог
 Если мрак их накроет волною,
 Пусть друг с дружкой уйдут
 Эти два человека,
 В одночасье простившись
 С юдолью земною —
 Филемон и Бавкида
 Новейшего века...

* * *

Когда из-за бетонных стен —
 Как наваждение, как сон —
 Среди мёртвых стереосистем
 Звучит живой аккордеон,—
 Вмиг ощущаешь жизнь живой
 И вспоминаешь, что живёшь —
 Как бы водою снеговой
 По марту городом идёшь...

Эдуард Мижит

МЕСТО, ГДЕ БОГ...

Говорят, что ты — колыбель народов,
но для меня ты —
моя колыбель,
и колыбельная песня мамы моей,
отзвук которой так ясно слышен
в смехе моей дочурки.

Говорят, что ты
проста, как загадка,
но для меня ты —
таинственный звук каргыраа,
звук, в котором Небо с Землей
ищут друг друга, тоскуя,
и встречаются здесь —
в душе человека.

Говорят, что ты
настолько древняя,
что не помнишь уже о прошлом,
но для меня ты —
сундук моих предков,
полный тревожных и сладких
запахов снов и мечтаний
о далеком прошлом
и будущем.

Говорят, что ты
порою жесткой бываешь,
но для меня ты —
суровая нежность
моих стихов,
ты — песня моя,
бесконечная песня, в которой
я сам всего лишь
совсем недолгая
тихая-тихая нотка.

Говорят, что ты
мягка и податлива, как масло,
но для меня ты —
многослойный и острый, как слово, меч,
который выкован моим
прадедом-кузнецом
и его стальным
несгибаемым духом.

Говорят, что ты
всего лишь географический центр
Азиатского материка,
но для меня ты —
центр Земли и Вселенной,
средоточие духа моего
древнего народа,
Тува моя, ты — то самое место,
место, где Бог
находит и видит меня
насквозь.

ВЕСНА — СНОВА — ЗДЕСЬ

Вот и снова
пестрой коровой
пасется весна на земле,
щеголяя проталинами на боках,

и мычаньем своим
сзывает на спевку
весь мир.

Вот и снова
с раскидистых веток
вечного дерева жизни,
откликаюсь на зов,
очарованно пробую голос
теплееющих дней
грачи.

Вот и снова,
шатаюсь на тоненьких ножках,
удивленно и ломко,
словно крошащийся снежный наст,
блеет, приветствуя
свою первую в жизни весну,
новой жизни ягненок.

Вот и снова
впервые без шапки и шубки
вылез из юрты
голопузый малыш
с любопытно глядящим пупком
и, щурясь от солнца,
смеется заливистым смехом,
словно играет
колокольчиком, спрятанным в горле —
ведь ему же щекотно
от ласки лохматой собаки,
лижущей щечки ребенка
влажным и теплым
языком весны.

Вот и снова
серебряным звоном
в унисон его звонкому смеху

отзываются с гор
струйки талой воды,
и льдинки на речках
резво, как жеребята,
друг о дружку стучаясь, мчатся
навстречу весне
и дурашливый ритм,
совпадающий с топотом тонких копыт,
выбивают они по пути.

Вот и снова,
в который уж раз,
я чувствую всем существом,
что любое мгновенье на этой земле
является нотой,
без которой бессмысленна
и дисгармонична
бесконечная песня
веков,
и только лишь надо
склониться пред нею с почтеньем,
войти в ее юрту,
попить с ней горячего чая
и вникнуть в ее простые слова,
чтобы она
открыла тебе свою душу
чистейшим и неповторимым
звучаньем.

Вот и снова
я проникаюсь
неразделимыми чувством и мыслью,
что весна здесь всегда,
что звучит она вечно
в сердцевине каждого дня
и мгновенья.

ПОПЫТКА ОТГАДКИ

Это место,
где собрана,
как в сжатом кулаке,
вся тишина Земли
в ожидании часа,
когда же кулак, наконец,
разожмется.

Это место,
где собрано,
как в сердце людском,
все приветствие мира
в ожидании часа,
когда же сердца, наконец,
откроются друг другу.

Это место.
где бушуют,
как в кипящем котле,
такие бурные стремнины
и страсти,
что человек, попадая сюда,
наконец, понимает
цену жизни,
цену любви и борьбы.

Это место,
где кружатся,
как в кольцах вечности,
самые вольные орлы
поднебесья
и поют своим клетотом
самую гордую песнь
о свободе.

Это место,
где спят,
как песчинки на дне океана,
все времена
от самой первой секунды творенья,
где человек,
с головой окунаясь в вечность,
чувствует себя
и великим и крохотным
одновременно.

Это место,
загадку которого
можно отгадывать вечно;
это место,
где мифы
рождаются, как облака,
и растут, как трава;
это место,
о котором
можно петь без конца
это место,
которое
можно видеть перед глазами,
но все же не видеть,
на земных языках
называют
Тувой.

ВРЕМЯ МОЕЙ ЗЕМЛИ

Здесь время несется во весь опор,
отбивая свой гулкий ритм
копытами вольных
необъезженных табунов,
но вдруг застывает,
подобно взгляду старого табунщика,

в чьих глазах, устремленных
в задумчивую даль,
сверкают, как звезды,
наконечники стрел,
летающих из глубины
веков и веков.

Здесь время кружится орлом
по спиральям эпох,
нанизывая на нить полета
жизни и смерти
людей и империй,
и хранится, свернутое в тугие клубки,
в потаенных пещерах,
как священные свитки и сутры,
как песня, которая зреет в груди,
чтобы вырваться птицей,
заточенной в клетке
пока.

Здесь время, единожды прыгнув
козорогом, выбитым на скале
рукой моего далекого предка,
влетает в каждый наш миг,
пронзая столетья
своим бесконечным прыжком,
а порою верблюдом,
горделиво стоящим в степи,
жует и жует
все легенды, сны и воспоминания
трав и ветров.

Здесь время клубится туманом,
как белые шапки древних вершин,
и бурлящим потоком горных речушек,
легко и звонко смеясь,
катится, словно скачет
по каменистому руслу событий

с камня на камень,
с камня на камень...

Здесь у времени долгое эхо,
как у зова в горах,
как у звука шаманского бубна
в мирах и мирах,
как у Слова в сердцах,
и так трудно порой понять,
какой же эпохи эхо
вплетается в грохот нашей.

Здесь время, уставшее
от скучной ежесекундной повинности
идти и идти
только прямо
в одном направлении,
безоглядно играет в прятки
с самим же собой,
совсем как ребенок,
забывший о времени.

Здесь Небо само
благословило это пространство
и позволило жить
во всех временах одновременно,
и назвало Тувой
это священное место,
эту землю, где посчастливилось мне
родиться и жить,
свободно купаясь
в слоистых потоках времен,
как в вечных водах родного Улуг-Хема,
и не помнить совсем,
когда же я
родился.

Лариса Миллер

Январь 2011

* * *

Жемчужный снег, хрустальный воздух, птичка
В лесной кормушке. «Рай», — гласит табличка.
Перевернешь табличку — слово «ад»
Прочтешь, застыв у тех же самых врат.
Да-да, все так: жемчужный и хрустальный,
Но и сиротство, и исход летальный.

* * *

Как хорошо в летящем этом доме!
Он так летит сквозь время и простор,
Что кажется: оседлость — это вздор,
И много чем мы обладаем, кроме
Оседлости. Да и зачем она,
Когда и счастье и беда — без дна.

* * *

Пока не придумал Создатель, чем кончить все это,
Мы будем блуждать в темноте или слепнуть от света,
По струнке ходить иль с пути то и дело сбиваться,
Года торопить, чтобы после по ним убиваться,
Хвалиться обновкой иль думать о перелицовке,
Покуда Творец не найдет подходящей концовки.

* * *

Я немного посплю. Ну а вы мне местечко держите.
На него хоть газету, хоть зонт, хоть ладонь положите.
Я люблю эту явь и хочу непременно вернуться.
Так держите мне место, чтоб было, куда мне приткнуться
После странного сна, сна, который и в силах и вправе
Сделать что-то свое из обрывков покинутой яви.

* * *

Так коротко, Господи, коротко, мало.
Но лучше уж так, чем тягуче и вяло,
Но лучше уж так, чем со скукой, с ленцой.
Ах, лучше уж бабочкой с нежной пыльцой
В веселом наряде с тончайшим узором
Мелькнуть перед чьим-нибудь радостным взором.

* * *

В тени от белого крыла
Живу. Мой ангел, мой хранитель,
Ты цвета белого любитель.
И даже тень твоя бела.

Какие б ни мелькали дни,
Прошу не света избытка,
А чтобы ты, расправив крылья,
Держал меня в своей тени.

* * *

И даже хоть я не обижена вовсе судьбой,
Я все же не чаю дожидаться команды: «Отбой!»
Услышать однажды: «Хорош. Хватит вкалывать. Баста».
Средь возгласов прочих, которые слышу так часто,
Услышать команду: «Отбой!» Чтоб не свет и не мрак,
Не рано, не поздно, не горько, не сладко — никак.

Станислав Минаков

ГОРОД

Ангел с черными крылами
Молча ходит по земле
Между тщетными телами,
Заплутавшими во зле.

Здесь, в селенье невеселом,
Веселясь, жильцы живут.
И по венам новоселов
Жажды жадные плывут.

Вянут в жилах старожил
Тени выпитых утех.
А глаза ничтожны, лживы
И у этих, и у тех.

Лишь одна золотая главка
В грешном граде — на века.
Как вселенская булавка
В мертвой плоти мотылька.

ЭЛЕГИЯ АВГУСТА

К осени человек понимает, что лад его обречен.
 Что дом его увядает, течет, как в песок вода.
 Помнишь игру такую — «холодно-горячо»?
 Вот они — машут, дышат белые холода.

Вместо дареной манны — марево, муть, туман.
 Но различит сквозь это верный грядущий лед
 Грустный и нервный мальчик, хваткою — графоман,
 Сущностью — созерцатель, умыслом — рифмоплет.

А стихотворцу, мальчику, лет уже шестьдесят,
 Хотя из метрики ясно, что тридцать пять.
 Патлы его седеющие торчат и висят,
 А он все старается, тщетный, что-то в судьбе менять.

А он все ныряет, рьяный, из лебеды в бурьян.
 Это — сиротство сердца или иной изъян?
 Он с женщиной ходит в церковь, и чья, кто скажет, вина,
 Что она — мать чужого ребенка и не его жена?

К осени человек понимает, как быстротечен смех,
 Как лаконично время, но жаловаться — кому?
 К осени человек понимает, может быть, паче всех,
 Что телегу тянуть с другими, а умирать — одному.

Настойка валерианы, а вслед — отварной бурак.
 Замыслы ирреальны, и потому — не унять.
 К осени проясняется, что пропись писал дурак:
 В каждой строке — ошибка, а почерку — что пенять?..

Впрочем, на осень это как еще посмотреть!
 Осень — веноч волшебный, жертвенный урожай.
 Осень — ведь тоже лето на четверть или на треть.
 В осень верхом на ворохе жаркой листвы въезжай!

ПЕСЕНКА ПРО ОСЛИКА*Д. Сухареву, И. Хвостовой*

Спасаемся или пасёмся?
 Доколе? Куда? И на кой?
 По сёлам несётся позёмка.
 А ослик — кивает башкой.

Рысистый зверина ушастый —
 Не мучил бы слабую плоть
 И в дебрях не рыскал, не шастал.
 Но если сподобит Господь...

Ослепший от снега ослище —
 Как вечный задумчивый жид —
 Он счастья, знамо, не ищет,
 Но всё ж не от счастья бежит.

Ведь ночь — неотступна. И дикой,
 Промозглой тревогой горит.
 ...Жена говорит: «Погоди-ка!»
 Но муж — «Поспешим», — говорит.

Скрываться... надеяться... деться...
 «Иосиф, стой!.. Он устал!» —
 И с крупа слезает. И хлебца
 Подносит к щекотным устам:

Нелепый, несуетный ослик
 Лепёшку пустую жуёт
 И слышит космический оклик,
 И тычется в бабий живот...

Бывает: откусишь печенья —
 От ближних щедрот, не по злу —
 И высшее предназначенье
 Откроется в карме ослу.

И в радость — родство иль юродство,
 И жисть — не сатрап, а сестра!

И хочется быть и бороться,
И уши — на стрёме с утра.

Мы — босы, но светом одеты
И шепчем, коль вьюга сечёт:
«О, пазуха Господа, где ты?
Ты есть, и страданья — не в счёт!»

И дадены Отчие хлебы,
И, значит, Малец — защищён.
В соломе, во Славе, во хлеве!
Во хлеве, а где же ещё?!

* * *

Катафалк не хочет — по дороге, где лежат
гвоздики на снегу.
...Рассказал профессор Ольдерогге —
то, что повторить я не смогу

про миры иные, золотые, — без придумок
и без заковык.
Пшикайте, патроны холостые! Что — миры?
Я к здешнему привык.

Катафалк, железная утроба, дверцей кожу
пальцев холодит.
А внутри его, бледна, у гроба моя мама бедная сидит.

Этот гроб красивый, красно-чёрный,
я с сестрицей Лилей выбирал.
В нём, упёрший в смерть висок точёный,
батя мой лежит — что адмирал.

Он торжествен, словно на параде,
будто службу нужную несёт.

Был он слеп, но нынче, Бога ради, прозревая,
видит всех и всё.

Я плечом толкаю железяку: не идёт,
не катит — не хочет.
Голова вмещает новость всяку, да не всяку —
сердце уместит.

Хорошо на Ячневском бугрище,
где берёзы с елями гудут!
Ищем — что? Зачем по свету рыщем?
Положи меня, сыночек, тут!

Через сорок лет и мне бы здесь лечь,
где лежит фамилия моя.
Буду тих — как Тихон Алексеич
с Александром Тихонычем — я.

А пока — гребу ногой по снегу,
и слеза летит на белый путь.
Подтолкнёшь и ты мою телегу —
только сын и сможет подтолкнуть.

* * *

Русский язык преткнётся, и наступит тотальный хутор.
И воцарится хам — в шароварах, с мобилой и ноутбуком.
Всучат ему гроссбух, священный, фатер его с гроссмуттер:
бошам иль бушам кланяйся, лишь не кацапам, сукам.

Русский язык пресечётся, а повыползет из трясин-болотин
отродье всяко, в злобе весёлой плясать, отребье.
Но нам ли искать подачек в глумливых рядах уродин!
Не привыкать-знать — сидеть на воде и хлебе.

Перешагни, пере- что хочешь, пере- лети эти дрянь
и мерзость,
ложью и ненавистью харкающее мычанье!
...Мы замолчим, ибо, когда гнилое хайло отверзлось,
«достойно есть» только одно — молчанье.

Что толку твердить «не верю», как водится в режиссуре!
...Мы уйдём — так кот, полосатый амба, почти без звука
от убийц двуногих уходит зарослями Уссури,
рыжую с чёрным шерсть сокрывая между стеблей
бамбука.

Водка «Тигровая» так же горька, как старка.
Ан не впервой, братишки, нам зависать над бездной.
Мы уйдем, как с острова Русский —
эскадра контр-адмирала Старка,
покидая Отчизну земную ради страны Небесной.

Станислав Михайлов

* * *

Осень. Старая яблоня станет цвести —
Глаз не спрятать и пыльных стихов не спасти.

Так, лишь веткой корявой коснулась стекла —
И сдалась двухтумбовая крепость стола.

Молодая старуха, гони их взашей —
Толстокорых писателей со стеллажей.

Бледно-розовый цвет, свежий ветер тугой,
Крест окна над окрестностью жизни другой.

Сладко яблоня стынет в рассветном дыму,
Белый яблонный свет на ладонь подыму

И пойду говорить всем подряд, как Басё.
Что не все идиоты, и в прошлом не всё...

А от яблони кругом пойдет голова,
А сквозь пальцы пустые проветься трава.

Бледной яблоней город табачный пропах
И набор типографский, рассыпанный в прах.

* * *

Ночь бредет по дорожкам холодных садов,
Задевая то стебель, то куст,
А на небе Созвездие Гипсовых Псов
И луна восковая без чувств.

Что-то, видно, сломалось и выпало из
Элегических снов наяву,
Слышишь, в полную силу ревет механизм,
От земли отдирая траву?

Точно рыба, мучительно вздернутым ртом
Ночь старалась меня остеречь
Каждой веткой колеблемой, стеблем, листом,
Каждым шорохом слышимым встреч.

Что и свет не возжжен, что и дождь не пролит,
И на сердце пустая тщета.
Лишь слова, что остались для горьких молитв,
Отворяют Господни Врата.

ДОМ В КАРАКАНЕ

1.

Мой дом в Каракане — лачуга, промокшая вдрызг,
В крапиве по самую крышу, с березой поодаль.
Приехал хозяин, тропу до крылечка прогрыз,
Сидит на ступеньке и слушает воду, и вдоволь

Не может наслушаться скрипа сосновой коры,
Окрестного паданья капель и плеска обского...
В такие погоды хорошие люди мокры,
И спрятан до времени нож старожила сухого.

2.

Собаки пришли, отряхнулись, уткнули носы
В калитку, калитка-калитка, — чего вам, бродяги? —
Черемухи или рябины? — докучные псы
Плетутся домой на просвет папиросной бумаги.

А в доме моем половицы на сто голосов
Поют про мышей, про морозы о прошлую зиму...
Про куриц подравшихся, их разнимающих псов...
А я, удивленный, и рта им в ответ не разину.

3.

Дождь трогает волосы, плачет и просится в дом,
Прими на постой, — да куда же тебя, караканец? —
Мы будем курить и напьемся до дрожи вдвоем —
Поэт-старослужащий и долгунок-новобранец,

Накормим голодную печь, чтоб костей избяных
Ушла ломота из домка твоего — до погоста...
В предутреннем облаке грамоток берестяных
Останется запах и... ватник полночного гостя.

4.

Мой дом в Каракане — мой терем, скворечник, ларек,
Любимый на все эти годы, больной и знакомый,
Что дождь напролет охранял от забот и тревог,
Что день без дождя тосковал горожанин бездомный.

Стой, мокрое пугало, стой, стой, лачуга, — стоять...
Еще я живой, я еще не напился из бочки.
А дождь говорит и не может никак перестать,
И звезды мерцают в жемчужной его оболочке.

* * *

На дне залива дремлет Тициан.

.....

Венеция? — Воды, официант!
Бокал подносит с ледяною рожей,
Как будто он и впрямь потомок дождей
И на паях содержит ресторан.

На дне залива дремлет Тициан,
Удрав из венецийских декораций
В гортанный бор, сосновый Каракан,
Где надобности нету притворяться
Вельможным старцем на виду у дур,
Их «силикон» в гипюре «от кутюр» —
Раскормленные долларами сиськи,
Мужья их, жирно пахнущие виски...
За мнимой позолотой сплошь обман,
Который ныне кличется гламуром...

Здесь голубей тю-тю, а местным курам,
Коровам, овцам как-то невдомек:
Кто подремать на дно залива лег?

Лишь местный участковый на «Урале»,
Узри он сей прискорбный эпизод,
Едва ли удержался б от морали:
«Опять утоп какой-то идиот!».

На дне залива дремлет Тициан...
Над ним вода и плащ зари вечерней,
И сосны в тихой нежности дочерней
Поют ему...
Вдали венециан,
Как дремлет, Вечелли печальный,
Что грезится в закатном забытьи?
Не разглядят поклонники твои:
Где ты живой, и кто в анналы сдан?

.....

На дне залива дремлет Тициан....

* * *

Среди цветов не стыдно умереть,
Не зная их латинских наречений,
В цитатнике на четверть... и на треть
Гербария сухих стихотворений.

Когда-то жизнь — бесстыдство, похоть, блажь,
Наивный блеф и женскую жестокость
В густой кровосмесительный коллаж
Закручивала листовенную лопасть.

Когда-то жажда выточенный глаз
Поила этой кровью безответной,
Превосходя топаз и хризопраз
Не цветом, но субтильностью бесцветной.

А ныне желтый жирный — белым взбит,
Лиловым перемешан с черной розой...
Каким тут Фетом будет неофит,
Когда его выташнивает прозой.

А все ж поэт — надменный анемон
Гарцует, словно мачо без рубашки,
Пред розою, которой ослеплен,
А та по сути дела проще кашки.

И виноград перголой вознесен
В прозрачную витую византию,
Где прачки так отмыли небосклон,
Что он уже зеленый, а не синий.

И снится сад в последней из долин,
Отрезанной от райского домена,
И никаких печалиться причин,
И к свету перемена.

* * *

Живу в избе абрашинской вторую
Декаду августову... как живу? —
Курю и буквы ножичком рисую
На утонувшем столике... траву

Руками раздвигаю, но все тише,
Все медленнее слез подводный лёт...
Кузнечик спит на отсыревшем Ницше
И скрипочку сиротскую сосет.

Трава к моим касаньям терпелива,
Что значу я, что мой сосед близнец.
Приносит рыбу шестирукий Шива,
Хороший и нетрезвый как отец.

А после... дождь — полуночный прохожий
Гремит веслом по крыше жестяной,
И я иду, как рыба бледнокожий,
На берег моря в обморок ночной...

И там, в крапиве римской засыпаю,
Роняю иве камень головы.
Я плаваю и к солнцу подлетаю,
И лепечу в объятиях травы.

Не все слова завернуты в бумагу —
В бурьяне спят и рыщут в конопле
Слова, которым император Август
Отрезал треть страницы на земле.

А после... участковый и лесничий,
Печник, электрик, землемер во тьме,
Привив к дичку мичуринский обычай,
Начислят пени августу и мне.

МОНО НО АВАРЭ*

Почему я вспомнил о Японии?
 Честно говоря, я сам не понял.
 Что Япония мне — хуже Польши,
 Анекдот какой-то есть, да только пошлый.
 Может, стал сентиментальный, старый
 Или всё чем жил — не жил и всё?
 Понедельник. Моно но аварэ
 И прогулка с Марковой-Басё.
 Ревновать меня не надо, Маша.
 Болен я? — Веди меня к врачу.
 Надо мною яшмовая чаша.
 Ты не бойся, Маша, я шучу.
 Облака прозрачны как цитаты,
 Сквозь меня струится лёгкий дым.
 Маша, слышишь тенькают цикады?
 Кто невидим, тот непобедим.
 Солнце как воздушный змей танцует
 На одном лишь только волоске...
 Маша, Маша, ты моя Мицуи.
 Нет, не надо водки, мне сакэ.
 Полон светлой праздности и лени,
 Я не помню ни добра, ни зла.
 Тихо гаснет на твоём колене
 Капелька закатного стекла.
 Маша, ты моя моноготари —
 Повесть, совершающая круг.
 Дай тебе сыграю на гитаре.
 Моно но аварэ — нету рук.
 Ах, они, проклятые японцы,
 Подменили корни невзначай.
 А у них ни хлеба нет, ни солнца —
 Только потаенная печаль.

* Моно но аварэ (ял.) — печальное, потаенное значение вещей и явлений.

Соотечественник, соплеменник,
 Видишь, гибнет русский человек.
 На исходе месяц понедельник,
 Вторник же затянется навек.
 Видишь, мы тебе ветвями машем,
 Или у тебя в глазах темно?
 Сакура и слива — я и Маша.
 Моно но аварэ... моно но-о-о-о...

* * *

Ну, здравствуй, ласточка, уж век я беспробудно
 Не пил, не плакал, не тобой дышал.
 Пошли, судьба вакхического бубна
 Безумье сладкое под плёткой в восемь жал.

Ты возвращаешься, ты кружишься над смятыми
 Домами города с дымами прошлых лет.
 И весь воздушный фронт продут пассатами,
 И свет в игольное ушко продет.

Ты мне безбожно врешь, не низкому притворству,
 А юному насмешеству верна.
 Такие крыльями отмахиваешь версты
 Не зная устали и не гадая сна.

Давай обнимемся, остались до разлуки
 Не день, не два, а горсть смешных минут.
 Вино качается и дальних рельсов стуки
 Иную жизнь, иную повесть ткут.

Не надо, ласточка, грустить, что лисья шубка,
 Со всеми плутнями, теперь висит в шкафу,
 Не надо, ласточка, нам взрослого рассудка,
 Ли Бо об осени поет, а нам Ду Фу

Вегда милее был — причудник, веснопевец,
 Ленивец ласковый придурошный чуток.
 Вино горчит, но в нем не кориандр и перец,
 А сливы розовой прощальный лепесток.

* * *

Холодно в небе сгорает заря.
 Холодно смотрит на пасынков Отче.
 Медною милостыней октября
 Век ожидания станет короче

На день должно быть, а может на два,
 Столь невесома земля за спиною,
 Что и душа не жива, не мертва
 Бредит любовью и ею одною

Как-то со временем сопряжена,
 Жизнь прожита, а пустая облатка,
 Медленной памятью давнего сна,
 Тает так долго, так приторно сладко.

* * *

Подобно птеродактилю и археоптериксу
 Вымрут ямб и амфибрахий, вы, мне
 Милая, по телефону закатали истерику...
 Я слушал, покрываясь морозным инеем,
 Как голос, ваш, пузырится в телефонном стакане,
 И пальцем, по стеклу чертил «зеро»,
 Став полуистуканом, исполнял я танец
 С телефонной трубкой на станции метро.
 Возможно, вы сообщите назавтра,
 Что зайчик я, а не подлый выродок,
 Но только кости вымерзшего бронтозавра
 Останутся от доводов и до выводов.

Капризнее Северянина, взбалмошнее Бальмонта
 Стану я скитальцем, как новый Мельмот,
 И вволю почешу свои бивни мамонта
 О камни Земли Королевы Мод.
 А вы, останетесь почти раздетая,
 Не дождавшаяся от поэта сапог и песка,
 И поблекнет в вас, некогда мной воспетая
 Царственная нега и золотая пыльца.
 Возьметесь, вас, склонять к совместному бизнесу
 В смокинге, поверх кожана, халдей,
 А вы, все будете дожидаться из лесу,
 Из моря, из неба от меня вестей.
 Глухую тоску по мне — птеродактилю
 Вернет вам эхо из глубины времен,
 И застенчивую почтительность
 К амфибрахию и дактилю,
 Вы, милая, выплатите в немой телефон.

ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ

На развалинах Рима встает краснолицый Багдад,
 По Парижу в оленьих упряжках шуруют якуты,
 Над Берлином «Хазарский словарь» развернул Милорад,
 Глинобитный Биг Бен в белый войлок по брови укутан.

В Улан-Баторе Герхарда Шредера знает любой,
 Потому как погонщик верблюдов в цене у монголов.
 Доллар четверть юаня не стоит, а Буш молодой
 Ходит в рваном халате в простую казахскую школу.

Царствуй, светлая Азия, кто не успел присягнуть
 На задворках империи тупо припал к мемуарам.
 Ведь по сути своей Млечный путь — это Шелковый путь
 С исполинским вселенским размахом и жертвенным даром.

Царствуй, Азия!

* * *

Когда я пью коньяк мне дела нет
 До дамской болтовни, словесных кружев,
 Коньяк хорош, как Афанасий Фет
 И бесшабашен, как пальба из ружей.
 Коньяк, как гладкий камушек в руке,
 Рыбачья прихоть и ребячья шалость,
 Борзая на ременном поводке,
 Замашки барские, брезгливая усталость...
 Узор корней, переплетенье крон.
 Порыв в коне и неподвижность в яке...
 Коньяк, пойдём в садовый павильон,
 Мир воцарен, какие ж могут драки
 Быть меж людьми, вкусившими златой,
 Чуть розоватый, седовато-карий,
 Прозрачный, чистый, медленный, густой,
 Сухой и смуглый, словно индоарий
 Блаженство предваряющий глоток
 Империи небесной иероглиф —
 Коньяк — в петлице сводника цветов,
 Коньяк — на бронзе выведенный профиль.
 И я не алкоголик, не маньяк,
 Пресны мне вина золотого Рейна,
 Вам присягаю — государь коньяк,
 Но мучит совесть компромат портвейна.

* * *

Светлане Кековой

Что там в тетради рисует приезжая,
 Дева больная?
 Ива ли плачется ей побережная,
 Прядь подбирая?

Грифель графитовый крошится, крошится...
Что здесь такого.
Около озера ходит художница
Кисти Крамского.

Мокрый квартет облепихи, черемухи,
Мальвы, калины.
После Ван Гога не пишут подсолнухи,
Пух тополиный

Падает, падает до невозможного
Солнцепаденья.
Нет никакого счастливого прошлого,
Кроме смиренья.

Грудь прищемила ли жимолость свежая.
Жизнь пробежала?
Всё, что художница эта приезжая
Не досказала.

Виталий Науменко

* * *

Туманы севера — веселые туманы,
сквозь ваш бесцветный гнет
я вижу, небо в кружке оловянной
ко мне плывет.

О город, зараженный белокровьем,
не мы приехали, дела нас привели,
и, словно листья, бросили на кровли,
и, как траву весной, сожгли.

Дымы веселые, мы носимся повсюду,
где место только для других,
Мы дворникам наследуем простуду
и щиплем девушек нагих.

Куда бегут гостиничные воды? —
чего нам уготовил рок:
Холодные и ласковые своды,
иль пива теплого глоток?

«КРАСНАЯ КОМНАТА»

Смотрите, в какой блокнот
записываю стихи;
графин золотой поет,
но губы его сухи.

Коня обретает мысль,
душа — неприличный цвет,
и сам я уже Матисс,
и это мой кабинет.

Я сам, как графин, пою
порой, а порою так,
как будто не отдаю
отчета в своих мечтах.
В разбеге мой бедный стих
заносит куда-то вбок,
я выплыву, но мотив
пылает — глубокий, глубокий.

* * *

Нет, мало зиму пережить
и закрутить метель в баранку,
затем проехаться на санках
и бабу снежную слепить.

Психея в странствии ночном
так холодна и одинока,
что страшно даже ненароком
слегка задеть ее огнем.

Лед это лед, а даль есть даль,
которую мы не узнали,
кто вспомнит, что было вначале,
когда останется печаль?

Как забормочет водосток,
мы тоже выйдем к водопою,
имея, в общем, за душою
лишь ледяной воды глоток.

Владимир Некляев

* * *

Всё, что вбирает погляд,
Лишь миг обнимает:
Сад-Вересень... Дым-Листопад...
И дым остаётся, и сад —
Погляд пропадает.

Никнет.
И грудь леденит,
И душу над дымом, над садом.
И ветер нам в очи глядит
Тем самым поглядом.

ВОЛЯ

Река крови за волю — чрез века...
Когда и кто той воли взял довольно?
Безумные рабы безмерной воли —
Не лучше, чем диктатора рука.

Никто не смог, как воля, вольным стать...
Хоть обойми весь мир, свободе веря —

Поэту вольной птицей не спевать,
Не рыскать и тирану вольным зверем.

Свободен может быть лишь плач младенца,
Да крик невнятный в наш предсмертный час, —
Мы дважды обретаем волю в сердце,
И дважды губит волю всяк из нас.

Экзамен Божий выглядит двояко —
Все знают, не избавиться никак:
Один раз воля — вынырнуть из мрака,
Второй раз воля — перейти во мрак.

ЖАСМИН

На твоей остановке у школы
По садам куролесил жасмин.
«Ты сломи мне букетик весёлый
На вспомин, на вспомин, на вспомин».

Белым холодом ночь выкипала,
И до утра букетом в окне
Всё кивала, кивала, кивала...
Сны поры той, вернитесь ко мне!

Бедный праздник в раю интерната —
Улетучилось, как не было!
На утрату ложилась утрата!
По садам — лепестков намело!

Окружённый сугробами люда,
Вижу я — наяву ли, во сне —
Ветер нежности тянет отсюда:
Юный сад и — жасмин на окне.

* * *

Поцеловала в чело
И засмеялася...
Это почти что было
То, что казалось.

Что как эмаль в серебре,
Музыка с голосом,
Слитно, как свет и апрель,
Но — расколоса:

Болью на том рубеже,
Сердца поблизости...
Не повторилось уже
Даже и в призрачности.

* * *

Ночь — и чёрт играет на трубе,
Потешает ведьмочек-нескромниц...

Никому — и во-первых тебе —
Уж не расскажу своих бессонниц.

Не совру, как на твоих плечах
Я сличал родимки золотые...

Как играют!.. Как кричат в ночах!..
Старый чёрт... И ведьмы молодые.

КЫ-ГЫ

Шальная кутерьма от Праги до Варшавы,
Медведица, припав, пьёт небеса с Ковша,
В любом из нас душа разбойника Вараввы —
Весёлая гульба, вино и анаша.

За что гульба пошла? Забылася причина!
За то, что в нас житья — едва ли на глоток!
Что нам на всех одна — неужли так? — женщина,
И коль один конец — и всем на тот же бок!

«А ну нам Расскажи, как ты до нас блудила!
А ну нам покажи кайфовое кино!
А ну всё заголи!..»
«Ты меньше пей, водила!
Эть, коли хочешь, пей! Здесь всё на всех одно...»

Заткнуться? — ах, ты бля!..
Как языком полощет!
Коль знать, не взяли бы старой такой карги!..
«Гэй, музыку зычней, кто там снаружи квохчет,
И кто б это мог быть?! — кы-гы! кы-гы! кы-гы!»

А кто б ни был — плевать! Я сам себя не помню!
Забылся, кто я есть!.. Сапсан? Сова? Удод?
И накло-ня-ет-ся,
плывёт на запад полдня
Жизнь — рожью,
что стрелой стремилась на восход.

Водила, ты куда? В тот бок не надо спешки!..
Там на меня ярмо! Я выскочу с него!
Назад — дороги нет...
Эх, и язык у Гнешки!..
Рванул бы на восток, коль слыл — за своего.

Ни анашу курить, ни пить чифир в остроге!..
 Я заплатил за всё! Я все вернул долги!..
 Да что за птаха там — наперерез дороги?!
 О чём она кричит: «Кы-гы! Кы-гы! Кы-гы!»

Мне потекают все — она не потекает!..
 И что это за крик?
 И что это за знак?
 Я б разгадал, да вот
 компания такая! —
 И Гнешка всё одно — и кто кричит, и как.

Проклятое «кы-гы»
 заходится над нами!
 От одиноких дум, от всей моей туги!
 От лжи моей! Вины! Оглохшими звонами
 Расхристанной души:
 «Кы-гы! Кы-гы! Кы-гы!»

Сломали кайф, козлы! Притормози, водила!..
 На ветреном шоссе никто не тормозит!
 И в каждом, словно вихрь, клубится злая сила,
 У каждого своя дыра в душе сквозит!

Поехали, дружбан!.. Уж близко до Варшавы —
 В рассвете там костёл
 и крест над ним дрожит...
 И только про одно разбойника Варавву
 Пытает Иешуа:
 «Скажи, ты хочешь жить?..»

Про что пытаться?.. Когда
 Компания такая!
 Такая Гнешки грудь!
 Не капай на мозги!..

А в тёмной вышине, нас бездной увлекая,
 Невнятно, словно Бог:
 «Кы-гы! Кы-гы! Кы-гы!»

АНГЕЛЫ

Как час настал —
Я двинулся до Бога.

Три ангела мне перешли дорогу.
Один промолвил: «Ты куда идешь?..»
Второй промолвил: «Что в душе несешь?..»

А третий не спросил меня ничего.
Иль был немой, иль знал, что я — до Бога.

КРОВИНКА

Грущу — но помню и в журбе.
Свищу — по городам и странам.
О, Беларусь моя! Тебе
Я поклонюсь и за курганом.

Ведь нам привычно помнить двум,
Что не грустят о нелюбимой,
Что бережёт печальный ум
Не память-речь — а суть родимой.

И коли бьют наотмашь стоны,
Мол, нечего беречь! —
Себе
Я прикушу язык солёный,
Слизнув кровинку на губе.

Олеся Николаева

ИСПАНСКИЕ ПИСЬМА

Порой я напоминаю себе трехлетнего младенца, который хоть и умеет по-человечески говорить, а все, бегая кругами по комнате, с упоением закидывает голову и выкрикивает в пространство: «Карибу-марибу-гамалепс-фериилепс-апилепс-шарибу-талибу...»

Ибо поэзия — блаженное иноязычье. Чужбина, именую которую и наделяя ее бытием обретаешь родину.

Земля обетованная, ее же Моисей и видит, а никогда не дойдет...

Когда-то, еще при Брежневе, ко мне обратился комсомольский вождь, чтобы я написала ему приветствие к комсомольскому съезду. Я заплакала от обиды: как смеет он это мне предлагать! И мой муж сказал: «Напиши гекзаметром. Будет смешно». И я написала: «Вы собрались на съезд комсомольский, о мужи, и девы, много есть важных отчетов и прений у вас на повестке...» Тогда вождь от меня отстал.

И я подумала, что смысл может быть не в самих словах, а в интонации, в звучании, в связи слов. И форма может опровергать содержание.

Когда мне было лет девять, в Боткинской больнице, где лежала моя бабушка, мне показали Ахматову. Бабушка сказала мне на ухо: «Вот Ахматова — большой поэт. Будешь всю жизнь вспоминать...»

А я увидела просто беспомощную тяжелую старуху с одышкой.

И подумала, что поэзия, скорее всего, не принадлежит собственно человеку. Она — помимо, иногда вопреки ему.

А потом у меня умерло много друзей. Плача о том, что их нет, я стала о них писать. И они пришли, живые, и пиروвали со мной.

И я подумала, что поэзия — это преображенная жизнь. Все, что ты потеряешь во времени, обретаешь в ней.

Бывала у меня порой ужасная тоска. Такая неподъемная скорбь... И я стала подбирать к ней слова. И услышала, что песня моя весьма приятна, и тоска моя теперь голосом напоминает псалом.

И подумала, что даже лютые звери, которым ты нарицаешь имя, приходят тебе служить.

Когда-то я мысленно выясняла отношения с любимым другом, и все выходила какая-то свара, заколдованный круг взаимных обид. Тогда я написала «Испанские письма», и весь мир сделался моим утешителем, заступником перед ним.

И я подумала, что поэзия заставляет мир говорить своим языком. И все, что утрачиваешь в пространстве, подбираешь на небесах.

Весьма нередко я вдруг начинала томиться в неволе причинно-следственных связей, из которых не вырваться просто так: сотни, тысячи невидимых нитей опутывали меня с головы до ног. Все выходило «поэтому я обязана», «оттого я должна». Потому что вера оскудевала во мне, и хирела моя свобода, которую нечем было кормить. Но младенец, бегающий по кругу, меня научил. Тогда я, как и он, заговорила на другом языке. И мир меня не понял, прошел стороной, не узнал. Язык же этот дал мне преображенную землю, и была она вся как Божий дар. Как свидетельство, насколько же любит человека Бог!

И я подумала: если корень поэзии — любовь, то свобода — плод. А если корень ее — свобода, то плод — любовь.

О том же вещал и прекрасный младенец: «Карибу-марибу!»

Никого не чтит, даже испанского короля,
а при этом ищет, кому бы ей поклониться.

И служить не любит. Но о каком-то своем
тайном и чрезвычайном служенье твердит открыто.
Сонная и неприбранная, она бродит днем,
оттого лицо ее ближе к вечеру измученно и сердито.

Слово «провинциальный» много скажет уму
про испанский апломб, амбиции, сумасбродство.
А сынов Израиля здесь не жалуют, потому
что учуивают подозрительное с ними сходство.

Все это пишут в местных газетах. Но —
как ты ни пробуй прижиться, врасти искусно —
иезуитом здесь быть противно,
шутком — грешно,
аристократом — сомнительно,
черню — гнусно.

IV

Любопытно, что те — из кидальчиков, шулеров и катал,
выходцы из низов, а некоторые — отмотавшие здесь по сроку,
то есть те, которые первоначальный делали капитал
рэклетом, — детей воспитывают уже по доктору Споку.

Отдают в классические гимназии — грызть гранит,
сокрушать латынь,
узнавать, кто такие стоики,
читать Писанье,
учить на нескольких языках «Отче наш»
и «Господь простит»,
выправлять генотип золотой печатью знанья.

То есть попросту — выходить в дворяне испанские,
в верхний слой.
Называться «новой элитой»,
ходить в европейских шляпах.

VII

Дорогой! Испания — это такая страна, куда ни с каких
дорог
 не завернешь, даже если захочешь...

Здесь просто оказываешься однажды.

Обнаруживаешь себя. Входишь сюда на вдохе...
 Как если бы что-то болело в тебе так долго,
но, миновав болевой порог,
 ты очутился бы вдруг в ином пространстве,
времени и эпохе...

Ах, не то что бы сделался вовсе бесчувственным,
нет, но своя
 жизнь глядит незнакомкой какой-то, испанкой,
и локон завился...

То ли это ландшафт свою кожу сменял, как змея,
 то ли ангел на небе сменился!

Потому — безразлично, кто ныне у власти и что за итог
 местных стычек и переговоров жандармов
с наемниками, —
без раздумья
 настоящий испанец тебе ответит: «Испанией правит Бог,
 провинцией — ветер с Атлантики, приливами —
полнолуния».

VII

Дорогой! В Испании пишут стихи абсолютно все.
 Испанская Муза проходит любую стену:
 и вот она — звезды на ней и тучи, и месяц в черной косе,
 и жаждет любви, и требует жертв, и мстит за измену.

И лепет любой при ней, прикусив язык,
 переходит в пафос,
клянется в родстве потопу
 дождь морозящий,
и сельский ленивый бык,
 скинув ярмо, летит похищать Европу.

И даже сквозняк из щелей, окружив жильё,
ураган Аравийский несёт в ноздрях
и кривую
тушит память о том, за что так любят её
испанцы — эту ужасную, роковую...

...Я смотрела долго в провалы её глазниц.
Я следила, куда уходит она по тверди.
И мне кажется, семь у неё за пазухой птиц
драгоценных — и это птицы любви и смерти.

Это птицы разлуки, чужбины... С крутой горы
оседает туман: забыться в нём, затеряться...
И ещё есть птица начала жизни, детской игры:
шаг на цыпочках, тайна, смешок и нельзя смеяться...

И ещё есть — птица судьбы... То пророчествует, то спит,
а глаза отверсты... Когда ж, взлетая,
начинает крыльями бить по воздуху, — каркает и темнит...
А седьмая птица — небесная и святая...

И когда бы спросил ты меня об Испании: «Что ж,
получается, все птицеловы там?» — в полночь немую
можно было бы вдруг поразиться, как сам ты похож
на последнюю птицу, блаженную птицу восьмую!

Любовь Никонова

* * *

Не споря с высшей силой притяженья,
я уходила в майские сады.
Вся жизнь была похожа на движенье
свободной или связанной воды.

Сирень с ее глубинным ароматом
переполняла сердце до краев.
И пел и плакал каждый светлый
атом
слоев души, непознанных слоев...

Мне нравились касания жасмина.
Но для чего такой эксперимент:
зачем мне нужен в пестрой чаще мира
один редкоземельный элемент?

То боль, то радость в сердце возрастала.
Цвела сирень. И сыпались с ветвей
ее крестообразные кристаллы —
в напоминанье о судьбе моей.

* * *

Пусть ветер приносит все чаще и чаще
прекрасные песни из солнечной чащи —
я верю: то взоры сияют твои
избыточным светом чистейшей любви.

Пусть ветер приносит прекрасные вести...
Все сделано так, чтобы были мы вместе.
А кто это сделал, зачем и когда,
не знает ни ветер, ни лес, ни вода.

И только душе догадаться несложно,
кто к этой любви ее вел осторожно,
кто выслал навстречу светящейся ей
такую же душу, но только светлей...

НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Средь огня, среди грома растущего —
далеко до святой тишины.
И сокрыто в тумане грядущего
все, что сбудется после войны.

Этот бой еще долго не кончится.
Долго сердце врагу не простит...

А душа, огневая пророчица,
как голубка, над схваткой летит.
Над полями смертельными минными,
над окопами в черной крови
существо с опаленными крыльями
замирает в тоске по любви.

Зависая в полете, не мудрствует —
правду скорби и слез говорит.
Над пшеницей дымящейся русскою,
как живая бумага, горит.

И вещает сквозь пламя военное:
 «Вижу время: начала, концы.
 За страдание ваше бесценное
 Сам Господь вам готовит венцы».

* * *

Научусь незаметно смиренью
 В свете солнца иль в тонкой тени.
 И цветущей церковной сиренью
 Постепенно украсятся дни.

И бушующих мыслей угрозы,
 И страстей неизбывных моря,
 И конфликтов мятежные грозы
 Не сильнее, чем покорность моя.

Но не случая я повинуюсь,
 Не стихиям вверяю свой путь.
 И вчера промелькнувшую юность
 Не стараюсь обратно вернуть.

Не ищу дополнений к здоровью,
 Мне неведом богатства секрет,
 Но живу только Божьей любовью —
 Для нее невозможного нет.

* * *

Душа витает в облаках,
 Но путь свой знает досконально.
 Во всех пространствах и веках
 Она отражена зеркально

И видит с высоты она,
 К заветной прикасаясь тайне,
 Кому, как свет и хлеб, нужна,
 А с кем дружить не в состоянье,

Летит к друзьям, бежит врагов.
И слышит в даях белоснежных
Зов материнских берегов
В объятьях отческих безбрежных...

* * *

Пролегла сквозь пространство дорога,
Позвала в те края, где светло...
И движенье волною восторга
Жизнь, и душу, и мысль обожгло.

Развернулся загадочный свиток —
И вполне обозначился в нем
Бесконечного счастья избыток,
Золотого блаженства объем.

* * *

К тебе летят сияющие птицы.
Их обгоняют сказочные ветры.
Меж небом и землею, на границе,
Цветут, как свечи, золотые вербы.

Вокруг тебя, пронизанные светом,
Сидят зверьки с янтарными глазами.
Они, подобно эльфам и поэтам,
От счастья плачут нежными слезами.

Не помня дней недобрых или мрачных,
Желая петь, ликуя, словно птица,
Войду я в круг существ светопрозрачных
И попрошу немного потесниться.

И, проникаясь светлым приобщеньем,
Твой образ буду созерцать я долго
И жить одним глубоким ощущеньем —
Смиреньем, доведенным до восторга.

* * *

Как много розовых цветов
Люпинов, лилий, нежных маков!
Ум человеческий готов
Расшифровать узор их знаков.

Мысль проникает внутрь цветка,
В нем с наслажденьем замирая, —
И ей становится близка
Загадка и разгадка рая.

Пускай изнемогает плоть —
Но мысль работает как надо,
И видит сквозь пыльцы щепоть
Небесный свет земного сада.

* * *

Не могу подтвердить я, что осень — в бреду,
Не могу я сказать, что она — в лихорадке.
Кто болезни в Божественном видит саду,
Бьется сам зачастую в припадке.

А здоровье души — изливается вширь
Иль восходит в просторные выси,
Где бессмертные силы читают Псалтырь
И плывут абсолютные мысли.

И оттуда приходят дожди и снега
И меняют земное убранство.
Как лампы, в рябинах горят берега.
Свет покровский вступает в пространство.

И проникнуты свежим сознанием мира.
Принимает природа с любовью
Этот пушкинский праздник осенней поры —
Русский холод, полезный здоровью.

ПРОЩАНИЕ С 90-ми

Раскололась огромная льдина.
Мы плывем на отдельных обломках.
Вот великой реки середина —
Здесь мы вспомним о наших потомках.

Здесь решится судьба не прибывших,
Не зачатых еще, не готовых,
Наших будущих маленьких нищих,
Наших русских, по-своему новых.

Между тем стопроцентное зренье
Наблюдает за этим исходом —
И, не веря себе, в отдаленье
Видит нимб над плывущим народом...

Денис Новиков

РОССИЯ

Ты белые руки сложила крестом,
лицо до бровей под зеленым хрустом,
ни плата тебе, ни косынки —
бейсбольная кепка в посылке.
Износится кепка — пришлют паранджу,
за так, по-соседски. И что я скажу,
как сын, устыдившийся срама:
«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали свое на рейхстаге.
Свое — это грех, нищета, кабала.
Но чем ты была и зачем ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листовая.

Последний рассудок первач помрачал.
Ругали, таскали тебя по врачам,
но ты выгрызала торпеду
и снова пила за Победу.
Дозволь же и мне опрокинуть до дна,
теперь не шестая, а просто одна.
А значит, без громкого тоста,
без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.
Ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесем — и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:
налево — Маммона, направо — Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Поедешь налево — умрешь от огня.
Поедешь направо — утопишь коня.
Туман расстилается прямо.
Поехали по небу, мама.

* * *

Разгуляется плотник, развяжет рыбака,
стол осядет под кружками враз.
И хмелеющий плотник промолвит: «Слабак,
на минутку приблизься до нас».

На залитом глазу, на глазу голубом
замигает рыбака, веселясь:
«Напиши нам стихами в артельный альбом,
вензелями какими укрась.

Мы охочи до чтенья высокого, как
кое-кто тут до славы охоч.
Мы библейская рифма, мы «плотник-рыбак»,
потеснившие бездну и ночь.

Мы несли караул у тебя в головах
за бесшумным своим домино,
и окно в январе затворяли впотьмах,
чтобы в комнату не намело.

Засидевшихся мы провожали гостей,
по углам разгоняли тоску,
мы продрогли в прихожей твоей до костей,
и гуляем теперь в отпуску...»

* * *

Небо и поле, поле и небо.
Редко когда озерцо
или полоска несжатого хлеба
и ветерка озорство.
Поле, которого плут не касался.
Конь не валялся гнедой.
Небо, которого я опасался
и прикрывался тобой.

* * *

До радостного утра иль утра
(здесь ударенье ставится двояко)
спокойно спи, родная конура, —
тебя прощает человек-собака.
Я поищу изъян в себе самом,
я недовольства вылижу причину
и дикий лай переложу в псалом,
как подобает сукиному сыну.

* * *

Начинается проза, но жизнь побеждает её,
и поэзия снова, без шапки, без пуговиц двух,
прямо через ограду, чугунное через литьё,
нет, не перелезает, но перелетает, как дух.
Улыбается чуть снисходительно мне Аполлон,
это он, это жизнь и поэзия, рваный рукав,
мой кумир, как сказали бы раньше, и мой эталон,
как сказали бы позже, а ныне не скажут никак.

* * *

В. Г.

Стучит мотылек, стучит мотылек
 в ночное окно.
 Я слушаю, на спину я перелег.
 И мне не темно.
 Стучит мотылек, стучит мотылек
 собой о стекло.
 Я завтра уеду, и путь мой далек.
 Но мне не светло.
 Подумаешь — жизнь, подумаешь — жизнь,
 недолгий завод.
 Дослушай томительный стук и ложись
 опять на живот.

* * *

1

Для густых бровей,
 как шутил отец,
 ты кормила меня икрой.
 Заточи мой слух,
 расплети крестец
 и небожно глаза закрой.
 Я дышал в тебе, продышал пятно
 и увиденным был прельщен.
 Да гори оно,
 воскресай оно
 хоть из пепла, а я при чем?

2

Не орла, не решку метнем в сердцах,
 не колоду, смешав, сдадим.
 А билет воздушный о двух концах,
 потяни на себя один.

Беглецу по вкусу и тень шпалер,
и блестящий базар-вокзал.
Как об этом смачно сказал Бодлер —
мне приятель пересказал.

3

Был я твой студент,
был я твой помреж,
симулянт сумасшедший был.
Надорви мой голос,
язык подрежь,
что еще попросить забыл?
Покачусь шаром, самому смешно.
Черной точкой наоборот,
что никак не вырастет ни во что,
приближаясь. И жуть берет.

* * *

Повисает рука, отмирает моя голова.
И с похмелья в глазах темно. Похмелюсь — темно.
Ты не любишь меня, ты не знаешь, как ты права,
но... А впрочем, какое нам остается «но»?
Принадлежность постельную можно в ночи кусать.
Можно чиркнуть лезвием — выйдет ни то ни се.
Можно бросить все. Но не стоит всего бросать.
Надо что-то оставить. А значит, оставить все.
Вот потому и славится в вышних, иных мирах.
Переплетясь в объятиях, как бы в мирах иных,
помнили и в беспмятстве, кто мы такие, — прах.
И восклицали — Господи! — на языках земных.

* * *

Черное небо стоит над Москвой,
тянется дым из трубы.
Мне ли, как фабрике полуживой,
плату просить за труды?
Сам себе жертвенник, сам себе жрец,
перлами речи родной
замороженный ныряльщик и жнец
плевел, посеянных мной,
я воскурю, воскурю фимиам,
я принесу-вознесу
жертву-хвалу, как валам, временам —
в море, как соснам — в лесу.
Залпы утиных и прочих охот
не повредят соловью.
Сам себе поп, сумасшедший приход
времени благословлю...
Это из детства прилив дурноты,
дяденек пьяных галдеж,
тетенок глупых расспросы — кем ты
станешь, когда подрастешь?
Дымом обратным из неба Москвы,
снегом на Крымском мосту,
влажным клубком табака и травы
стану, когда подрасту.
За ухом зверя из моря треплю,
зверь мой, кровиночка, век,
мнимую близостью хвастать люблю,
маленький я человек.
Дымом до ветхозаветных ноздрей,
новозаветных ушей
словом дойти, заостриться острей
смерти — при жизни умей.

КАРАОКЕ

Обступает меня тишина,
 предприятие смерти дочернее.
 Мысль моя, тишиной внушена,
 прорывается в небо вечернее.
 В небе отзвука ищет она
 И находит. И пишет губерния.

Караоке и лондонский паб
 мне вечернее небо навяло,
 где за стойкой услужливый краб
 виски с пивом мешает, как велено.
 Мистер Кокни кричит, что озяб.
 В зеркалах отражается дерево.

Миссис Кокни, жеманясь чуть-чуть,
 к микрофону выходит на подиум,
 подставляя колени и грудь
 популярным, как виски, мелодиям,
 норовит наготовю сверкнуть
 в подражании дивам юродивом

и поет. Как умеет поет.
 Никому не жена, не метафора.
 Жара, шороху, жизни дает,
 безнадежно от такта отстав она.
 Или это мелодия врет,
 мстит за рано погибшего автора?

Ты развей мое горе, развей,
 успокой Аполлона Есенина.
 Так далеко не ходит сабвей,
 это к северу, если от севера,
 это можно представить живей,
 спиртом спирт запивая рассеянно.

Это западных веяний чад,
год отмены катушек кассетами,
это пение наших девчат
пэтэушниц Заставы и Сетуни.
Так майлав и гудбай горячат,
что гасить и не думают свет они.

Это все караоке одне.
Очи карие. Вечером карие.
Утром серые с черным на дне.
Это сердце мое пролетарии
микрофоном зажмут в тишине,
беспардонны в любом полушарии.

Залечи мою боль, залечи.
Ровно в полночь и той же отравой.
Это белой горячки грачи
прилетели за русскою славою,
многим в левую вложат ключи,
а Модесту Саврасову — в правую.

Отступает ни с чем тишина.
Паб закрылся. Кемарит губерния.
И становится в небе слышна
песня чистая и колыбельная.
Нам сулит воскресенье она,
и теперь уже без погребения.

Юлия Пивоварова

* * *

Сладкий запах ремонта
Под ногами кирпич.
Не осталось «бомонда»
Только собственный кич.
Только чьи-то куплеты
Из соседнего сна
Да вечерней газеты
Желтизна.
А звонок будет третий
И шестой. Ну и что?
Но не будет трагедий
Оттого, что смешно.
Пусть хихикнет кондуктор,
Забывая маршрут.
Пусть заржет репродуктор,
Точно бешеный шут,
Смех, который так дорог
Пусть подарит мне друг,
Гомерически город
Пусть хохочет вокруг.
Улыбаться, так лень мне
Под навесом небес,
Где как маленький Ленин
Закудрявился лес.
Никакой нет причины
Для пустого — «хи-хи»,
Только нож перочинный,
Что в стволе у ольхи.

* * *

Мой ренессанс цветет махровым цветом.
Моя любовь равна твоей тоске.
Я нарисую собственное лето
На школьной поцарапанной доске.
Позорный мент гадает на ромашке,
Быть или не быть, решает с пьяных глаз,
Я мну две папиросочки в кармашке.
Коса до пят. Во лбу горит алмаз.
Мне нравятся ночные светофоры
И пошлости пленительный успех.
Люби меня. Неси меня за горы.
И ни о чем не спрашивай у всех.

ФОНАРИКИ

Проплывет элеватор готический
За окном электрички ночной...
Алкоголика голос отеческий
Про фонарики песню начнет...
Электричка моя, поворачивай!
Мы с тобою под воду нырнем,
Видишь фею в жилетке оранжевой,
Что обходит пути с фонарем?
Все другие фонарики умерли!
Люди все посходили с ума.
И обходчица с профилем мумии
Освещает, что хочет сама.
Нету пуговиц на небе джинсовом.
Не начищена пряжка ремня.
Я мечтаю о мире безжизненном,
О придуманном не для меня.

СВАДЬБА

Вечера трехцветная свеча,
И водила в путь зовет клаксоном,
И нога озябла под капроном,
И кровинка капает с ключа.
С белой газированною пеной
Синяя смешалась борода,
В душной переполненной пельменной
Хнычет полоумный тамада.
Одинокий гусь лежит на блюде,
У дверей кавказцы курят пыль...
За столом сидят худые люди,
Дарят бабки крашенный ковыль.
Светится прелестная невеста
В кружеве и в горном хрустале,
Звуки похоронного оркестра
Издают игрушки на столе...
Гость незванный шепчет мне на ухо
Черт-те что и не понять о ком.
Потирает руки точно муха
Наглый полицейский за окном.
Пьет свекровка-темная лошадка,
Поминутно просит слова поп
И под крики яростные — Сладко —
Губы опускаются на лоб.
Прибывают лица местной власти,
Муторно солидно говорят...
36 картей 4 масти
Карлица раскладывает в ряд,
Кум кричит куме — «Тебя посадят»,
А кума шипит ему — «Подлец».
Скоро утро. «Свадьба, свадьба, свадьба» —
Завывает Лещенко — певец.

* * *

Кругом всё рамочки, да рамочки,
Всё паспарту, да паспарту
Я упаду сейчас. Ой, мамочки!
Исчезну, сгину, пропаду...
Безумноватая, холодная
Зима по улице идет,
Как будто дама старомодная
Подолом улицу метёт.
Где я стою, там ты встречаешься,
Но не заметишь никогда,
И всё равно со мной венчаешься
Живыми кольцами из льда.
Прощай, прощай, прощай неласковый,
Не нежный, не хороший зверь,
Из бороды, давай, вытаскивай
Снежинок белую сирень.
Беги, беги, беги по улице,
Беги скорей от гончих псов,
Неси своей хозяйке умнице
Привет от ланей и козлов.
Остынь у печки догорающей.
Усни под музыку побед.
И пусть слова твоих товарищей
Оборонят тебя от бед.

* * *

А ну давай, читай письмо пустое,
Возьми свое от белой пустоты,
А мы цветы, мы умираем стоя
Красивые веселые цветы.
Мы окружаем сталинские клубы,
Мы убегаем за пределы клумб,
А наши нежно-розовые губы
Нежней и розовее прочих губ.

А ну давай, дождись воды отстоя
Возьми свое от влажной темноты,
А мы пришлем тебе письмо пустое.
А ты нам не ответишь.
Мы цветы.

* * *

Фиолетовый край забытья.
Долгий перечень желтых цветов,
Где кувшинка забытая я
Рядом с лютиком тех же цветов.
Желтых звезд пропаданье в воде,
Желтой прессы последняя жуть.
И нашествие желтых людей
На земли моей белую грудь.
Скоро желтая осень с берез
Так польется, как солнце с небес,
Скоро кто-то счастливый до слез
Побредет обходить желтый лес.
Красных, алых не видя рябин,
Белоснежных не чувствуя брызг,
Ярко-желтый грызя мандарин,
Желтой кошке сказав свое «брысь!»
Я увижу, что есть красота
И рассыпана всюду она,
А потом досчитаю до ста
Города, голоса, имена...

* * *

Смотрите: вот уже девчонка
Стоит на собственных ногах
И манит семечкой бельчонка.
Над парком вечер в облаках.
А городские лесопарки

Смущают граждан высотой,
Там вечнопьяные Ремарки
Трезвонят тарою пустой.
Смотрите девушка какая
Пришла учиться в институт,
Чтоб пить и целоваться тут,
Минуты времени роняя.
К ней относились, как к подарку,
Науки точной самородки.
Теперь же прочь бегут по парку,
Срезая путь и так короткий.

* * *

Меняет бабка шляпки
Зовет жильца Володенькой.
Любила бабка тряпки,
Тогда еще, молоденькой.
И плечи в чернобурке.
И вся она хитрющая.
Лежит у ней в шкатулке
Горячее оружие.
Капризней, чем царевна,
Кривясь, читает Битова.
Амалия Сергевна,
Вы контра недобитая.

Александр Радашкевич

ОТПЛЫТИЕ

И это было, было, было вчера или давно,
когда все песни были разными, когда
со свинофермы «звёзд» убожество стандартное
не хлынуло в дома, когда ещё не обобрали
детей и наших стариков все те, кто лыбится
чванливо за бронью мчащих лимузинов,
когда ещё я не пил слёз из чаши бытия,
до «Курска», до «Норд-Оста», до Беслана,
когда из русских не кроили под янков россиян,
изгадив души потребительства проказой, когда
ещё была собой, жила себе в достойной силе
родная странная страна.
О, это было, когда мы были, были, а не слыли,
когда гуляли хлебосольно и пели песни
дедов и отцов, ведя раздумчиво ту русскую
святую речь о задушевном, о заглавном, а не гния
живьём, поодиночке у заэкранной нечисти в рабах.
Зачем тогда в венке из роз к теням не отбыл я?
Но выливая в волны чашу разлучного вина,
на борт прозрачного «Арго» уже восходят
аргонавты. Поёт Орфей. Седые плещут паруса
и тают, угодив в чью-то густую и синюю вечность.
И родина, как Атлантида, нисходит, затуманясь,
сокровищем к неведомому дну.

ПОРТРЕТ В ЛАНДШАФТЕ — ВЛАДИМИРУ БЕРЯЗЕВУ

Чем ближе от тебя, тем дальше, зимний брат, к тебе тропа змеится над обрывом, тем шире видится поземкой пепельно взметающая гладь и тем, и тем вернее клинопись звериных юрких лазов дерзнувшего заводит вспять, к безвылазной засеке. У Навны-узницы храним клубок оледенелый сей. Мерцают под нелёгким веком предвечных рек-озёр младенческие души, но ближе чем, тем ледовитей, тем таёжней то лихо белое, лихое то сиротство, тем ярче теплится, дрожит колючею звездой на гулком дне, на лунном тле твой трепетный костёр, тоскою волчьей проколовший бельма ночи. В резной незримый реликварий легла апрельская Сибирь. В сновиденных моих чертогах за дышащей завесой ты в чёрном зеркале забытой анфилады стоишь бессменно с пернатою надломленной стрелой в роландовой груди, и кровь ветвится из ушей: ты так грубил в ущелии своим — над тьмою сарацинов.

РИТОРИЧЕСКИЙ ТРИПТИХ

I.

И мы дорвались до убожества,
до ража потребительства,
до чавкающей пошлости,
и нами правят, хамски усмехаясь,
довольные собою пешки,
а то и вовсе весь Божий свет
презревшие америкашки, которыми,
допустим, не из света, но кто-то
правит равнодушно, кто поумнее,
кто подревнее, кто утешается
до спазм стандартным искушением

стада селекционных человеко-животных; и деткам дряхлым крутят ролики про роботов, сработанные роботом для роботов, а там, у главной пурпурной кнопки, один за пультом, ждёт папа-робот вяло и глумливо, когда докрутят один и тот же избитый грязный допотопный мультик. Хлев изобилья, смрад достатка и зрак недремлющий мигающих экранов: в тени дебелого тельца дорвались мы до сытости, до самости, до скотства, до чёрного глобального штрих-кода на стынувших шаблонных душах. Развожлобление — оно обещано последней кукле, но сразу после уничтоженья.

II.

Жируют циники на родине, рахиты съёженной души, жующие слюняво резину слов нерусских, лауреаты расхожей пошлости, невежи, хамы, долларопоклонники, интернет-лупанария одиночки и пользователи, номера в электронном концлагере, романтики презерватива, чья антимуза зататуированная из-под иглы всё жилится срыгнуть обьедки Слова, но расползается по всем экранам извечный вирус: мене, тэкел, фарес.

III.

«Есенин слишком задушевен, Чайковский — тьфу! — сентиментален, ваш Пушкин — гадко романтичен, а Достоевский — мерзко

православный, Толстой — до отвращения народен. И ваша рабская Россия ещё воображает, что чего-то стоит».

И кто-то уж развесил уши
и опускается до споров. Ну, если вам не жаль
и бисера святого, мечите, слушайте, внимайте
ветхозаветному сивому рылу и уступайте то
сокровенно-неразменное, за что нас любят
умно презирать и обожают страстно ненавидеть.

* * *

*За столько лет такого маянья
По городам чужой земли...*

Георгий Иванов

Из всех
субтильностей скабрёзных парижского
душистого салона,
из хвойного
эха германской умытой казармы, чья
лепота ужасает,
из штатовской
банковской бойни, с пластмассовым
оскалом Буратино,

рвёмся недвижно и обречённо

в русский
угарный горячий кабак, чтоб умереть,
пока мы живы,
в русский
пасхально натопленный храм, чтоб жить,
покуда не умрём, —
взлетая и тая
малиновым звоном, сжимая гранёное
горло графина.

НОТР-ДАМ

Как раньше, как сто раз, прошёл в собор,
дошел до левой лавки, с пустою головой
и сердцем рассматривая сувенирный хлам,
но дальше побрёл, безвольно шаркая в толпе,
у древних окон-роз подумав вдруг, без повода
о крипте тайном

и вдруг заметив слабый блеск
от алтаря. Седой гроссмейстер в окружении
рыцарей с крестами алыми на веющих плащах
нёс бережно на бархатной подушке — я понял
что и встал в молчаливую очередь, всё думая
о самом-самом и ровно ни о чём; и вот отдал
земной поклон по-русски и приложил уста и лоб
к увитому сверкающими веточками хрустально,
хранящему венец терновый Господа Нашего
Иисуса Христа.

Тогда не стало ни собора, ни
меня, ни бархатной пурпуровой подушки,
и рыцарь белоснежный, с крестами по плечам,
любезно стёр с хрусталя платком моё дыхание
и бренный поцелуй — для поцелуя и дыханья
того, кто встал за мной неслышно на колени.

ЗИМНЕЕ

И помолившись утренним богам,
я отворяю зимнее окно над
миром молчаливым, над дымом
недвижимым рыжих крыш и
ожерелием следов по раненому
снегу, и, отпуская рваный пар,
впускаю, как титан в мифическую
грудь, зажмурившись от лунных
солнц, и раннее слящесее небо,
и ломкий остов лип, и лупоглазые
дома, тех гор гряды сквозную и тех

букашек, мальчика и пса, чёрным
по белому медленно метящих
нечто собою, ставящих птичек
за Брейгелем Старшим в плотных
пустотах январского утра и на
растресканных, на лаковых
полотнах немого бытия,
что утром праздным
я внимательно
люблю.

ПО ПРОЧТЕНИИ ДНЕВНИКОВ

Ю. Кублановскому

Давай молчать о Лондонах и
Римах на бывшем русском
языке, о сарацинам преданном
Париже и жалком мире, звёздно-
полосатом, где бьётся рыба
о сальный лёд глобализаторских
безрыбий, об ожлобленье
коктебельском и нью-московских
казино, о танцевальном право-
славии и вымирании Руси,
о встреченном, о гаданном,
о слывшем, об утре дней и вечере
надежд, давай молчать, мой
прошлый друг, о вечном,
о том, что нам отснилось
наяву. Не надо рыпаться: мы не
в формате. Мы не в формате,
слава Богу. Вмерзая в мерзость
существованья, где наша жизнь
случилась ни к чему, давай
молчать так громко и пытливо,
как нас великие когда-то там
учили, на чистом русском языке.

ПАМЯТИ ИРИНЫ АРХИПОВОЙ

Помню платье зелёного бархата,
филармония, рокот органный, и
в хрусталях, меж снежными
колоннами, Агнец Божий
безбожно дрожит...

Париж, та надпись на пластинке,
а ей в подарок Куперен:

«Ирина Константиновна, нет
слов, а так хотелось...»

И снова Мойка в январях
певца любви, певца своей печали,
Капелла гулкая, и с чаем мёд,
её антракт в глубоком кресле.

«Нет, я не в голосе. Ну что вы
говорите?!.. Не летит.

А я вас помню...»

Я только раз орал на свете
«браво», и то, должно быть,
про себя, пока бежали по спине
бессмертные мурашки
и падала сквозь всю пустую
вечность густая неразбитая
слеза — на филармонию,
зелёный бархат, на роковой
наплыв органный и Агнца
Божьего в дрожащих
хрусталях.

АЭРОПОРТ

Все люди, по виду, славные и
говорят по-русски, все лица
вроде бы понятны, все жесты,
кажется, родны, и дети носят
по-детски, теряя с крыльев
синий пух, а походки, па за па,
отрешённо исполняют тот же
танец жадной жизни. О Боже,
как я мог оставить всё это, это,
это ну хоть на сколько-то-нибудь?
О Боже, что мне делать тут?
Взмывает серый самолёт, ревя и
содрогаясь, я сплю, не спя, я жду,
не ждя, ворочаясь в последнем
небе, и алюминиевые тени
безвинно льнут к плечу.

Александр Ревич

ПОЭМА О ЗВЁЗДНОМ НЕБЕ

...Хоры стройные светил

М. Лермонтов

Ни звёзд, ни гнёзд, ни лучика, ни свиста
ни полночью, ни среди бела дня,
луна всегда туманна, солнце мглисто,
и дым густеет, небо заслоня.
Мы все говорим о Зодиаке,
созвездий вспоминаем имена,
тогда как их магические знаки
над городами скрыла пелена.

А где-то и когда-то среди ночи,
в степи расположившись на привал,
под россыпью лучистых многоточий
лежал юнец и бездну наблюдал,
простёрся навзничь, за голову руки,
глаза — в светящуюся черноту,
и от светил, казалось, плыли звуки
и в музыку сплетались на лету.

Вокруг бродили овцы и ягнята,
щипали стебли, блеяли, а он
лежал в траве и всё глядел куда-то

и слушал тишину и странный звон,
и странный звон, и голоса, в которых
пока ни смысла не было, ни слов,
ни знанья звёзд, мерцающих в просторах,
и не был отрок ни к чему готов.

Он знал, что может лев напасть на стадо,
что никакого проку от собак,
но думалось о том, о чём не надо
ни знать, ни думать, надо просто так
лежать и видеть, как в небесной шири
плывут огни с восхода на закат,
что каждой ночью в том же самом мире
всё те же звёзды хороводят в лад,
плывут по небу огненные знаки
испытанным путем — не наугад.

В ту ночь земля тонула в синем мраке,
бродили овцы, лаяли собаки,
за ближними холмами лев рычал,
он явно не скрывал свою досаду
и все-таки не приближался к стаду,
казалось, кто-то зверю запрещал.
Светало, приносил рассвет прохладу,
потом всходило солнце, как всегда,
и с пастбища ночного шли стада,
шли по-бараньи — скорбно и понуро,
к высоким стенам шли, к воротам Ура,
где пастухи войдут в тенистый храм,
чтобы молиться каменным богам.
Так что ни день обряд свершался старый,
и юный пастырь, сын седого Фарры,
склонялся перед камнем всякий раз,
моля о безопасности отары,
когда овец ночами в поле пас.

И снова ночь ложится на округу,
и снова отрок, лёжа на спине,

глядит, как звёзды движутся по кругу,
всегда по кругу, и, как в полусне,
нисходят звуки, волны многозвучий,
мигают в такт светящимся хорам,
и слышит голос полночи певучий
сын Фарры, сын язычника Аврам.
Полночный свод и стебелёк убогий —
всё это общий необъятный храм.
И разве могут каменные боги
начало дать бесчисленным мирам?
Но не открыть отцу, седому Фарре,
свои сомненья, старец свято чтит
родных богов, предаст он сына каре,
и от нее никто не защитит,
и боги, на кого велят молиться,
чьи имена велят твердить подряд,
и вот возникли каменные лица,
недвижные черты, незрячий взгляд,
и отрок стал у них просить прощенья
за мысли непотребные свои,
и вновь узрел далёких звёзд свеченье,
и не сходили звёзды с колеи.
Но кто же тот создатель и водитель
всей бесконечности и всех миров?
Кто заселил вселенскую обитель
и смертным дал еду, питье и кров?

Москва. Век двадцать первый. Небо в тучах,
и луч с трудом их пелену пробил,
и не звучит хорал орбит певучих,
таинственная музыка светил.
Ещё не стал наш май весенним маем,
он дремлет, нашу будущность тая,
и до сих пор мы ничего не знаем
о потаённой сути бытия.

А между тем под звёздами в провале
веков несметных, глядя в небосвод,

лежит юнец и слышит звуки дали
и чувствует сквозь сон, как всё плывёт,
как всё плывет, раскручиваясь кругом:
и этот луг, и на лугу стада,
и сам в коловращении упругом
он стал частицей мира, как звезда,
он чувствует весь мир единым храмом,
он голосом далёким удивлён:
«Аврам, ты будешь зваться Авраамом,
отцом родов премногих и племён».
И всё умолкло — доли и высоты,
и звёзды немые, словно он оглох,
и в страхе шепчут губы: «Кто ты? Кто ты?»
И слышится издалика: «Твой Бог».

11 мая 2006 г.

Дмитрий Румянцев

EIN MÄCHEN AUS ALTEN ZEITEN

То еврей-часовщик,
задержавшись на пражском мосту,
слышит через перила шептанье пророка, то подле
ходит статный капрал,
женолюб, австро-венгр, шутник,
вертит мысль, словно та
тяжелее тележной оглобли.

А на крышах — стрижи,
а на кухнях скрежещут ножи,
и волна нагоняет волну,
как стежки белошвейки.
И река облаками из лодок бурлит. И блажит,
искривляясь,
как будто властям не хватало линейки.

А премилые чешки,
что чешут то лен, то язык,
возле барки полощут белье да своих ребятишек,
и старинный собор,
напрягая гранитный кадык,
разглашает орган,
расплескав благодати излишек.

И плывут облака, как купальщики, над головой.
И качается солнце, как розовый шар надувной.

Так проходит июль по реке
и торговкой юлит,
предлагая корицу и пряжу, шмотье и булавки.
А еврей-часовщик
точно время само мастерит,
и капрал негодует,
прося у кокотки отставки.

И досужие слухи слагаются в письменный факт,
и мальчишки, как в воду, ныряют в стремнины атак.

Что ушло, то и свято,
а то, что мы жизнью зовем —
полосканье белья, вестовой, прискакавший из Вены.
Человек над мостом. И река отражается в нем:
старит шепчущий рот и вплетает седины из пены

пеплом в патлы... Меж струй
отраженьем скользит человек,
или судьбы, меняясь, скользят по его отраженью?
А в реке — борода Илии, в ней запутался век.
И часы осыпают над Влтавой песчинками — снег:
он садится и тает в воде, уносясь по течению...

ХЕЛЬГЕ

Нам встретиться никто не помешал...
А бог заката согревал ладони,
когда искрой прошибло нам сердца,
и осень занялась.

Мы были юны,
как смерть листвы,
красивы, как сентябрь.
И по подъездам впитывали запах

сбежавших щей,
назвав его — свободой.
Нас быт дарил избытком бытия.

А на квартире умирал поэт
с железкой в животе. В тридцать седьмом.
И так уже почти два века...

Белым
мело из книги —
там была метель:
венчанье, ужас, обморок и встреча.
А нам хотелось на двоих —
два века.

...Над черною рекою фонари
искрили и, горя подслеповато,
стояли редким строем.

Как возок,
накрытый деревянною дерюгой,
скрипела лодка.
И рыбак заядлый
нас перевез за реку, вслед за солнцем,
пока оно совсем не закатилось.

Гуляя в парке, я читал стихи:
«как нам велели пчелы Персефоны...»
Мы были юны,
а когда вернулись,
рыбак сказал, что лодка затонула.
— А как назад? — ты спрашивала робко.

— Посмотрим...
Скоро будет утро,
Хельга.

ФРИЦ НИМАНД, НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Ульму, родине Эйнштейна

Ни слова обо мне, Альберт Эйнштейн!
Я лягу через тридцать дней под Ульмом,
не дотянув до двадцати пяти.

На дне противотанковых траншей
мне будет безразлична скорость пули,
и бесконечность лжи, когда застыну,
лапшу червей пуская из ушей.

Пройдя сквозь ад и Курскую дугу,
оставив заварившуюся кашу,
я, школьный дурачок, насмешка класса,
вдруг встану в полный рост — и побегу
от кухни полевой, где скреб посуду.
Чтоб в новом веке, провалив экзамен,
отличница, тихоня с Фриденштрассе,
нашла бессмертник, плача на лугу.

Но выползет латук через глазницы,
и я увижу землю в Новом Свете,
Альберт Эйнштейн... Я узников Дахау
по пеплу Хиросимы проведу...
Пускай они идут за слабоумным —
все, кто от горя потерял рассудок...
Горят мои спаленные ресницы,
рыжея, — в Александровском саду?

Я свято верил Вермахту и Богу,
но вербою пророс, и оказалось —
в глазах стоят погасшие светила,
в ногах — звенит раздавленный сверчок.
Альберт Эйнштейн, я все б хотел исправить!..
У вечного огня сгорает память.

Придет из Ульма и язык покажет
кому-то, сев на камень, дурачок.

РИМЛЯНКА

В этот год
собрали добрый урожай,
и отец рассказал мне,
как волк-альбинос зарезал теленка
в тот день, когда мать разрешилась Авлом.

Осень была неожиданно теплой,
и виноградные косточки,
особенно под вечер,
казались сосками кормилицы,
которая ходила за мной в детстве,
и в чьих глазах стояли теперь слезы старости
или показанные ею звезды моего отрочества.
В этом году они светили в последний раз —
непередаваемо ярко.

А когда начались дожди,
соседский вол, оскользнувшись на переправе,
утонул в Тибре
вместе со всей поклажей,
и Фабий-погонщик бежал от хозяев.

До сих пор о его будущем толкуют по-разному:
мужчины с убеждением и издевкой,
женщины с недомолвками и вызовом,
но страшнее всего — молчание стариков.
Тем сильнее
я уважаю суровость отца.

В этот год на небе не было ни хвостатых огней,
ни черных знаменей,
и никто из богов не гневался из-за жертвы.
А цветы пахли так, как будто я еще не знала мужчины.

А ближе к зиме — ослепительной ночью,
высвободившись из объятий уснувшего Луция,
я вышла во двор
и после пяти лет брака
впервые познала это:
молодая луна шевельнулась под сердцем,
выполнив давнее обещание.
И я не смогла удержаться от слез.

«В этот год, — пишет Тит Ливий, —
не случилось ничего достопамятного».

ГИПНОС

Македонская конница входит в Афины.
Из ноздрей лошадиных врываются птицы
в ослепленные окна, где боги из глины
допускают пернатых в пустые глазницы,
в приоткрытые рты, говорящие: — Ох, нам!..
...Черепки перебитых голов и кувшинов.
Запекается кровь на песке, словно охра,
в облака неживые глаза запрокинув...

Но молчат мертвецы, и немотствуют звезды.
Спят афинские дети в последних объятьях —
на руках матерей, не по-детски серьезно,
точно выросли в этих смертельных занятиях.
И пожар до зари пожирает Акрополь,
и дрожит уцелевший, как лист олеандра...
И один из убитых — лицом Аристотель.

Этот сон напугал Александра.

НА РЫНКЕ

Кедровый орех да брусника, да клюква. Один в торговом ряду он торчит под тулупом: чернявый, огромный мужик. Как толстовский Платон Каратаев — стихийный мудрец... и таежник, что ездил в Харбин, кто знает, как ставить силки, как крошится хитин, повадки синиц, трясогузок, лисиц, горностаев.

Он дышит, как зверь. Он косматую лапу сует тому, кто приблизится темную ягоду выбрать. Он здесь, как в воде взбаламученной хищная выдра. Горазд торговаться. И любит вымысливать счет минутам тягучим, большим. И когда подохнет — не знает наверно никто, что из этого выйдет.

Трудяга, честняга, хитрюга. Похож на лису оскалом. С рогатиной молча идет на медведя. Вот он-то и держит качнувшийся мир на весу на зависть пришедшим в движенье народам, соседям. ...Вот он отстоит в полуночном соборе молебен, и двинется в глушь, восвояси, как будто к Христу за пазуху:

в оттепель — посуху...

ДЕКАБРЬ ВТРОЕМ

Хельге и Платону

Бесплодный день, бесплотный, как тоска, утих, прошел. И ночь легла — густая. На окнах — итальянская святая — Мадонна? Нет? Ах, да, Мадонна, та,

что в Дрездене, в Картинной галерее (где был проездом — был закрыт музей: музейный день). А здесь, где победней и небеса, и стогны — на стекле и,

как кажется, поверх голов и крыш —
Мадонна. Да! С младенцем Иисусом.
И мир мой — город, обойденный вкусом,
согрел мечту...

...Ну, вот и ты молчишь.
Ребенок спит, и над его кроватью —
окно, и в ночь — мучительный провал.
Он никого еще не предавал...
Он только спит. И вдаль машины катят.
Но кажется тебе, что не от фар
Сияние...

* * *

Вольфрамовый паук, плетущий в лампе сеть:
ночному мотыльку опять не улететь?

Пока он бьется здесь, я в мире не один:
как трется о стекло крылатый Аладдин!

Загадываю жизнь, загадываю свет,
догадываюсь ли, что это солнце — смерть?

Что льнет во тьму, из тьмы пытаюсь убежать?
Мне не достанет слов, чтоб это оправдать...

Я выключил ночник, я сердцем вижу, как
он движется на свет, хотя повсюду мрак.

Александр Руденко

* * *

Вкривь буреломной медвежьей тропы
темные ели стоят и дубы,
вкось — можжевельник, орешник и бук...
Воздух от шелеста крыльев набух:
филин скользит над речушкой вращая,
крепко гадюку сжимая в когтях.
Сумерки всех подступающих зим
медленно тянутся следом за ним.
И для тебя в их дыхании есть
легкая весть и тяжелая весть.
Можешь ворочать плечом бурелом,
бурю раздвинуть широким крылом,
снова разжечь терпеливо очаг
и — не замерзнуть в холодных ночах.
Но... Звездный путь над тобою кружит,
свет его тайный в речушке дрожит,
больно шепча — не уму твоему,
сердцу, — что надо идти одному.
С теньями дня отлетевшего врозь,
сквозь пересуды людские и — вкось;
перед призывом своим не схитрив —
мимо капканов, приманок... и — вкривь...
Филин, летящий вдоль звездных огней,
да не отпустит змею из когтей.

Да не привяжет надежды к теплу
 время твое, истекая во мглу.
 В снежные вихри за горной грядой
 да не вращешь бородою седой...

* * *

То юноша, то снежный вихрь,
 то свет свечи, то полудемон
 полуседой, — в ночах твоих
 таким он был...
 И — был тебе он
 любовник, муж, отец и брат:
 с приземной до надзвездной шири
 вращался в пламени квадрат —
 четыре стороны, четыре
 бездонной глубины угла,
 откуда в сон врывались знаки...

В углу «Отец» клубилась мгла;
 скала вставала в полумраке,
 лишь тонкий белый луч скользил
 к подножью от вершины скрытой.

Ветрами угол «Брат» сквозил;
 там озеро плескалось рыбой,
 но только вековая глушь
 безлюдья
 обступала берег.

В пространство угловое «Муж»
 вращали яблони и вереск
 у мельницы — с размахом крыл
 за облака... и без предела...

И беркут в радуге парил
 в углу, где слово «Страсть» алело.

И, отрываясь ото сна,
ты видела: к тебе спиною
стоял он молча у окна,
покрытый лунной сединою.
Рука, протянутая в ночь,
опять подрагивала туго
и вдруг — перетекала в луч...
Но не было в тебе испуга.
Все, чем до этого жила,
сгорело, — больше не вернется.

И терпеливо ты ждала,
пока к тебе он обернется...

* * *

Ступенями уходит вверх
овраг — в еловые навесы,
где меж отверстий двух пещер
пьют молодые духи леса
вечерний хвойный холодок,
одеты в моховые ткани;
и хрупкий водяной поток
обрушивается на камни.

Улыбками твой острый взгляд
встречают духи — в дымках тают
и новый день тебе сулят
взамен того, что истекает.

Пускай они хранят в глуши
свои фантазии и веру —
ты им рукою помаше
у входа в правую пещеру.
Безмолвье в ней, как кисея,
падет — ни холода, ни грея;

и снова ощутишь себя
деревьев старше, гор — старее.

Огня не разжигая, здесь
ты встретишь ночь — ее вбирая
и в кровь, и в мысль...

Но помня: есть
пещера за ручьем вторая.
Там мышь летучая парит,
движеньем воздуха задета,
где скрыт глубокий лабиринт,
ведущий в сторону рассвета.

Через него — в поток минут
под ветер, под радужные дуги,
под зной — опять пройти зовут
лесные молодые духи.

Опять — тропкою не слепой, —
рассказ воды бегущей слыша
о том,
что с ними и с тобой
пребудет на земле и выше...

Владимир Светлосанов

* * *

Я возьму на себя ответственность
И отвечу за все, как есть:
И за волчью в крови наследственность,
И за кротость овечью.

Честь,

Береженную мною смолоду,
Наизнанку не вывернуть;
Отпустить раскольничью бороду,
Застолбить прямоезжий путь
Не пришлось; на пути окольные,
Шароварами шелестя,
Выходить не пристало. «Сколько мне
Лет, Савельич?» — «Еще дитя».

* * *

И шатко, и валко. Валуйки.
На юг повернув от Хопра,
Вихляются рельсы, как струйки,
налево-направо-напра...

Напрасно донецкие степи
 твой взгляд норовят уловить, —
 Здесь было бы, право, нелепо
 Парням молодым выходить.
 Никто не выходит до Крыма,
 И прочно стоит на земле
 Все то, что проносится мимо, —
 Смотри хоть напра..., хоть нале...
 Налей мне еще из титана
 Сомнительного кипятку, —
 Стук ложки о стенку стакана
 Я слышать, как ты, не могу.
 Как струйки, вихляются рельсы
 Налево-направо-напра...
 А ветер горячий и резкий
 С Изюмского веет бугра.

* * *

Громада двинулась ... надулись паруса ...
 Редет облаков (остановись, цитата!
 Прекрасна ты, как в море полоса
 Светящейся воды, как Лунная соната,
 Как Млечный путь) ... Печаль моя светла ...
 Печаль моя жирна ... Две три случайных фразы
 Меня преследуют ... Лежит ночная мгла
 На холмах Грузии ... Жирны и синеглазы
 Стрекозы смерти ... Как лазурь черна!..
 О боже, как!.. Одной тобой полна
 Печаль моя ... — Цитата есть цикада
 (Цикуты нет, когда она нужна).

* * *

Листву сжигаю. Зимний Симеиз,
Соизмеримый разве с мирозданьем
По части пустоты. Дубовый лист
Сворачивается перед закланьем,
Дымится и противится огню.
Я в санатории работником хозчасти
Служил, смеясь, надеясь, что сменю
Хитиновый покров советской власти
На греческий хитон. Всегда, увы,
Прозрение приходит с опозданьем.
Беспламенное тление листвы,
Воспоминанья облагая данью,
Отечеству противопоставляет
Дым, только дым, и больше ничего.
И, кажется, уж роща отряхает
С нагих своих ветвей лишь для того
Последние листы, чтоб я их жег и жег.
Семирамида. Симеиз. Смолистый
Дымок костра от ветки кипариса.
Висячие сады закрыты на замок.

* * *

Солярным мифом Салехарда,
Тяжелым солнцем, темнотой
Ямало-ненецкой, полярной,
Горюче-смазочной, ночной,
Очерчен круг непопулярный
И всяк, кто за его чертой
Согреться в будущем не тщится.

А нам, южанам, ночью вдруг
Сиянье северное снится,
Как им, гипербореям, юг.

«О, этот юг!» ... О, этот Диксон!
Щемящая тоска вокруг.

Новосибирск. Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Здесь я родился и, гляди-ка,
Живу уже давным-давно.

Мне все здесь близко и знакомо,
Особенно ж/д вокзал.
Литературе, впавшей в кому,
Здесь я любезность оказал ...

Бывает, подскочу от крика
Средь ночи: нет — еще живу!
Новосибирск. Хоть имя дико.
Иные ж — дичь по существу.

Анатолий Соколов

* * *

Дорогая, давай полетаем,
Навсегда улетим в никуда.
Скоро жизнь до конца пролистаем,
Взвесим прибыль ночного труда.
На прощание с именем Божьим
Постоим у родимых могил...
Неужели увидеть не сможем
Всех, кто нас беззаветно любил?
Вопреки предсказаньям науки,
Скоро грянет назначенный час —
И придут сюда дети и внуки
Безнадежно оплакивать нас.
Ветер мусор гоняет по пляжу
И поет, словно нищий метек.
И как раки в кастрюле, все пляшет и пляшет
Чернь из баров и дискотек.

* * *

Кажется минувшее былинкой —
Ты уже не нужен никому,
Но душе, как птице перед линькой,
Жаль терять привычную тюрьму.
Оставляя правду осязанья
В карусели сумасшедших дней,
Загрусти по яблокам Сезанна,
Потерявший Родину Эней.
Приголубить нежную Дидону
Не велит кремнистая звезда —
Неужели этому пижону
Светит участь Вечного Жида?
Пыльная шоссе́йная наука
Открывает нашей жизни суть:
Погулять и — в мураве без звука
До Христова праздника уснуть.
А проснувшись — поздно просыпаться:
Ты во сне еще успешней смог
С тенью сумасбродного испанца
Завязать галантный диалог,
Бьется сердце чаще и сильнее,
И сегодня всех живых живе́й
Дон Кихот с мечтой о Дульсине
Носится, как с песней соловей.
И хотя проигрывал все матчи,
И любви жар-птицу упустил —
Миф о дворянине из Ламанчи
Только трезвым умникам не мил.
Что, поэт, от запаха наживы
Прячешь нос в атласное жабо?
Кто в оффшор спустил твои активы,
Понял вдруг: ему уже слабо
Царственным бомжом в чертополохе,
Глядя в лужи грязное трюмо,
Чуют, как автопортрет эпохи
Прожигает вечности клеймо.

* * *

Плачь Ярославной, дева в платье бежевом,
В сумбурной жизни вечно неполадки:
Том Мандельштама в сумке с мертвым пейджером,
И недра дискотеки кисло-сладки.
Хотя октябрь раскинул перед взорами
Пасьянс бульваров, ярких, как комета,
Между тобой и мной мосты не взорваны,
А сгнили, развалившись незаметно...
Ломоть батона мажешь маслом сливочным,
Пьешь крепкий чай с египетским лимоном,
Но вдруг воспоминанием обрывочным
Душа тебя трясет бесцеремонно,
Как в греческой трагедии без зрителей...
В окне буран кипит молочным супом,
Хруст листьев скорпионов отвратительней,
И муха в стену ввинчена шурупом.
Укором обезлюдевшей окрестности,
Заставив смолкнуть в сквере хоры дичи,
Повис свинцовый ужас неизвестности,
Как фон в портретах позднего да Винчи.
Я прогуляю тело возле тополя,
Оставшегося за ночь безволосым,
И тень моя, похожая на Гоголя,
Свой подбородок совмещает с носом.
И кажется темней шкатулки лаковой
Мой бывший дом, где враг трубит победу.
Меня другая обнимает ласково...
Я никуда отсюда не уеду!
Снег, наждака нежнее и шершавее,
Лежит на сучьях сосен темно-рыжих,
Любимая — оплот самодержавия —
Давай с тобой прокатимся на лыжах?

* * *

Новосибирск в ненастье глуше хутора,
 Дни тянутся гурьбой одни и те же,
 И в добровольном рабстве у компьютера
 Душа общаться с музой стала реже.
 Дождь льет и льет с неистощимым бешенством,
 Шумит с утра до ночи неустанно,
 И я тебе представляюсь жалким беженцем,
 В Сибирь попавшим из Таджикистана.
 Небесной канцелярии претензии
 Телеграфируй, сердце, из подъезда,
 Пусть одурманит запахом гортензии
 До смерти нас двухкомнатная бездна.
 Мы отгуляли вместе дни рождения,
 Прошла любовь, но все же помним оба,
 Как наших чувств роскошные растения
 Тянулись вверх из книжного сугроба.
 Ужели чувства были только книжными,
 И смерть их нам не нанесла урона?
 Сидит, блестя очами неподвижными,
 От слез окаменевшая Горгона.
 Обвешан куст стеклянной бижутерией,
 Труб водосточных кашляют свирели...
 И в новой жизни похоть с бухгалтерией
 Отпразднуют победу неужели?

* * *

Н. Смородниковой

Пока шумит берез китайский веер
 И нагоняет холод в города,
 Из пункта «А» реки большой конвейер
 Уносит мое горе в никуда.
 Смотри, как вьется лентой темно-синей
 Ленивая сибирская река,
 Боярышник рассерженной гусыней

Терзает мою грудь исподтишка.
 И клен шуршит ногтями в маникюре
 (Не гей, не вор в законе, не святой)
 И отражает жизнь в миниатюре,
 Сверкающую нищей красотой...
 Вообрази над пригородной зоной,
 Как Обь, с похмелья поменяв свой жанр,
 Накроет вдруг волной серо-зеленой
 Моторки сухопутных горожан.
 О, страшный шум беснующихся фурий —
 Во власти их река на много миль...
 Что может быть в натуре лучше бури,
 Когда в душе — четвертый месяц штиль?
 На дно идите, скученные годы,
 Былой любви невыносимый гнет,
 Пусть картой в глубине речной колоды
 Козырной масти рыбка промелькнет.
 Ты помнишь, только загуляет осень,
 Дышала в окна близкая река,
 И на Фабричной в доме № 8
 С тобой цвели мы, словно два цветка.
 Бывает, мир представится пустыней,
 И песен звезд не слышно в небесах...
 Но ты выходишь с лентой темно-синей
 В небрежно взбитых пышных волосах.

* * *

Любимая, не надо хмуриться:
 Еще работают киоски,
 Реки ощипанная курица
 Готова к полной заморозке.

Царевна, симулякр вечности,
 Звезда, охрипшая сирена,

Спи, на груди сложив конечности,
В мешке из полиэтилена.

Хлебнув вина, соблазнам хаоса
Душа сдается без базара.
Пассаж из оперетты Штрауса
Издаст пустая стеклотара.

Чтоб не был пьяными прохожими
Затоптан в грязь прекрасный вечер,
Следи за ангелами божьими,
Поэт как авиадиспетчер.

Среди людского изобилия
Лишь у поэта нету пары.
Берез разодранная библия
Ковром покрыла тротуары.

На рейде пар спускает «Собинов»,
Зуб лунный ковыряя мачтой...
Сегодня вечером особенно
Жизнь кажется пустой и мрачной.

Жар-птицей листьев, снятых в панике,
Оплачены издержки роста...
И вновь снежинок многогранники
Приносят в город дух сиротства.

Проезд в авто чреват аварией,
Жужжит оса электродрелью,
И ты не хочешь разговаривать
Со мной четвертую неделю.

* * *

Мне дорог звон хрустального фужера
И тополиных почек нежный клей.
Ведь счастье человечества — химера,
А время мчится к смерти все быстрее,

Вокруг шумит парад самодовольства,
И слепит блеск коммерческих картин.
Вино любви теряет свои свойства,
Когда ты долго пьешь его один.

Душа всегда останется бездомной,
Но тело быстро чахнет от разлук...
Стремглав сквозь поры крепости двухтомной
Пройдет магнитной бури ультразвук.

И в ящике окна обледенелом
Врасплох однажды застаешь мечту,
Она, с чужим совокупляясь телом,
Грозит убить свою неполноту...

Гусь лапчатый, живущий всухомятку,
Все знает про любовь наверняка,
Он не умеет резать правду-матку
И мучит ночью тело языка.

Бог до суда хранит твои мгновенья —
Чего ж еще ты хочешь, волчья сыть?
Хочу, свирепой жаждой вдохновенья
Переполюнясь, быть или... не быть!

А дождь косматый вновь в центральном парке
Копытом твердым землю бьет, как конь.
И в небесах огни электросварки
Во сне пугают девушек-тихонь.

* * *

И сам не заметишь, как жизнь переедет экватор,
И сразу же город родной пропадет за холмом.
И в зеркале смотрит в упор на тебя консерватор,
Расторгнувший брак у души с беспилотным умом.

Желаний ковер-самолет из меню самобранки,
Сбивавший с дороги ума партизанский отряд,
Всегда загоняет русалок в консервные банки,
В консервное счастье, в сгущенной любви маринад.
Дай волю, старик, расштатавшимся к вечеру нервам,
Звездой размагниченный ум тарахтит невпопад...
Не радуют праздники в сумрачном царстве
консервном,
И аборигены не знают, что есть листопад.

У Новосибирска поджилки приборя трясутся,
Когда его берег с утра лихорадит от вьюг.
Консервная буря однажды посредством трезубца
Поймает меня и повесит сушиться на крюк.
Царь мира сего — неустанный ловец человек,
Какую наживку в охоте еще предпочтет?
А выберет он, головой хорошо покумекав,
Любовь, приключения, силу, богатство, почет.
Эпохе, в правах уравнившей охотника с дичью,
Поможет подруга украсть у Прокруста кровать,
Чтоб больше не прятать в рукав свою голову птичью
И носом железным мне печень свободно клевать.

Бульвару на Красном зима угрожает осадой,
Взяв штурмом Нарымского сквера крутой материк,
Душа под влиянием чар красоты беспощадной
Бросает знамена к немывтым ногам прощелыг...
В консервном раю неизменно сырая погода,
Цветет ревматизм, консерватор над рюмкой кряхтит,
Спартаковский мост на ремонт заморожен полгода —
Для связей со мной у подруги исчерпан кредит.

У чувств увядающих пышную бронзу декора
 За ночь консервирует серая патина лжи,
 А утром откроет свой фирменный ящик Пандора,
 Бродягам на дне оставляя надежд миражи.
 Консервному времени нравятся пышные сцены —
 Без страха разлить и испортить пятном пир горой
 Поставлю на стол алкоголя хрусталь драгоценный
 И блюдо с блинами, и амфору с черной икрой.
 И пусть в этой жизни рождаться и гибнуть не ново,
 Устал я спастись от стаи консервных обид...
 Заткни свой фонтан наконец, госпожа Пугачева,
 Дай мне напоследок послушать ансамбль Аонид!
 Раз желтые птицы стартуют с насиженных веток,
 И желтые дети гордятся консервной страной,
 Божественной музыки дай мне вкусить напоследок,
 И перышка легче — прощание с жизнью дрянной.

* * *

За хвост самолета цепляется птиц вереница,
 И третьей ногой для старух служат лыжные палки.
 Твой голос услышу, и плоть моя воспламенится,
 Но скоро погаснет, дымя, словно мусор на свалке.

Горит на ветру эскадрон гренадеров в кирасах,
 Вдруг рота гусар, разгоревшись, взорвалась, как порох,
 А чернь в это время пьет пиво на дачных террасах
 И тратит себя до копейки в пустых разговорах.

Костлявая осень бросает в людей воробьями,
 Проходит поэт сквозь каре тополей прогуляться,
 С похмелья страдает пропойца, проснувшийся в яме,
 А женщина видит в погонщике слов тунеядца.

В компании с музой, спиной повернувшись к быту,
 Я вновь позабыл расписание бури магнитной,
 У ночи октябрьской тело тугое, как битум,
 Его успокаивать нужно постом и молитвой.

С презрением к набитым цитатами энтузиастам
Ждут в воздухе мысли слова словно аэропланы.
Цыганкой гуляя по улице в платье цветастом,
Осенняя буря коверкает смелые планы.

Нарежет ломтями поэт циферблат каравая
И так загуляет, что вскрикнет солдатская койка,
И как хорошо, что у женщины память плохая,
Ей даже в любви повторяться не страшно нисколько.

* * *

Мои стихи заводятся как мыши,
Как плесень козырей в колоде карт,
Когда сосульки-градусники крыше
Под мышки устанавливает март.
В пространстве жизни мрачной и сутулой,
Похожей на облупленный дурдом,
Уже огонь души почти задуло,
И шамкает зима беззубым ртом.
Я позабыл, когда мне было тридцать...
Разносит тело в клочья бури вихрь.
Страна родная как императрица
До гроба любит подданных своих.
Как, Господи, друзей осталось мало,
Но сохранились в памяти еще
Дурман бараков, запах коммуналок,
Благоуханье каменных трупоб.
Могилы стариков грызут старухи,
К застойным дням любовь в груди горит.
В роскошном царстве злобы и разрухи
В большом фаворе бронза и гранит.
Ковчег мой мелкий грузопассажирский
Пустился в путь под колокольный звон.
Я пышно расцветал в Новосибирске,
Пусть мою осень нынче видит он.

* * *

На цветном деревенском морозе
Куры роются в снежном пюре,
Дятел, выучив азбуку Морзе,
Долбит в дереве точки с тире.

Почему обмороженной кожи
Цвет бумаг из столичных контор,
И мужик молчаливей вельможи
С похмелюги смолит «Беломор»?

Еле движется стихотворенье
Без идей, вызывающих шок...
Строчки Пушкина пахнут сиренью,
Пробирают до самых кишок.

За околицей царство ребенка
Заражает своей чистотой,
Отелилась в пригоне буренка —
Почему ж в моих мыслях застой?

И взлетают, как птицы над бором,
«Кто», «когда», «отчего», «почему»...
Жду: какой-нибудь гость разговором
Вдруг рассеет душевную тьму.

Заходи — коллективно завоем
Попурри из родных мелодрам
Пилигрим, под собачьим конвоем
На снегу оставляющий шрам.

* * *

Т.А. Ермоленко

Мокрый день, и снежная крупа,
В подворотне курит шантрапа,
В дебрях придорожного бурьяна
Кончился у птиц ангажемент.
Пользуется сквера фортепьяно
Спросом до ноябрьских календ.
Ты несешь домой от церкви к цирку
Апельсины дочери-подруге,
На доске пространства чертит циркуль
От тоски окружности и дуги.
А зима приходит в платье белом
И бросает, чуя силы убыль,
На ладонь, испачканную мелом,
Сморщенный от ненависти рубль.
Ласточка, снежинка, Лорелея,
Отвечай глазами на вопрос:
Почему горит, меня не грея,
Бледный и бессильный цвет волос?
Рядом кружит ветер в желтой кофте,
Точит зуб во тьме блатная рать.
Нежные цветы имеют когти —
Могут душу в ключья разорвать.
Мне с тобой сегодня не до шуток,
Мы, тоской друг друга утомив,
Ждем, когда очнувшийся рассудок
Запретит любви тяжелый миф.
Встречи миг короче, чем мизинец —
Пей, дружок, разлуки горький яд...
Город стал похожим на зверинец —
Не заметишь, как тебя съедят.
Испечет ноябрь чудо-торты,
К четвергу из крупчатой муки.
Жилмассив осенней мглой затертый,
Как «Челюскин», взвояет от тоски.
И душа поэта Соколова
С трюмом, полным кающихся вдов,

Отойдет от берега родного
 И бесследно сгинет среди льдов...
 Я живу бедней церковной мыши
 И неважно выгляжу анфас...
 Так зачем ты мучишь сердца мышцы
 Васильками выплаканных глаз?

* * *

Ледяным, мохнатым зимним утром
 Душный мрак жжет кожу, словно йод,
 А душа летит в такси маршрутном
 К дому, где меня никто не ждет.
 Даже книги будто мне не рады
 И все время валятся из рук...
 На пути сугробов баррикады,
 Стужа и безмолвие вокруг.
 Небо в январе темнее снега
 Падает на лозунг «миру – мир»...
 Доходяга, бабочка, коллега,
 Безделушка, Бог твой ювелир.
 Рощи облетели, поле голо,
 Мрачен политический режим.
 Голосами грубого помола
 Друг на друга больше не кричим.
 Но еще грустней тебя молчащей
 Наблюдать, не распечатав рта.
 Сердце заставляет биться чаще
 О любви несбывшейся мечта.
 Не жалею, не зову, не помню...
 Глеет жизни скрученный табак,
 Входа нет в души каменоломню
 Для красивых женщин и собак.
 Кто ж тогда вверху так жутко воет,
 Что уже не хочется заснуть?
 Или вновь любви гиперболоид
 Прожигает каменную грудь.

* * *

Жестоко в городе январском
По окнам бьет метели плеть
Ты, сытый злобой и коварством,
Решаешь завтра умереть.
Как школьник, выучив уроки,
Откроешь серый, пыльный том:
«Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом»
Какое море, ветер, парус!
Что кинул он в краю родном?
Бог сыплет с неба звезд стеклярус
На мэрию и на роддом.
В квартире все тебе не мило,
В тумане пуля ищет грудь
У Лермонтова Михаила,
И не блестит кремнистый путь.

* * *

С.Гуревичу

На крутых небесах расплзаются звезд муравьи,
Гамлет выйдет курить за ворота панельного замка,
На алмазе души, израсходовав зубы свои,
Трет нужда организм, словно плечи бурлацкая лямка.

Нахлобучив на голову толстый мешок темноты,
Разжевала последнюю порцию ночи скотина,
Распускаются нервы, и пышно клубятся цветы
Сна, в правах уравнившего принца и простолюдина.

Любит Бог коротышек, у них превосходная статья,
В полдень жизни чугунные тени мощней и короче,
Во все стороны вечности бросилось время шатать
Неразношенный разум, измученный ужасом ночи.

Завершается жизни упорный, бессмысленный труд,
 Полный громом побед и подсчетами спущенных петель...
 Доверяться любимым опасно: за грош продадут.
 Разве женщинам свойственна в черные дни добродетель?

И невинность Офелии зря стережет фаворит,
 Добираться до сути в ней скучно и конным, и пешим...
 Почему ж о любви каждый встречный с тоской говорит,
 Будто был в ней всю жизнь не преступником,
 а потерпевшим?

Если жертвовать долгом во имя прекрасных очей,
 Превратится отчизна в забытую Богом обитель...
 Входит принц на Спартаковский мост эфиопа мрачней,
 И в любви, и в убийстве себя проявив как любитель.

И наперсник угрюмый его, далеко не старик,
 Но не рад уж давно ничему, утомленный изжогой,
 После смут социальных и жгучих дворцовых интриг
 По ночам обожая курить над железной дорогой.

Прячет стены дворец под коростой ужасных картин,
 Горы пыли жемчужной скопились в углах помещенья,
 Гамлет десять веков в Эльсиноре кукует один,
 Водку горькую пьет и у призраков просит прощенья...

Обращает внимание редко на свой экстерьер,
 Занавесившись дымом от слуг и от бешеной скуки:
 Никогда не хватает ни денежных средств, ни манер,
 Ни смолы кругового терпенья для штурма науки.

Ночью, кажется, мельница времени трёт все подряд,
 И луна в облаках уже пенится гуще, чем мыло...
 За окрестности юности жадно цепляется взгляд,
 Если тело родные владенья уже позабыло,

Поднимает буран обесцененный вихрь бумаг,
 Снегопад гримирует фасад стоквартирной ночлежки,
 Отзываются всплески стихий помрачением в умах,
 Но борцы за здоровье уже начинают пробежки.

О, плешивый подросток, глаза опускающий вверх:
 На часах гастронома уже половина шестого...
 Снег над городом кружится курам заморским на смех —
 И предчувствует сердце явление Царства Христова.

* * *

Уже не так, как раньше, мучит
 Обиды горькая полынь.
 И опыт пошлой жизни учит:
 Нет ни героев, ни святынь.
 История — возня в лакейской
 Из-за доходов и чинов...
 Все брызги слякоти житейской
 В тебя попали, Соколов?

* * *

Двуногое в перьях во тьме закричит кукареку,
 И звери домашние станут от голода выть,
 С кисельного берега брошусь в молочную реку,
 Заранее зная, что мне ее не переплыть.

В такие мгновения все вспоминается снова:
 Короткие слезы от дыма затопленных бань,
 Тяжелая, нежная пыль большака продувного,
 Где сбоку сложил свои ржавые кости комбайн.

Блины да картошка и злая заморская сказка,
 Лай уличных псов под лучом однорогой луны,
 И кажется, будто тевтонские рыцари в касках,
 Висят на заборе кастрюли, пимы, чугуны...

Крути-не крути, мы продукты крестьянской работы,
 Что б ни говорили о наших корнях доброхоты.
 В родимой деревне, где в каждом окне по цветку,
 Внутри кукареку поют, а снаружи — ку-ку.

Пусть каждый земляк будет в новую жизнь переизбран,
 Но первыми встанут из гроба отец мой и мать...
 Всего за три сотни души поклонюсь в ноги избам
 И вновь в опостылевший город уйду умирать.

* * *

Воцаряется в Моткове сладкий запах запустенья,
 Из двенадцатидюймовки по деревне шпарит гром.
 Неожиданно желтеют все окрестные растенья,
 Свалку сеялок и жаток обнаружив за бугром.
 От тяжелого удара зашаталась в доме стенка,
 В палисаднике пылают три рябиновых костра,
 В бухгалтерии страданий Александра Денисенко
 В роли вечных кредиторов папа, мама и сестра.
 Отпирает ящик бедствий в биографии Пандора,
 И поэт, коровки божьей созерцающий значок,
 Прежде, чем перекреститься и принять стакан кагора,
 Сплел на лбу пучок морщинок с бородой из впалых щек.
 Для торговцев пьяной смертью этот парень

костью в горле,

У него в груди все глуше производит сердце шум
 В октябре народ российский на поэзию прожорлив,
 Любит песни Александра как источник светлых дум.
 А в Михайловском пространстве бродит Пушкин

по аллее

(Вижу красную рубашку, не доехав три версты).
 Он заплачет беспощадно, станет в тридцать раз беднее
 От погибшей в русском поле невозможной красоты.
 Мир родной зимою пахнет, сам себе противореча,
 Там, где роща зеленела, среди нив чернеют пни.
 Только раз в тысячелетье, может быть, случится встреча
 Двух осенних вдохновений возле пасмурной Ини...
 Вдалеке гнедые кони днем рассеялись по лугу,
 Мужики, отцы семейства, вероятно, час подряд

Разноцветными словами ткнут приветствия друг другу,
 А потом на косогоре, молча, грустные стоят.
 А внизу Иня струится на свиданье с полной Обью,
 В поэтические очи впился намертво ландшафт.
 Чтобы жить, не подражая своему правдоподобию,
 Выпьют русские поэты из горла на брудершафт.
 И пойдут, смеясь и плача, два прекрасных Александра,
 Два обнявшихся пророка в затуманенную даль...
 Сверху каркает ворона, черномазая Кассандра,
 Мимо них учитель сельский давит сердцем на педаль.
 Дол, наплакавшийся вволю, накануне зимней стужи.
 Понял: осенью в тумане каждый станет никакой...
 Вдруг с поэтами подмышкой, перепрыгивая лужи,
 Побежит огромный тополь к электричке за рекой.

* * *

Изба-старуха в ватной кацавейке,
 Заросшая землей до самых глаз.
 Какой анахронизм в двадцатом веке!
 Здесь русский дух. Он жидкость или газ?
 А может, это плоть, где нету духа,
 Облеплена подсолнечной лузгой?
 Здесь вечно благоденствует разруха,
 Не Русью пахнет — бедностью людской.

Для странствующих в мире ради Бога
 На стол поставлю воду, соль и хлеб...
 И словно марсианская тренога
 Среди полей торчит опора ЛЭП.
 Рвись, туча, над поверхностью речною,
 Бей градом опаленное жнивье...
 Автопортреты Родины со мною,
 Но нет уже в живых самой ее.

* * *

В. Клименко

Крылья окон, словно крышки гроба,
 Раскрывает ветер створки рта...
 Разве может быть святая злоба?
 Может быть святой лишь доброта!
 Заревет железная гагара
 В жестком оперенье голубом,
 Ветвь с цветами русского пожара
 Доставляя в европейский дом.
 Содрогнитесь, нежные народы,
 Вот яйца кощеева секрет:
 Скорчившейся статуи свободы
 Голый и обугленный скелет.

* * *

Услышав слова на тюремном жаргоне,
 Откроешь глаза кое-как с бодуна
 И вдруг обнаружишь, что мчишься в вагоне,
 И в грязном окне отразится страна...
 Мелькнет полунищенский быт полустанка:
 Десяток домишек и свора дворняг,
 Здесь в ситцевом платье стоит негритянка
 И держит в руке федерации флаг...
 Увидев, не можешь сдержать удивленья,
 Хотя эпизод — не смешной анекдот.
 Меняется облик и цвет населения,
 И даже язык уже нынче не тот.
 Раз в жизни решился вскочить на подножку,
 Три четверти жизни крестом зачеркнув,
 Я в быт поездной уже врос понемножку,
 Но гнусное радио чистит свой клюв...
 Нас будут в дороге насильственно пичкать
 Подобранной местным гурманом попсой.
 Подохни с натуги, железная птичка!
 О, будьте блаженны, Высоцкий и Цой!

В последнем вагоне Содом и Гоморра:
 Кавказец, старуха и бывший зека
 В корзине лежат тридцать три помидора,
 И прячется мина на дне рюкзака.
 Смеются и плачут в ковчеге плацкартном,
 Несущемся с севера рысью на юг...
 В дороге не вздумай довериться картам —
 Иначе рискуешь остаться без брюк.
 Нашелся земля по имени Вадик,
 Он только из зоны и вдребезги пьян
 На нем кирзачи и потрепанный ватник,
 Но сразу же видно, что он из дворян.
 Окрестная флора меняет ливреи,
 Морозит, а в поезде летний режим.
 На родине мы, как в Египте евреи —
 Скажи: от кого и куда мы бежим?
 Наверно, не в ту мы родились эпоху,
 Толпа одиночек — не грозная рать.
 Да, беженцы мы, хотя каждому лоху
 Известно: нельзя от себя убежать.

* * *

Усталый, вспотевший я встал из дремучего сна,
 Ветвями за душу сон долго цеплялся упорно...
 Какого ж тебе, Соколов, еще надо рожна:
 Бутылку кефира и радости теплой уборной?
 Растрепанных чувств уже полон капустный кочан,
 Для их воплощенья любая годится погода...
 Не жизнь, а букет антиномий у односельчан,
 Штурмующих реку истории в день ледохода.
 Колхозным порядкам в деревне объявлен бойкот,
 Всю ночь щиплют воздух провинции серые совы,
 И празднует свадьбу в саду вожделения кот,
 Но день наступает одетый в костюмчик джинсовый.
 И мне по утрам по колену тринадцать морей,
 И лошадь галоп претворяет в живой амфибрахий,

А срочный ручей свою рысь воплощает в хорей,
 Гекзаметром дышат ночные абстрактные страхи.
 Дымится сигарка в высоких зубах ивняка,
 Но ночь не желает признать своего поражения...
 Для твари у Бога нет воли на дар языка,
 И ждут от меня эти бестии средств выраженья.
 На зеркало поздно пенять, коли рожа крива,
 Но хуже, когда даже мысли кривыми роятся,
 И ты лихорадочно ищешь такие слова,
 Чтоб было еще на кого в этой жизни равняться.

* * *

Невтерпеж душе от русских песен,
 А без них она скорей умрет.
 Почему луны тяжелый перстень
 На воде не тонет, а плывет?
 Поднимает ветер черно-пегий
 Стаи водоплавающих грез.
 Дождь ночной, запутавшийся в снеге,
 Обдирает ржавчину с берез.
 Стонут флоры фурии в пейзаже,
 Принуждая фауну молчать...
 Милостивый Господи, когда же
 Перестанет жизнь во мне кричать?
 Неохотно листья ниц ложатся,
 Кроме тех, кто легок и упрям.
 Эшелон алмазного эрзаца
 До утра разбросан по полям.
 И холодной, серой, нежной мглюю
 На бордовый глинистый бугор
 Вдруг плеснет с отвагой молодою
 Из реки русалок мертвый хор.
 А художник, вымокший до нитки,
 Слушает, пока еще не пьян,
 Проводов высоковольтных скрипки
 Да осин ободранный баян.

* * *

Зимы имущество бесхозное,
Морозы, птичья болтовня...
Люби меня, пока не поздно,
Люби меня.

Над нищетою лесопосадов
И деревень полуживых
Еще не выпавший в осадок
Снежок танцует как жених.

Пока ты в розницу и оптом
Себя с похмелья продаешь.
Краюха хлеба пахнет потом,
Сугроб щетинится как еж,
Вороны стаей грампластинок
Над домом кружатся с утра.
Мир — вовсе не театр, а рынок,
И в нем нет места для добра.
Нас беспощадный дух наживы
Подстерегает как бандит.
Хотя сердца для чести живы,
И для любви простор открыт...
Давно размножены на фото,
Но не вместились в преискурант
Тоска рембрандтовских офортов
И дрожь бетховенских сонат.
Ликуйте стриженные овцы,
Ведь доблести цена — алтын...
И вряд ли явится к торговцу
Вдруг совесть, словно блудный сын.
И лишь звезды свечным огарком
Озарена юдоль людей...
А я не буду олигархом,
Не буду точно — хоть убей.

* * *

Дайте пилюлю и спирт для души заболевшей,
Чтобы она по ночам непрерывно не ныла.
Новосибирцу, обросшему мохом, как леший,
На барахолке сменявшему шило на мыло...
Не посвящая досуга проклятым вопросам,
Чтобы душа без любви голодала и мерзла,
Лучше вступить на корабль ахейский матросом
И созерцать круглосуточно волны и весла.
Хватит, беззвучно шумящие волны Гомера,
Слух мой калеча, друг с другом свободно калякать,
Вдаль за Прекрасной Еленой уходит галера,
Тела морского зубами попробовав мякоть.
Хищный форштевень в нее зарывался по уши
И, из воды поднимаясь, выплевывал пену...
Как ни старался, не смог свою клятву нарушить
Фауст, одним из последних ласкавший Елену.
Громко гордится она свежескроенным платьем
И перед зеркалом холит свои украшения,
Женщины вечность проводят за этим занятием,
Царского плена страшнее в любви пораженья...
Трои окрестность пресытилась смрадом и дымом:
Зевс, это ты мясорубки троянской инвестор!
И Агамемнон, на родине став нелюбимым,
По твоему наущенью убит Клитемнестрой!
Лишь Одиссей, собирающий хлебные корки,
Сразу подался к цыганам в кочующий табор,
Чтобы дремать на траве с самокруткой махорки
В красных губах, составляя букеты метафор.
Плоть изнасилась до крайности, штопай не штопай,
Лучше погибнуть, чем жить в окружении черни...
Скучно на острове медленно гнить с Пенелопой,
Если еще не размотан клубок приключений.
Он, как Кощей, не молился над каждой минутой,
И не стыдился одежды своей затрапезной...

В мире любовь остается священной валютой,
И конвертировать в доллар ее бесполезно.
Мир засыпает, объятый цветущей ленью,
Снег изготовлен из книжек, разорванных в клочья,
Только поэт настоящий с живым удивленьем
Чувствует звезды, бесшумно растущие ночью.

Ирина Сурнина

ЯРИНА

У бабушки с дедом,
В глуши выростала Ярина.
Достался от матери ей
Сарафан наговорный.
С утра надевает —
И солнце на нём станет видно.
В жару пробегают ручьи
По подолу проворно.
Качаются лёгкие травы,
Вздыхают деревья,
А то пролетит
И на ткани останется птица.
Ярина пройдёт —
И глядит на неё вся деревня.
Да некогда больно ходить
И на людях крутиться.
Как дедушка ставни откроет
И солнце ворвётся,
Скорей растопить
Дорогую кормилицу-печку.
За дверцей чугунной
Огонь вырастает и бьётся.
И в тесто замешивать можно
Всего по словечку.

А бабушка смажет
Гусиным пером сковородку —
И долгою, тонкою струйкою
Тесто польётся.
И солнечным хлебом, блинами
Наестся в охотку,
Где тёплое слово,
Как сладкий изюм попадётся.

— Ярина! Снеси-ка свиням
Отрубей и картошки!
Ярина идёт, и парит
Чугунок разомлело.
Ещё остудить.
Положить на щетину ладошки.
Почухать за ушком,
Чтоб свинка довольна сопела.
Голодные свиньи
Едят торопливо и жадно,
Взрывают носами
И чавкают с хрюком гортанным.
Убраться в обжитом хлеву —
Будет чисто и ладно.
И что это коршун
Всё кружит над нею-то?
Странно.
Ярина воды наберёт
В престарелом колодце.
Увидит, как плавают
Талые звёзды в ведёрке.
Умоется, брызнет на солнце
Да так засмеётся!
Закружится с ним
На зелёном прохладном пригорке.
И кружится всё
В хороводной и бешеной пляске.
— Яринушка! — где-то услышит,
Но не отзовётся.

Устанет от солнечной
Жгучей и радостной ласки.
И что-то внутри
Золотое, как мёд растечётся.
Под яблоней сядет
И лишь наливное надкусит,
Услышит:
— Ты будешь невестою солнца, Ярина!
Но знай, что тебя
Никогда и земля не отпустит,
И будет дорога кружить
По ухабам и глинам.
Да, коршуны будут в судьбе
И печалью — рябина,
Дожди проливные, метели
И дым без огня.
Но всё-таки
Будет и солнце, и песни, Ярина.
Расти поскорее,
Расти поскорей до меня!

* * *

Хорошо просыпаться,
Хорошо в холода!
Под расчёрской на солнце
Золотая вода.
Никого не тревожить,
Ничего не блюсти,
А на тихой постели
Долго косу плести.
Заплетаю забвеньё,
Заплетаю сама,
И в глубоком колодце
Проплывут терема.
И аукнется песня,
И метнётся испуг.

Расплеснуть и умыться —
 Струи белые с рук.
 И смотреть-засмотреться,
 Только капли лови,
 Как легко с полотенца
 Улетят журавли.

* * *

Эх, Наташка, большие серёжки!
 Одинокая тонкая мать.
 Подломились кроватные ножки,
 Раскачали вы с братом кровать.

Брат мой что — погуляет, и сдуло,
 Не по духу осёдлый режим.
 И теперь автоматное дуло
 Наблюдает на зоне за ним.

У подружки твоей задержался
 И на память двоих подарил.
 А Людмила всё: «Если б не дрался!»
 А Людмила всё: «Если б не пил!»

Слишком много намерено воли,
 Слишком много тоскующих баб,
 И не вытянуть счастья без боли —
 Вот мужик оттого и ослаб.

Выйдет, плюнет — в полыни пороги,
 Постарелый уже, сам не свой.
 А сынок отслужил и с дороги
 В новой форме поступит в конвой.

* * *

Дядька Серёга ушёл к молодой,
Зубы не вставил.
Будто живой окатили водой —
Плечи расправил.
В синей джинсовке, в синих глазах,
С новой кожей,
В Алкином он молоке и слезах,
Много моложе.
Тётка спилась, и в оградке бурьян,
Вытянешь — дыры,
Бухнет сорняк, наливается, пьян
Соком с могилы.
В вазе хрустальной молчат камыши,
Если раздвинуть,
Плавают лодка в квартирной глуши,
Вёсла не сдвинуть.
Сердце не сердце, разрыв и всплывать
Можно у Бога.
Первую зиму в земле зимовать
Страшно, Серёга?

ПАГОДА ЖЕЛТОГО ЖУРАВЛЯ

Бог долголетия
Персики носит в кармане,
И журавля выпускает
Из сморщенных рук.
Он улыбнётся, кхе-кхе,
И травинку достанет —
И зашевелится
Травы живые вокруг.

Мы поднимаемся в пагоде
Выше и выше.
Круто ступени уходят
Куда-то наверх.
Краскою пахнут
Пролёты, перила и ниши.
«Жёлтый журавль» исхожен,
Устал ото всех.

Лишь на мгновенье
Пахнуло с углов стариною,
Полуживой
Проступил из стены гобелен.
Ваза слегка
Просветлела одной стороною,
Но через миг
Только краска осталась и тлен.

Как наверху
Голубыми ветрами сметает!
Я на летящую крышу
Взошла, наконец!
«Жёлтый журавль»
Молчит и молчит о Китае.
Я дозвонюсь,
И ответит поддатый отец.

А на земле
Можно в гонг ударять за юани —
Долго плывёт
Оглушающий жалобный звон...
В долгую воду
Деревья глядятся и камни.
Замер журавль,
Не кончается бронзовый сон.

Светлана Сырнева

* * *

В.П. Смирнову

По дороге плетется машина,
перелесок раздет и разут.
А в машине — замерзшая глина:
и куда эти комья везут?

А на комьях сидит мужичонка —
видно, грузчик при этом добре.
Никудышная сбилась шапчонка...
Эй, простынешь, зима на дворе!

Он глаза бестолковые щурит,
папироску упрятав в кулак.
Для сугреву, наверное, курит,
но согреться не может никак.

Он доволен минутой покоя
и к тычкам притерпелся давно.
Как же с ним сотворилось такое,
что куда ни вези — все равно?

На безлюдной, глухой переправе
не удержит осклизлый помост,
и сомнет мужичка, и раздавит
опрокинутый под гору воз.

И душа его в рай вознесется
на златом херувимском крыле.
Может быть, ей хоть там поживется,
как пожить не пришлось на земле!

От тепла разомлевшая в мякоть,
все, что хочет, получит она:
ей позволится досыта плакать
и позволится пить допьяна.

Что ж, душа, ты так мало вкусила?
Что еще ты желала б вкусить?
Ты б чего-то еще попросила,
да не знаешь, чего попросить.

ПОЛЕ КУЛИКОВО

*Светлой памяти
Николая Старшинова*

Сожалеть об утраченном поздно.
И куда за подмогой пойдешь?
На единственном поле колхозном,
как положено, вызрела рожь.

Еле слышен, развеян по воле
гул мотора — гляди и гадай:
может, это последнее поле,
может, это последний комбайн!

Весь в пыли, не растерян нисколько,
и откуда сыскался таков —
без обеда работает Колька,
без подмены трубит Куликов.

Ветер сушит усталые очи,
на семь верст по округе — сорняк.
К ночи Колька работу закончит.
Так задумал. И сделает так!

И, достав из кармана чекушку,
чтоб победу отметить слегка,
машинально пойдет на опушку,
на поляну родного леска.

Как отрадно зеленому лесу
охватить его влагою тут!
И грибы ему в ноги полезут,
ему ягоды в руки пойдут.

Солнца луч предзакатный и длинный
намекнет, где присесть не спеша.
Набери на закуску малины,
Колька, Колька, родная душа!

Передряги твои позабыты,
жив как есть, хоть и вовсе один.
Выше горечи, выше обиды
несмолкающий шелест вершин.

Спи под сводами древнего шума,
здесь не сможет никто помешать.
И не думай, вовеки не думай,
для чего надо жить и дышать.

ПРОГУЛКИ С ДОЧЕРЬЮ

Поезд случайный навзрыд загудит
и, простучав, тишину установит.
И восстановится осени вид —
тот, что, как зубы от холода, ноет.
В грязной реке отразится, тверез,
весь беспорядок крутого угора:

ржавые трубы, обрубки берез,
полуразрушенный купол собора.
Многострадальной земли мерзлота!
Ты не годишься для праздных гуляний:
чуть прикоснулась душа — и снята
гипсовым слепком с твоих очертаний.
Запечатлеет, глупа и нежна,
трактор в трясине да избы убоги.
Что с нее взять, если позже она
ищет повсюду своих аналогий!
Разумом здрав ли, нормален ли тот,
кто этой скудости счастьем обязан?
Поздно гадать, ибо сей небосвод
серым узлом надо мною завязан.
«Мама, мне страшно, в канаве вода.
Мама, мне холодно, дрожь пробегает.
Мама, зачем мы приходим сюда?»
Некуда больше идти, дорогая.

ДУДКА

Как из космической мне синевы
виден далекий степной горизонт!
Кверху он выкинет дудку травы,
белый распустит ликующий зонт.
Как хорошо этой смелой траве
в росах расти и ночами белеть,
жить в естестве, умирать в естестве
и никогда ни о чем не жалеть!
Не поминала, чего не сбылось,
и не просила, чего не достать,
белая дудка, вселенская ось,
сил неразгаданных легкая стать.
Возле тебя проступают сады,
ягод лукошки ведут хоровод,
носят крестьяне в корзинах плоды,
всякая овощь привольно растет.

Тут же и он, арендатор земли,
 пылью облеплен, ветрами потерт,
 лодку берет и застрял на мели:
 рыбу ловить удосужился, черт!
 Тут и кума принялась горевать,
 перебирая в подоле грибы:
 «Не было счастья, — и дальше, — плевать,
 некуда, девки, бежать от судьбы!»
 Что ж ты, судьба, не лиха, не мила,
 душой растешь, никого не кляня!
 Что ж ты, родная, не мимо прошла —
 в белую дудку втянула меня!

ОСЕННЯЯ ОБОРОНА

Сгинули ласточки и соловьи,
 холодом веет от поздних восходов.
 И на пустые дороги твои
 яблоки падают из огородов.
 Грозных рябин загорелись костры,
 яростно светят из каждого сада.
 Блещут лопаты, стучат топоры,
 словно бы строится здесь баррикада.
 Лег бы и ты в эту пору, уснул —
 душу усталую больше не трогай, —
 но урожая торжественный гул
 неумолимо висит над дорогой.
 Что ж, разбирай подъездные пути,
 люд угнетенный, но не покоренный!
 Брюкву вытаскивай, тыкву кати
 в общую цепь круговой обороны!
 Полные бочки, тугие мешки,
 вилы, сусеки, корзины, корыта —
 все выворачивай! Все волоки!
 Это — последняя наша защита.
 Солнцем вспоенная, влагой земной,
 тяжких трудов результат и награда,

крепко стоит за твоею спиной
полная жизни живая громада.
Наши леса не пропустят врага,
золотом блещут победно и ново.
И, упирая крутые рога,
в каждом дворе воцарилась корова.

ШИПОВНИК

Вдоль дороги пристанища нет,
по канавам наметился лед.
И краснеет осенний рассвет
за рекой, где шиповник растет.
Он растет, существует вдали,
неподвижен и сумрачно ал.
Берега им навскид поросли,
только ягод никто не собрал.
Здесь никто не ходил, не бродил,
не видать ни чужих, ни своих.
Ведь плоды не срывают с могил,
не берут их со стен крепостных.

Ржавый лист прошуршит у воды,
безнадежно упавший к ногам.
Но краснеют на ветках плоды
по великим твоим берегам.

Мы, Россия, еще поживем!
Не сломали нас ветер и дождь.
В запустении грозном твоём
есть ничейная, тайная мощь.

То и славно, что здесь ни следа,
то и ладно, что здесь ни тропы.
Мы еще не ступали туда,
где стена, и плоды, и шипы.

ЦВЕТЫ

В.Е. Ковскому

Ты спишь в суете новостей городских
прижизненным сном суеты.
А здесь, в стороне от потоков людских,
цветут на газоне цветы.

Здесь осень сомкнула свои купола,
здесь жилы Вселенной легли,
и красная лава к ногам изошла
из самого сердца Земли.

Пылает газон негасимым огнем,
ничто ему ветер и дождь.
И вечная тайна содержится в нем,
которую ты не поймешь.

Как будто, сойдя с иноземных орбит
в единую точку тепла,
неведомый разум безмолвно скорбит
о жизни, что мимо прошла.

Отсюда ты в небо ночное взгляни,
как в черный, погибельный ров,
где светятся звезд бортовые огни
пред самым крушением миров.

И может, давно уже небо мертво,
и наша погибель близка,
а ты не успел, не успел ничего
за долгие эти века.

ВАГОН СУМАСШЕДШИХ

Дороги, составы, мосты, купола,
вокзалов промозглая сырость.
И жизнь настоящая вкратце прошла,
а вся остальная — приснилась.

Из тамбура в темное поле взгляни:
лишенные смысла и слова
бегут, отстают постовые огни
оседлого счастья чужого.

Клокочет, свистит по путям бытия
бессонный вагон сумасшедших —
бездомных, железных, таких же, как я, —
последний рубеж перешедших.

Спешу настрадаться, натешиться всласть,
катись в этой доле былинной,
где русская почва распалась, снялась
и мчится куда-то лавиной.

И лишь фотографий беззвучный напев
к живой возвращает печали,
где город случайный, навек замерев,
стоит за твоими плечами.

* * *

С тобой друг другу не враги мы,
живем, о прошлом не скорбя.
И в палисадах георгины
цветут, не помня про тебя.

Я знаю мало, вижу мало,
одна отрада, что не лу.
А прежде и того не знала,
что без тебя прожить смогу.

И мне не больно и не сладко
в провалы юности взглянуть,
и я всеобщего порядка
легко усваиваю суть.

Мир, исходя из пошлых правил,
не нужных, может, никому,
своей рукой меня направил —
и благодарна я ему.

Что есть любовь? Одно мгновенье,
удар, потрясший бытие.
Но долго тянется забвенье,
взошедшее вокруг нее.

Владимир Титов

* * *

В можжевельнике — ветер, в осоке — сухая листва.
Непременность событий, нелепая суть естества,
Время сходит на нет, очертанья теряет песок,
И все глуше, о, муза, таинственный твой голосок.

Вроде местность крута, как святая гора Галаад,
Нижний мир повторяет душевный, прости мне, уклад,
Но легка безысходность и клена крылатка легка,
И прят над рекою милейшие Марк и Лука,

Аки птицы. Ноябрь. Сухие ветра в куполах.
На рассвете над старой мечетью витает Аллах.
И у мусорных баков, в скупых переливах зари,
В перебитом трельяже нас встретит Мулла Джезири

Отраженьем любви. Можжевельник в снегу невесом.
В предвкушении Царства поют ла-ди-да в унисон
У киоска бомжи, пожирая акриды и мед.
И сороки скользят на воде, превратившейся в лед.

Мир теряет окрас, облетает святой Игдрасиль,
То ли милый Картезий естественный свет погасил,
То ли просто зима обнимает меня одного.
И ты прав: ничего не случилось,

почти ничего.

* * *

Бывало, и я находил удовольствие в серых
 Январских рассветах, и в дыме рабочих районов
 На склоне холма, занесенного сажей и серой,
 В огнях новостроек, в «китайской стене» и каньонах
 Дворовых, где ржавые трубы и хлам и отбросы
 Подлунного мира, и в стуже, как форме приюта
 Для нежной души, и в такие глухие морозы,
 Что голуби грелись вотще на колодезных люках.
 Мне мил был простуженный люд в ожиданье трамвая,
 И изморозь стекол с оконцем, прогретым ладонью,
 И пригород старый, с кирпичной трубою у края
 Промерзших небес, и картавая тяжба воронья
 Над ним; громыханье вагонов, бегущих
 Бог знает куда, из зимы, захватившей окрестность,
 Осевшая почта....Теперь все, наверное, лучше,
 Но стужа пылает, коробит сознание безвестность
 Каких-то нелепых причин и грядущего быта,
 И холод уже как бы сразу внутри и снаружи,
 Но не разобрать, да и наглухо все позабыто,
 Лишь кто-то стоит у окна, одинок и простужен.

* * *

Теплая пыль, запах смолы,
 Залиты светом храма стволы,
 В небо вросли, Бога зовут,
 Бог не услышит запах и звук.

Теплая пыль, мятый плавник
 Облака в тело звука проник.
 В Царство Его входит пчела,
 Глиной покрывши оба крыла.

Травы идут, в небе слышней
 Поступь сухая нежных корней,

Ухо склони, лесенку вынь,
Чтобы ходила небом полынь

И резеда. Клинопись тел
Их перепишут известь и мел.
Выдохнет пыль, высветит свет
Известняковый хрупкий завет.

Теплую пыль Божья рука
В небо поднимет, и лопуха
Слепит сухой луч-стебелек,
Чтобы литое семя берег.

Пыль это пыль, свет это свет.
Жук и цикада пишут сонет,
О немоте тварей живых,
В нем Господин лепит и их.

ЗИМА

Во льду сухое лезвие осоки.
Слой снега тонок, кожаца светла,
Укрывшая сосудистые соки
Тугого черноземного тепла.

Хитон цикады, липовое семя.
Декабрь скоро кончится. Январь
Сон не прервет, не пересыплет время
До донышка, чтоб выбилось за край.

Спи, солнышко, спи, птица-небылица,
За пазухой у Господа Христа.
И к небу меловому прислониться,
И к лодочке кленового листа

Бежит душа. Ни воздуха, ни скрипа.
Синица пролетает сквозь сады,
Сжимается, и в клюв берет раскрытый
Зерно холодное простуженной воды.

ПЕСНЯ ГОРОШИНЫ В ЯНВАРЕ

Горошина укроется в стручок,
И, выветлив слоистое оконце,
Закроется на ключик, на крючок
До времени полуденного солнца.

Прольется свет, засветится вода,
Горячий март пригреет за щекою
Глухую жизнь до потепленья льда.
Воспитанную светом и тщетою

Живую душу взяв за корешок
Лучом, ладонью вытянет за время.
Надавит Бог заветный рычажок,
По миру рассыпая откровенья.

Бессмыслица, горошина, душа,
Суглинка пустотелая певунья,
Терпи, терпи, покуда, не дыша,
Дотянешься до мая, до июня.

* * *

Смени декорации, Отче, даешь листопад,
Летучие рыбы пускай поджигают высоты,
Рапсоды уже воспевают грядущий распад,
И прячет во тьме Персефона тяжелые соты.

Сыграй, Господин, на осенней продутой дуде
Последнюю песню ушедшего в небо вальдшнепа,
Танцуй свое танго на геннисаретской воде,
Чтоб было нам, грешным, теперь и легко и нелепо.

Открой небеса, с листобоем уйдем навсегда,
Фригийский колпак натянувши по самые уши,
За рай и за ад, за пространство и время, туда,
Где примут без виз и совсем безнадежные души.

* * *

синица по-гречески пишет,
а по-арамейски снегирь,
и небо соленое дышит,
и снежная носится пыль;

синица страницу напишет,
листочек напишет снегирь,
и выйдут на стальные крыши
Исайя, Амос, Иоиль

и скажут, ну что же, синица,
ну что же, промолвят, снегирь, —
и утренний мир превратится
в одну безголосую пыль.

былинку ухватит синица,
снегирь переступит за снег,
и новые выступают лица
сквозь русский невидимый свет.

* * *

...И понимать всемирный сон.

А. Фет

засыпай где-нибудь, засыпай
в краю, чутком на пенье цикады...
еще звезды не считаны, надо
посчитать — ну так что ж, посчитай,

малый ковшик на палец надень,
поверти — одинокое счастье,
засыпай, и во сне хоть отчасти
свет вернется, осветится тень;

мотылек по стеклу семенит,
мятым крылышком ночь подметает;
млечный путь, просо звездное тает,
и колышется все, и звенит.

* * *

Пространный круг веков подобен Океану...

М.М. Херасков

я на берег взошел, который океана
волны натруженной бревенчатой рукой
касался, как дитя, и сгнившей берестой
посланий заполнял кефальи караваны,
и раковинке сон нашептывал пустой;
то только остров был, но острову казалось —
он ставшая волна, принявшая усталость
от серебристых рыб, в бесчисленных веках
несущих письма на легких плавниках;

я на берег взошел, и яблоком эпохи,
на острове пустом, где не гуляет Бог,
мне время улеглось в ладони погребок,
и океан ушел, тяжелый, крутобокий,
в темнеющую степь, где и ковыль глубок;
остались острова, безвидными стадами
бредущие промеж засохшими судами,
и я за ними шел, как рыба без воды,
и в высохшей земле не оставлял следы;

теперь на берегу азийского простора
я океан ищу, мне рыба в ковыле
идет поводырем, и прячется в золе
осмысленная речь ракушечьего хора,
и капля бытия — в пылающей смоле;
когда наступит день для возвращенья крови
под рыбью чешую, я зрение закрою,
и осязанием, в развернутой руке,
вновь различу письмо — на рыбьем плавнике.

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ*В. Берязеву*

алтайская свеча,
глаз каменный балбала —
и лапку усача,
и кровь Сарданапала

вдруг высветлит; века
отстанут по дороге,
и кнут у пастуха
возьмут кобыльи боги,

и пыльные стада
пойдут за облаками,
играя, как слюда
на солнце, плавниками;

покуда младший брат
из глины сновиденья
земной ваяет град,
нам участь выпаденья

из римской суеты
дарована, и следом,
как боги-пастухи,
мы движемся за небом.

* * *

Где яблони с шумерскими глазами,
в которых и синица — бирюза,
на вымокшие ветви нанизав,
несут плоды из вымерших сказаний
(ступая, как по нитке, осторожно)
румяным осирическим богам,
и яблочное время по следам
их движется легко и невозможно,

где хороводы певчего Велеса
суглинок запирает на засов,
и листопад в созвездие Весов
восходит от пылающего леса,
открывшего щетинистую спину,
и так прозрачны мертвые сады,
и так прозрачны птицы, что видны
в зобах тугие ягоды рябины,

где деревень бревенчатые выи
увиты ожерельями стогов,
и по ночам с невидимых лугов
в хлев сходят, как святые, земляные
сухие травы, мятлик или клевер, —
там, во ржаной, переносимой тьме
пусть спит душа, на краешке, на дне,
покуда время движется на север.

* * *

тесный лес, непослушный луг
вместо вздыбленных досок пола,
и сокрытость земли готова
лечь под самый тяжелый плуг;

и разверстый кривится мир,
заклучая объятьем тщетным
обращенные ныне в щепки
древеса, что воспел Омир;

мы стоим посреди всего,
и жестянку свою восставив,
корабельные сны оставив,
окликаем в ночи Его...

В СТЕПИ

пускай отмерит час кузнечик
хоть предпоследний, хоть какой —
меня и ветер покалечит
в степи не под Его рукой;

в густой ночи — сурочья милость —
стоим, степную тормоша
постель, — и смерть не изменилась,
траву Давидову круша...

всего-то — круглая деревня
с кержацким выжатым лицом,
да воздух, крепнувший и древний,
над часословящим певцом...

* * *

вот окно, погляди, чей морозный узор
кроткой привязью чувствует лающий взор:

зацветает ли куст осторожным огнем,
зренье видит, и ходит, и мается в нем,

и такая волнуется там немота,
и Господь там — не тот, и Премудрость — не та, —

но сухая зима и ночное твое
за спиною дыханье, объятья, белье,

кружева ли — все то же пыланье куста
в нижнем левом оконного — слышишь? — креста...

и последний узор — в непроглядном доме
все круженье от умной печали к Нему.

ПАМЯТЬ

где горный заяц ночевал —
 примятая трава:
 и черный имени провал,
 и детские права;

лес слева темен, справа бел,
 а на дорожке мы,
 и небосвод не опустел
 среди зимы;

окно, цветущее в дому,
 уже недалеко —
 и не вернуться одному
 в траву — легко...

* * *

консьержка летает и дворник летит,
 покинув ублюдочный скит,
 за пазухой голубем спит и не спит
 Россия в венце из ракиит,

из бездны в бутылку трубит гарнизон —
 не слышит монаршая рать,
 но дворник, голубку укрыв, в унисон
 им возопиет «твою мать!»...

и ежели ты им не брат и не сват,
 то что же проросшая кровь
 консьержки в тебе зацветает, как сад,
 и дворничья колетса бровь,

и что же несомая ими страна
 калеченым крылышком вдруг
 всех нас поднимает и сквозь времена
 уносит, как Игореv струг?..

* * *

*Памяти
Владимира Башунова*

поле — всего лишь поле,
жизнь — только тьма и свет,
то ли в ней смысла, то ли
просто разгадки нет.

что же сказать об этом?
ветхий посев собрав,
кто под безумным светом
ходит в корнях у трав?

кто, уходя, не тушит
в поле свечу — света
все тяжелей и глуше —
но не во тьме дитя?

поле взойдет пшеницей,
вспыхнет свечой река —
что же тебе не спится?
мысль, как вода, горька...

плач обо мне и Спинозе
не вынесешь, святая простота,
ни мудрости, ни милости... гляди же,
как мотылек то вздрагивает ближе,
то в темные уносится места...

темно на сердце, так им и скажи,
что если бы любовь остановилась
у самых окон, вынес бы и милость,
но без лица весома лежит

земля вещей, поизносивших цвет,
что ветер, будто нищенка святая,
стоит снаружи, в дом не проникая,
и мотылек колотится о свет...

* * *

вереницу плачей своих вознес,
народился в некрепкий свет,
одинокa матушка, — произнес, —
и страны моей больше нет,

а сказать по чести, что есть — то тьма,
как телега, гремит по нам,
будто Иосиф-плотник Дитя впотьмах
разлюбил и отдал волхвам,

и когда я пьян, как вином, виной
непрощеной, мне мнится — мать
и страна склоняются надо мной —
как живые, страна и мать...

* * *

край неба лилов на закате,
игрушечный воздух твою
вдруг голову нежно охватит,
к остывшему склонит жнивью,

земля молчаливей немого,
и ты ей словца не скажи —
лежи и не ведай иного,
чем гнутое плечико ржи,

забудь, ничего не осталось,
ущербно стоит над лицом
пречистого воздуха жалость —
обидой, объятьем, венцом...

* * *

стать молоком, и жить как молоко —
по-детски и в кувшине расписном,
и на окне стоять и за окном,
и в день глядеть светло и далеко,

стать деревом, и небу посвящать
все жалобы — с цикадою во рту,
скрывать, как императора в скиту,
большую речь, уставшую звучать,

стать камешком, завернутым легко
в синицей припорхнувшую к ручью
ладонь твою, в одну ладонь твою —
прозрачно, бесконечно, глубоко...

* * *

О. Ш.

то озерцо с рогозом, что твоим
нелепым рассужденьям о халифах
внимало да заплескивало рифы
березняка, нависшего над ним,

то озерцо, куда тропинка шла
из памяти, как детское дыханье:
и тьма отца, и мамы колыханье,
и бабушкина швейная игла, —

то озерцо, на запад — два холма,
на север — холм, иль чередой иною:
лишь озеро да холмы за спиною —
и в наготе живая жизнь одна...

* * *

к октябрьским календам от ученой
поэзии с ума сойдешь — смотри,
как в тазике с бельем прокипяченным,
похожая на Жанну Самари,

соседка носит (снова не укрывший
нас с головою) очумевший лист,
и, будто в детстве, кажется — над крышей
опять летит Лука-евангелист;

проходит небо медленно над нами,
спит птица на веревке бельевой,
и наволочки молча набивает
октябрь обесцененной листвою,

а мы втроем, уже не опасаясь
зимы, стоим и смотрим в облака —
соседка, я и рядом, не касаясь
стопой земли, евангелист Лука.

* * *

по улочке, изогнутой трубой,
до высохшей окраины фонтана,
где колокольчик ангельский Китано
звонит, обозначая перебой
меж ожиданьем и осуществленьем, —
как солнце, что уходит налегке
на травяных колесах по реке,
пойдем с тобой за пением и тленьем

октябрьских горючих пустырей,
соленых солью сумерек; направо —
в огне рекламы вспыхивают травы
и женщины смеются у дверей,

налево — лист кленовый оживает
 морщинкою улыбчивого рта, —
 пойдём с тобой, покуда чернота
 свой купол к роговице пришивает

и пьют синицы вывесок неон,
 как голоса, свободные от тела,
 как голоса... отправимся по делу
 до пустыря тишайшего, и он
 даст веточку полыни — пониманье,
 что все осуществилось и дано,
 как колокольчик ангельский — одно
 падучее, живое ожиданье...

* * *

пламенеет вода на закатной реке,
 ты стоишь, сигарету зажав в кулаке,
 и хребет прорастает травкою;
 этот берег в тебе признает своего,
 ты и камень, и птица на камне его,
 и не птица, а руки корою

обернувшее дерево, в темной воде
 отыскавшее облик неведомо где —
 одинокую жертву богине,
 глинобровой реке, что приносит в разлив,
 будто в детстве, гниющие стволы ив —
 флот Гомеров и крики эриний;

собери же свое на грядущие дни:
 и кочующих барж смоляные огни,
 и слепой перламутр заката;
 будет время родиться, и время стареть,
 и другими глазами на все посмотреть
 будет время когда-то...

Борис Укачин

РУССКИЙ ЯЗЫК

Леса, птицы, птичьи гнезда
Шептали мне по-алтайски;
Солнце, луна и звезды
Светили мне по-алтайски.

И волки в горах спросонья
Выли лишь по-алтайски;
И знали коровы и кони
Одну алтайскую ласку.

... Но вот я покинул горы
В дальний уехал город.
И мука мне сжала горло,
И мукой я был поборот.

Казалось, неизлечимо,
Бессильный, несчастный,
мрачный,
Я вдруг захворал, мужчина,
Предродовой горячкой.

И вот мою грудь внезапно,
Как молнией, расколело.
Тогда-то с болью сказал я
По-русски первое слово.

И тотчас мне стало страшно
 И хрящ во мне главный
 хрустнул...
 Однако со мной пространство
 С тех пор говорит по-русски.

... А прежде, в ребячьи годы,
 Когда мир был схож со сказкой,
 Считал я: леса и воды,
 И горы, и вся природа —
 Все думают по-алтайски.

*Перевел с алтайского
 Владимир КОРНИЛОВ*

МОИ СТИХИ УБЬЮТ МЕНЯ...

Они однажды убьют меня,
 Они однажды сожгут меня,
 Однажды испепелят меня,
 А сами выскочат из огня.

Я это знаю все наперед:
 Ведь каждая из настоящих строк
 Частицу жизненных сил берет
 И сокращает жизненный срок.

Ведь я отдавал им и день, и ночь,
 Усталость и сон прогоняя прочь,
 Я в мире многим хотел помочь,
 И только себе не умел помочь.

Они однажды убьют меня,
 Они однажды сожгут меня,
 Чтобы самим спастись из огня
 И жить остаться вместо меня.

*Перевел с алтайского
 Илья ФОНЯКОВ*

ПИСАЛ Я ЭТУ КНИГУ НЕ ОДИН

Писал я эту книгу не один,
Со мною заодно ее писали
Цветы и травы отческих долин
И облака, и горных троп спирали,
Посменных зорь подоблачный кармин
И стаи птиц, связующие дали.

Я слышал в поле,
лежа на траве,
Как движутся в зеленых стеблях соки
Гармонии извечной в голове
Являлся образ.
Мчались с гор потоки,
Мерцали звезды в темной синеве,
И вновь перо нанизывало строки.

И ласточки пронзали вышину,
Дождя иль вёдра выказав примету,
К недолгому приученные сну,
Они со мной писали книгу эту.
Там, где кладет под голову луну
Любовь, противясь давнему запрету.

Над стойбищами вновь кизячный дым
Плывет по ветру.
Миг причастен к мигу.
Отрадно льну я к голосам людским,
Они со мною пишут эту книгу,
В которой воркованию и рыку
Дань отдана с пристрастьем молодым.

В кругу событий и в кругу молвы
Душа познала радость и напасти.
Но даже у земных страстей во власти,
Не преклонял пред сильным головы.
И подбирать слова мне звездной масти
Для этой книги помогали вы.

Перевел с алтайского Яков КОЗЛОВСКИЙ

Ирина Федоськина

БЫВШЕЕ МОРЕМ

Поэма

*«Все реки замерли. Утро покажет,
куда потекут воды».*

Э.М. Ремарк

1.

Лежат снега от края и до края —
Индустриальных мест седое дно.
И мы забыли забежать в кино,
И населили потные трамваи.
Глазами осужденных смотрим вверх,
Глазами судий смотрим друг на друга,
И стелится, захлестывая всех,
Славянская мерцающая вьюга.

Трамвай везет уснувших и воров,
Еще не совершивших действий грубых.
(Кто пошустрей, выгуливает шубы
Во глубине синеющих дворов).
В одном стекле — военный Петроград,
Колонны митингующих, повозки,
С других стекол соскабливают блески
И на торговый плятятся Посад.

А к ночи, в зарешеченных домах,
Скелеты рыб отодвигая вправо,
Налево – разговоры о долгах,
Помянем небывалую державу,
Настольные зажжем колокола
И выпьем, и признаем поневоле:
Душа не вырабатывает боли,
Сожженная до дна. Или до тла?

Закрыта дверь неосвященной школы,
Я — сторожиха лозунгов и мела,
Ловлю снежинки крупного помола,
Гуляю на крыльце осиротелом.
В ушанках из искусственного меха
Приходят два бастующих собрата,
Рисуют палкой рыхлые квадраты
И жалуются, что не пройден Чехов.

Приходят дети с пачкой папирос,
Разламывают куст сибирской вишни,
Но если и они не знают слез,
То ничего хорошего не вышло.
И я когда-то вглубь себя текла,
Пока не оказалась не у дела.
Как море зацвела и обмелела
В кругу плевков и битого стекла.

Одни ушли, другие не ушли —
За каменной стеной играли песни,
Не представляя, что подполье треснет,
И нужно будет поменять рули.
Переплывая в сумерках свободу,
Мы не поем, но выпиваем хором,
И видим, как играет триколором
Продавший и огонь, и медь, и воду.

2.

Была одна далекая весна,
Отец курил у темного подъезда,
Я возвращалась с небольшого съезда,
И мы разговорились допоздна.
— Вот я почти заведую заводом,
Ты выросла хорошей комсомолкой,
Но я не вижу никакого толка
Расти под неизменным небосводом,

Или бежать в столицу сгоряча
С копной стихов, в одних, прости, колготках!
— Но папа, я люблю не москвича,
А коренного жителя Чукотки.
У наших писем долгие пути.
Растут и увядают в вазах астры,
Но им цвести безудержно в груди,
Когда он прилетит и скажет: «Здравствуй!»

Глаза отца синели от любви,
Он признавал любых моих знакомых,
Но плакали над нами соловьи,
Когда тревожный ветер бился в кронах,
Обыкновенный в наших-то местах!
И долго мы его не замечали,
Пока не оказались на причале...
Шуршала многоцветная листва.

Отец купил мне на дорогу ягод,
И все смотрел куда-то за меня.
Я верила в полцарства за коня
И ехала в страну высоких пагод.
Мешок вещей дешевых накопить,
Перевезти в сибирские морозы,
И в беготне одной житейской прозы
На новую поездку накопить.

Поэтам, им, увы, не суждено
 Везти товары в сумке полосатой:
 Засмотришься на чье-то кимоно,
 А кошелек, ни в чем не виноватый,
 Уже идет с хозяином другим
 В окрестностях цветущего Пекина.
 И никого — свидетелем твоим,
 Все моментально и необратимо.

Отец простил, и я пережила.
 Седую прядь скрывая под косынкой,
 Дремала за печатною машинкой
 И коридоры школьные мела...
 Когда б не вышла полная луна,
 Соседи шепчут выпивши и зло:
 — Куда-то жизни наши понесло,
 Когда заводы выбраны до дна?

3.

«Пиши почаще, золото мое,
 Вот на Чукотке золота не мало!
 Есть и вольфрам и прочее сырье,
 Но мы по темпам позади Ямала.
 Нам не на что надеяться почти:
 На Севере живут большие дети, —
 Кредиты разворованы в пути,
 А виноватый, ясно, не в ответе.

В таком краю! Таких температур!
 Я провожаю в шторм соседских дур,
 Но лишь буржуйка — девушка моя
 До теплоты изменчивого мая.
 А ты приедешь в ясный летний день...
 Я радуюсь мечте и понимаю,
 Что радость не отбрасывает тень —
 Не так живет земля твоя большая.

Остаться здесь — не море перейти.
Но мы живем, как редкие растенья.
Я каждый вечер вижу на пути
Промышленных поселков запустенье.
Ты радио услышишь не всегда!
В моей больнице не хватает ваты,
И тщетно ищут в небе провода
Голодные заезжие солдаты».

«Пишу тебе, недостижимый мой,
Заплачу если — вышлю телеграмму.
Ты одинок, но не оставишь маму
За этой непроглядной белизной.
И я живу, как старая свирель,
Не зазвучу дыханием случайным,
Одна дрожу морозными ночами,
И помню губ полузабытых хмель».

И мне не стыдно выглядеть ничьей.
Пока подруги в хлопотах декретных,
Я выбираюсь из состава бедных,
Ведь нынче деньги — мера всех вещей.
Но будет день, и я построю дом,
Открытый для черемухи и света.
Когда земля до глубины согрета,
Мы чемоданы наши соберем,

И сами в этот рай себя поселим.
Отец оставит водку и придет,
И все втроем, коты уже не в счет,
По правилам отметим новоселье.

P.S.

Твоя буржуйка, спутница твоя,
Пережует поленницу — померкнет.
Моя произошла от Гутенберга —
Пока трещит, не свалится семья».

4.

Бороться с нищетой — тяжелый труд,
Готовлю на продажу щи и зразы,
Большая печка в синих астрах газа,
И скоро второгодники придут.
Один из них играет не трубе,
Но даже дроби множить не умеет.
Всех этих бед одна беда сильнее:
Тупое равнодушие в себе.

Отец пропал четвертого числа.
Я наливалась слабостью и жаром,
И как во сне сдавала стеклотару,
Но почему-то плакать не могла.
А посреди дворовой пустоты
Сосед, ключи от дома позабывший,
О помощи кричал до хрипоты —
Все наблюдали, но никто не вышел.

А мне бы письма северные трогать,
Читать о людях — злых или беспечных? —
Как выпивший, забылся у порога,
И сон пришел, остуженный и вечный.
И на Земле осталась я одна.
А в эту ночь чукотские поселки
Пускали пар и зажигали елки,
И веселились с кислого вина.

Бывает чувство: нечего терять,
Лежу с газетой поперек матраса.
Под фонарями красными Техаса
И я могу свободно танцевать,
Достаточно прийти по объявлению
И все понять, не поднимая век:
Живой товар увозят по течению,
Как будто перепутан с веком век!

Все также тащит ветер на прицепе
Сухую грязь и оперенье птичье,
Но от бывшего времени в отличие,
Мы добровольно примеряем цепи:
Кто на чужой тоскует стороне,
Кто угасает за высокой книгой,
Кто каждый день торгует мертвой рыбой, —
Никто не улыбается во сне.

А я проснулась, вышла на дорогу,
Смотрела вдаль — не видела конца.
Я спрашивала встречных про отца,
Мне показалось, я искала Бога.
И я найду обоих все равно!
Пусть голова закружится от бега,
А за спиной останется одно
Морское дно, засыпанное снегом.

Татьяна Четверикова

* * *

Время сжигает в небесных печах
Все без остатка.
Только в стихах и осталась печаль,
В старых тетрадках.
...Зябко под снегом в шали расписной
Полночью зимней.
Пусть мы увидимся только весной,—
Слышишь? — звони мне!
Маленький город. Пусты и тихи
Залы вокзала...
Странно самой мне, что эти стихи
Я написала.
Странно самой, что любовь и тоска
Были моими.
Имя хотя бы в золе отыскать,
Имя бы, имя!..

* * *

Завтра будет завтра. А сегодня
Сельская дорога, серый день,
Снег идет все гуще, все свободней,
Прячет силуэты деревень.

Все потом — сегодня перелески,
Из-под снега — желтая стерня.
Да забытый воздух деревенский,
Да сорок веселая возня.
Да автобус... «Спас нерукотворный» —
В общем-то, кустарный календарь.
Но душе легко и непритворно:
Не солги, не выдай, не ударь!..
Ни любви, ни нежности не надо,
Ни почета, никаких даров —
Только это чудо снегопада,
Чистый усмиряющий покров.

* * *

Ветер холодный, будто из детства,
Будто уже никуда мне не деться.
Рифмы расхожей не избежать:
Спичкой сгорать и былинкой дрожать.
Господи, как все старо в этом мире!
Ходит беда по знакомой квартире.
В мамином платье, ее же очках.
Жизнь — на весах и смерть — на весах.

Детство мое! Ты печальная сказка.
Бабушка в церковь водила на Тарской.
Как я молилась — дивился народ.
Господи, пусть только мама живет!
Как я рыдала, дошкольница, птенчик.
А вот теперь-то и плакать мне нечем.
Больше уже — ни страдать, ни скорбеть.

Господи, дай ей легко умереть.

* * *

Зеркальце, записочка, брелок,
 Тени, на шнурочке янтарек,
 Тушь, помада, брошка и конфетка,
 На удачу — с дырочкой монетка.
 И еще помада, карандаш,
 Чье-то фото. Вечный раскардаш
 В косметичке ветреной нимфетки.
 А в моей — таблетки и таблетки.

* * *

Гуляла по улице, травкой поросшей,
 У старого дома, иртышской воды.
 Зимой любила на свежей пороше
 Печатать ботинок резные следы.
 И школа, и первая в жизни контора,
 Вокзалы-причалы, «люблю — не скучай» —
 Все это мой город, любила который
 Почти инстинктивно, почти невзначай.
 За что? Да за то, что уютен, как шубка,
 Привычен, как старый объемный портфель.
 За то, что не раз телефонная будка
 Спасала двоих, заплутавших в метель...

* * *

Добрый вечер, моя ракушка:
 Телевизор и кот-два ушка,
 Кресло, книга, большая кружка —
 Чай да сахар себе самой.
 Снег ли дождь ли — что мне за дело?
 Что могло задеть — то задело.
 Отгорело и отболело,
 Отгремело над головой.

Я сама себя отлучила.
Кто там сплетник, а кто ловчила,
Кто борец, кто гордец, кто враль —
Мне-то что! Я захлопну створки.
А точнее, задерну шторы.
Книгу — в руки, на плечи — шаль.

Дремлет кот на цветной подушке...
Неужели ему, как мне,
Ночью снятся одни ракушки
На пустынном холодном дне?..

* * *

Согрей земля меня, согрей,
Покуда так цветет кипрей.
Покуда ветерок речной
Кольшет мостик навесной.
Тепло, что дарит мне трава,
Я сохраню до Покрова.
Когда ж все снегом занесет,
Лишь Богородица спасет...

Вероника Шелленберг

* * *

За окном вагонным светает
потихонечку, не всерьёз.
Встречный поезд... а в нём мелькает
двадцать пятый кадр берёз.

Отпечатался на сетчатке,
потускнел, как неясный сон.
Всё в порядке, мой друг, в порядке,
просто дробно дрожит вагон.

Просто клацает и грохочет
не закрытая плотно дверь.
И мерещится между прочих
двадцать пятый кадр потерь.

* * *

Найди золотистый стебель,
прозрачный как мёд.
Горный мёд.
В нём вереск поёт
и пчела начинает сердитый полёт.

Найди золотистый пружинистый стебель,
в нём ветер ещё не угас, не увял

на границе равнины...
 У подножья базальтовой бабы,
 растающей в землю, обратно,
 к началу начал.
 Туда,
 где первый огонь,
 первый бой барабанный
 у подножия каменной бабы
 с круглым,
 как мир,
 животом.

Золотистый стебель срежь на закате,
 обнажая охотничий нож,
 самодельный, подаренный другом
 (на медведя, не меньше!),
 осторожно...
 так, чтоб солнце по лезвию,
 так, чтобы солнце
 полоснуло само...

Но ни листья,
 ни корни, обвисшие в норы,
 ни ягоды —
 ничего не бери, ничего!
 Только стебель,
 несущий из тьмы дождевые потоки обратно.
 Стебель,
 прозрачный, как солнца слеза,
 разломи на ладони.
 На вкус он горчит.
 И — волнуяще,
 смутно ещё
 пахнет небом свободы...
 нетронутым снегом свободы,
 чёрным хлебом дороги.
 И надо же, а...
 Всё ещё начнется...

Владимир Шемшученко

* * *

Увели их по санному следу,
Возвратились — забрали коня.
Ни отцу не помог я, ни деду,
Вот и мучает память меня.

Хватит, сам говорю себе, хватит.
Раскулачили — значит, судьба.
Только пусто в душе, словно в хате,
По которой прошлась голытьба.

Нынче всякий и рядит, и судит,
Прижимая ко лбу три перста.
Дед с отцом были русские люди —
Ни могилы у них, ни креста.

За отца помолюсь и за деда,
И за мать, чтоб ей легче жилось —
У неё милосердьё комбеда
На разбитых губах запеклось.

* * *

Скоро утро. Тоска ножевая.
 В подворотню загнав тишину,
 На пустой остановке трамвая
 Сука песню поёт про луну.

Вдохновенно поёт, с переливом,
 Замечательно сука поёт.
 Никогда шансонеткам сопливым
 До таких не подняться высот.

Этот вой, ни на что не похожий,
 Этот гимн одинокой луне
 Пробегает волною по коже,
 Прилипает рубашкой к спине.

Пой, бездомная, пой, горевая,
 Под берёзою пой, под сосной,
 На пустой остановке трамвая,
 Где любовь разминулась со мной.

Лунный свет я за пазуху прячу,
 Чтоб его не спалила заря.
 Плачет сука, и я с нею плачу,
 Ненавидя и благодаря.

* * *

Петь не умеешь — вой.
 Выть не сумел — молчи.
 Не прорастай травой,
 Падай звездой в ночи.
 Не уходи в запой.
 Не проклинай страну.
 Пренебрегай толпой.
 Не возноси жену.

Помни, что твой кумир —
СЛОВО, но не словцо...
И удивленный мир
Плюнет тебе в лицо.

* * *

Бросил в урну и ложку, и кружку,
И когда это не помогло,
На чердак зашвырнул я подушку,
Что твое сохранила тепло.
Не ударился в глупую пьянку,
Не рыдал в тусклом свете луны, —
А принес из подвала стремянку,
Чтобы снять твою тень со стены...

* * *

Слышащий — да услышит.
Видящий — да узрит.
Пишущий — да напишет.
Глаголящий — повторит.

Всяк за свое — ответит.
Каждому свой — черед.
Слово, если не светит, —
Запечатает рот.

Пуля, она — не дура,
А Провиденья рука...
Да здравствует диктатура
Русского языка!

* * *

Дождь походкой гуляки прошелся по облаку,
А потом снизошел до игры на трубе.
Он сейчас поцелует не город, а родинку
На капризно приподнятой Невской губе.

И зачем я лукавую женщину-осень
С разметавшейся гривой роскошных волос
Ради музыки этой безжалостно бросил?
Чтоб какой-то дурак подобрал и унес?

Я по лужам иду, как нелепая птица,
Завернувшись в выдавшее виды пальто...
Этот сон наяву будет длиться и длиться —
Из поэзии в жизнь не вернется никто.

* * *

Подснежник скукожился в банке,
Как ставшая былью мечта.
И незачем бегать к цыганке,
Чтоб прыгнуть с Тучкова моста.

Рассыпалась жизни телега,
И губы предсмертно свело.
А тут из словесного снега
Строка родилась, как назло.

И, словно отмоленный грешник,
Для жизни открывший глаза,
В душе расцвела, как подснежник,
Взлетела, как стрекоза,

И вспыхнула, будто надежда
В преддверии Судного дня,
И губы оттаяли прежде,
Чем кто-то окликнул меня...

Спасибо, случайный прохожий,
Бог ведает имя твое —
Поэзию чувствуют кожей
И в банку не ставят ее.

Глеб Шульпяков

КАМПО ДИ ФЬОРИ*

*...Тогда, через многие годы,
На новом Кампо ди Фьори
Поэт разожжет мятеж.*

Чеслав Милош**

1.

...по пути на площадь —
узкий проход, проулок (даже
не проулок, а щель, лазейка).
Солнце не заглядывает сюда.
Купишь пиццу, сядешь у стены
— кусаешь, пока не остыла,
и смотришь в толпу.

Стена (не мрамор, а гладкий
обмылок) — белая, теплая.
Над крышами висит купол —
шар воздушный, железный.
Тащит пустую корзину
— только мелькают тени.
А толпа все прибывает.

* Площадь цветов в Риме, на которой сожгли Джордано Бруно. Одно из самых популярных туристических мест города.

** Перевод с польского Натальи Горбаневской.

Чужой в этом городе, я
прихожу сюда каждый день.
Ни Колизей или Форум,
суды или банки, Термы,
но темный проулок:
вот где ось мира. Здесь
время сошлось, сжалось.

Американцы, французы, немцы
— галдят, хрустят картами.
Сытые, самодовольные
мошки в янтарной капле
(и я вместе с ними).
И маленький индеец —
продает зажигалки.

В кафе по телевизору суд:
«Миссис Кембелл, скажите,
откуда эти бриллианты?»
И толпа замирает у экрана.
«Как она держится!» Шепчут.
А я читаю бегущую строчку:
«Число жертв... выброс нефти...»

Рядом француз-кукольник
заводит свою шарманку.
Толпа окружает его, хохочет.
Смешно — певец умер, а его кукла
кривляется на помосте.
И монеты летят в шляпу.
А я затыкаю уши:
«Жги мир как Нерон,
убивай в гетто — ничего
кроме чужих бриллиантов
ему не интересно!»
Не шум вечного города,
но скрип ледяного ворота
— каменной ступицы,

вот что я слышу.
Не булыжник, но жернова
под нашими ногами.
Не шарманку, но молох
вращает кукольник.
Не вальс, но марш
звучит над головами.
«Мир, люди —
как разбудить вас?
Как растопить время?»
И тогда я решаю вот что.

2.

...когда ты спал. Просто
собрала вещи, закрыла номер.
Улыбаюсь портье сквозь слезы —
а сама не знаю, куда бежать.
Как сомнамбула, выхожу
из гостиницы на площадь
и сажусь в кафе, нашем.

«Сеньорита?» Официант кивает.
Заказываю кофе и граппу.
Что ты заказываешь обычно.
А рынок бурлит, торгует
— Джордано Бруно в цветах!
Закуриваю, пишу. Но что?
Слов для тебя у меня нет.

«Не могу больше...» Стираю.
«Пойми, мне не хватает тепла...»
А сама слышу твою усмешку:
«Тебе со мной так плохо?»
Кричу: «Хорошо, слишком!
Но это “хорошо” — холодное...»
И не могу отправить.

И тут этот парень.
Шорты, майка — обычный.
Задел столик, извинился
— акцент, иностранец.
Стоит под памятником, смотрит
поверх голов. Улыбается
и отвинчивает крышку.

Вокруг пьют, стучат вилками.
Продавец отвешивает лимоны.
А у него побелели губы.
Хочет говорить, но слова? И я
понимаю, что сейчас будет.
Теперь это не лицо, а маска,
которую вот-вот снимут.

Пустая канистра падает.
Волосы слиплись, одежда промокла.
(Официант нюхает воздух).
А толпа уже собралась.
Какая-то девочка бросает монету.
Взгляд отрешенный, в себя:
щелчок! еще! еще раз!
И разочарованный выдох.
Он поднимает глаза
— пустые, прозрачные.
Лицо заплаканное.
И находит меня взглядом.
Очнувшись, встаю. «Пустите!»
— пробираюсь к памятнику.
Протягиваю сухую зажигалку.
И сразу на площадь.
Шаг, другой. Еще. Хлопок!
— как парусина на ветру —
и мир взрывается.
Крики, звон, стук, топот.
Карабинер на бегу достает рацию.
А я спускаюсь в переулок.

В проход, в щель — туда,
где таксист тянет шею.
— «Что там, сеньорита?»
«На вокзал». Ко мне
возвращается мой голос.
Мимо, размахивая руками,
бежит маленький
индеец.

Владимир Ярцев

СТАНСЫ

Безмолвию я предпочту молчанье,
Прохладе горней — дольний холодок.
...Вас время оправдает, угличане,
Но мир не станет менее жесток.

Жизнь сузилась. Сквозь смотровую щель
Доступен лишь сегмент июльской воли,
Где первобытный освящает шмель
Не минное, но клеверное поле.

Далекie клубятся облака,
Их глубину зарница прорицает.
Дитя не спит. И матери рука
Звездой на лбу младенческом мерцает.

Ничем печали этой не унять,
Беззвучен миг прощания со Словом.
Да! — не забудьте плакальщиц нанять
В сиреновом, под цвет грозы, в лиловом...

* * *

Честные спят сторожа.
Чуткие бдят егеря.
Встанет моя госпожа —
И устыдится заря.

На вземном чертеже
Горестей знаки внахлест.
Зябко моей госпоже
Под укоризною звезд.

Рань луговая свежа.
Бьют вдоль тропинки ключи.
— Слышишь, моя госпожа?
— Тсс... — отвечает, — молчи.

Не по земному легка
Поступь моей госпожи.
Ночь эта длится века,
Но и словца не скажи.

С нею — в любом падеже
Соподчинения нет.
Зябко моей госпоже.
Не наступает рассвет.

* * *

Что, взашей из жизни вытолкан
Хлыщ, добредший до седин?
...Дом сгорел. Крыжовник вытоптан.
Не успел родиться сын.

Исповедовал язычество,
Мнил, что вышел из огня.
Вместо класса — ученичество.
Вместо жизни — беготня.

Все толпа, в толпе, а вспомнится
 Не людская толчея:
 Одинокая бессонница,
 Половчанка Асия.
 И уста полураскрытые,
 И ворсинка на щеке...

...Но стихи такие сытые
 Ты слагал о нищете.
 Да и тех-то — горстка, книжица,
 В строчку сшитая тетрадь.

И не должно, братец, пыжиться.
 Неохота умирать.

ДРИАДА

Там, где сомкнулись даль и высь,
 Есть перспектива грозовая...
 Не скаредничай, поделись
 Хоть чем, подружка стволовая.

Мы обойдемся без чудес,
 Голь на диковинки не чутка —
 Впусти меня в дремотный лес,
 Нависший на краю рассудка.

Я ни на что не посягну,
 Ветвей мифических не трону —
 Лишь исподлобья всколыхну
 Одну-единственную крону.

Сведи меня — сквозь птичий гам,
 Под иволгину кантилену —
 По серебристым мягким мхам,
 Лишь ты которым знаешь цену,

По таволге, точащей сок,
К истокам бытия, в долину,
Чтоб я размять в ладони смог
Доисторическую глину.

Яви, как можешь только ты,
Насквозь обыденные вещи.
Избавь меня от слепоты.
Ясней! Отчетливее! Резче!

Где в обмороке озерцо,
Как зеркальце в грибной корзине,
Любимой светлое лицо
В холодной глади отрази мне.

...В том сундучке заветном, там,
На дне, хоть что-то да осталось?
Так подели же эту малость,
Как пряник в детстве, — пополам.

СТРАХ

Ничего в этой жизни не ново —
Ни восторг, ни покой, ни тоска.
Только нежная прихоть родного —
И за Млечном путем — языка.

Ни эпитафий, ни посвящений,
Ни иной продувной шелухи.
Разве требует ветер осенний,
Чтоб его заключали в стихи?

Разве требует смертная мука,
Чтоб цветы не цвели на лугах?
Разомкнись, круговая порука.
Отпусти до полуночи, страх.

Та заря оказалась вечерней.
Разве чья-нибудь в этом вина?
Вот и все. Никаких отречений.
Лишь посмертная слава верна.

* * *

Присягну и апрелю, и маю,
Январю — и тому поклонюсь.
...Как зовут ее, право, не знаю, —
То ли гроздь, то ли горсть, то ли грусть.

То дарит она щедрой лозою,
То сама по щепотке берет.
...Этой милости, право, не стою
Перед нею, с бровями вразлет.

Умираю у стен Карфагена,
Нелегко у истории красть.
...А она и нежна, и надменна,
И корыстна, как всякая власть.

* * *

Кладбище сразу за дачным поселком
Служит приютом и мёртвым, и ёлкам.

Древний как мир, невесёлый порядок —
Ветхость крестов, кособокость оградок.

Здесь же сторож, хотя и старик,
Думать о смерти пока не привык.

Он, презирая свои костыли,
Копит на лодку с мотором рубли.

В лодку с собою посадит щенка,
И навсегда унесёт их река.

* * *

Дождь не дождь, шелестящий на идиш
 Полукровка, канва для шитья.
 Замуж словно на улицу выйдешь,
 Чтоб кого-то спасти от дождя.

Погребок — промежуточный финиш.
 Угощает кривой караим.
 Ну зачем ты себя половишишь?
 Не светло мы с тобою горим.

Отчего откровенно неволишь
 Бедный дух, что и так невесом?
 Кто ты есть для мздоимца? Всего лишь
 Вожделенный набор хромосом.

Ну а я, ни далек и ни близок,
 Ничего от тебя не хочу —
 Полощусь меж тамянок и плисок
 И по счету исправно плачу.

СОМНАМБУЛА

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд...

Николай Гумилев

Ну чего ты накуксилась? Я никуда не уйду.
 И давай обойдёмся без слёз и истерик.
 Земноводные флексии плещутся в тинном пруду,
 Лишь с восходом луны выползая на берег.

Метрах в ста вековой и сквозной возвышается бор.
 Корабельные сосны себя предлагают на мачты.
 Спи-усни, нам никчёмный к чему разговор?
 Их не рубят, они заповедны, не плачь ты.

Спи-усни, моя радость. Ведь, кажется, именно так
Над кроваткой младенца поют в колыбельных?
Впрочем, ты не дитя, как и я не великий мастак
Безъязыко шататься в лесах корабельных.

* * *

В каком-нибудь листке посмертно тиснут,
И станешь знаменитым наконец.
И безразлично, кто убийца, — висмут
Или стоящий рядышком свинец.

Теперь другим свобода — пустомелить
И тыть, и клянчить, и плодить тщету...
...Щёлк пальцами — и рукоплещет челядь,
И стелется, и ловит на лету.

* * *

Я, сотканный из множества влияний,
Всегда чурался щедрых подаяний,
Но искреннюю милостыню брал.

Я тем горжусь, что родовое древо
Мое кренится откровенно влево
И надо мной не прозвучит хорал.

Как всякий домовый и разночинец,
Я не терплю ломбардов и гостиниц.
Из всех родных — есть у меня сестра.

Есть младшая сестра. А это значит,
Не кто-нибудь, — она меня оплачет,
Когда повозку тронут со двора.

* * *

Говори, Григола, говори,
Честно лги, сбивай меня с пути.
Только ничего не повтори —
И отдам что сомкнуто в горсти.

Ни за что, гадалка, я плачу —
Вижу сам, что ляжет впереди.
Ты попала в руки трюкачу,
Ты, пока не поздно, уходи.

Длань мою ключом не разомкнёшь.
Сарафанной ложью не прельщусь.
Огонь напустишь — разразится дождь.
Хлябь разверзнешь — воцарится сушь.

На, возьми за твой постыдный труд,
Не понять, смугла или грязна...
Не припомнишь, как меня зовут?
Жуткие бывают имена.

* * *

Господи, я Тебя отрицал,
Да и теперь не верую.
Только — кто же в выси мерцал
В сумерках над галерою?
Сукровицу сжимаю в горсти.
Прыгают за борт воины.
Не суждено, увы, догрести —
Бездны, а не пробоины.
Стыдно обращаться к Тебе
И отвлекать на мелочи.
Крепко я прикован к скобе...
Где ты, Лоренцо Медичи?

* * *

Я человек с ограниченными возможностями.
 И тут — говорится — я, и — умалчивается — там.
 Я не постригал садовыми ножницами
 Вечность, как пробовал Мандельштам.
 Ножниц не выдали мне. Такая штука.
 На столе моём нетронутый каравай.
 Я оставляю дом. Не входите без стука.
 Не домогайтесь.
 Служанка, не открывай.

ВАРАКУШКА

Выщелки, журчания, коленца...
 В ночь моё растворено окно.
 ...Спит старик блаженным сном
 младенца.

Песня спета. Выпито вино.

Чепугачев, стойкий кумандинец,
 Не во сне к чувалу прикорнул —
 Покупает правнуку гостинец,
 Посещает город Барнаул,

Как меня узнал: («живой, Волочка?»),
 Сам не помня, сколько ему лет?
 Держит потемневшая цепочка
 Костяной на шее амулет.

Череда мгновений быстротечных,
 Плеск воды, пупырчатый озноб...
 Одинокий, в зарослях заречных,
 Щёлкает варакушка взахлёб.

Жизнь прошла, ни шатко и ни валко,
По песку да гальке, босиком.
Встретила в пути провинциалка,
Слабым зацепила хоботком.

Не гнала — однако ж не держала,
Пригубляла — и пила до дна.
Рушилась великая держава,
Гибнущая так же, как она.

Спит тихонько, тощий зад отклячив,
Спит, беседы не прияв пустой,
Стойкий кумандинец Чепугачев,
Земляка пустивший на постой.

Как-то всё нелепо и беспутно.
Свежестью повеяло в окно.
...Думать о тебе ежеминутно
Никому на свете не дано.

* * *

Убеждался: нельзя без подтекста,
Перелистывал, брался за ум.
И замешивал сдобное тесто,
И упрятывал внутрь изюм.

Собирались пристойные гости —
Свояки и другая родня.
Ковырять и причмокивать — бросьте!
Я-то знаю, что это стряпня...

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

И вечности не хватит — разобраться,
Не созданы ль мы только для того,
Чтоб между звёзд засеивать пространства,
В слепое обратившись вещество.

Когда, какой вселенский канонир
Швырнул миры, как шарики картечи,
И, с недолётом, — наш непрочный мир?

Потомков жаль. Им не избежать встречи
С грядущей катастрофой.

...Астроном —
Уездный, краеведческого толка,
Вещал об этом упоённо-долго.
Я виду не показывал при нём,
Но вам скажу: я космоса боюсь
И в этом честно признаюсь.

Я удостоен участи смертельной, —
Бездонна мировая полынья,
Наполненная стужей запредельной
И протоплазмой адского огня.

Я в ней не вижу ни добра, ни зла,
Ни повода, чтоб заказать молебен.
Какой бы сущность бездны ни была,
Она близка мне, я же ей — враждебен.

Но хватит о беспочвенно-пустом,
Оставим наши страхи на потом,
Когда дохнёт действительно палёным
И пропасть станет явственно видна.
... Я астронома обозвал муфлоном,
А он съязвил: мол, слышу от овна.

Несомый утомительным трамваем,
Под аритмичный перестук колёс,
Я обнаружил: мир неузнаваем —
Шёл дождь, и люди не скрывали слёз.

* * *

Я проснулся от шума дождя,
От глухого неясного гула.
По округе стихия шутя
Деревя двухобхватные гнула.

Я прислушался. Как он проник
Сквозь зловеще гудящие стены,
Слабый, полный отчаянья крик?
Как укол в узловатые вены.

Я вскочил, я «летучую мышь»
Засветил и с крылечка — в калитку.
Потащился за мной Тохтамыш,
Вот уж истинно — словно на пытку.

И качалась разбойная ночь —
Над предместьем — худым абажуром,
И мясницкий мерещился нож
Штукаря с азиатским прищуром.

И ревела шальная вода,
И трепалось пространства мочало...
Ну а близкая чья-то беда,
Вскрикнув раз, как назло замолчала.

Ни души. И кобель не скулил.
Я вернулся, промокший до нитки.
Дождь фонарное пламя залил
В трёх шагах от заветной калитки.

Утром — тишь. Океан тишины.
И по радио бодрые вести.
И не то чтобы чувство вины —
Отчего-то душа не на месте.

ЗАПАХ МОРКОВНИКА

Опускаются сумерки. Душно и пыльно.
Щелкнул бич, и лениво вдоль улицы стадо прошло.
Час-другой, и заснет утомленное Пильно.
В Императорском атласе значилось это село.

Уцелевших домов, чем замшелых развалин,
Здесь едва ли не меньше. Впотьмах они еле видны.
Поскорей бы пролился, пусть он и печален,
Зыбкий свет неизвестно куда запропавшей луны.

Бытие с забытьем так легко перепутать!
И, хотя над селом тошнотворно висит духота,—
Не пришлось бы в платок плечи зябкие кутать,
Да согреешь ли душу... Трепещет душа неспроста.

Не ищи, все равно не найдется виновник.
Что ушло безвозвратно — ой, нет! — не былшем поросло,
Но травой с безобидным названием «морковник»,
Сладкий запах которой укутал родное село.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Пора облетевших серёжек
И лопнувших почек.
Отречься от спячек, от лёжек,
Чехлов, оболочек.

Во имя очнувшихся разом
Корней и травинок
Пресветлым апрельским указом
Ознобы отринуть.

Замшелое бремя привычек,
Что нес как повинность,
Из собственной жизни — навычерк,
Навычет, навынос.

Пора обживанья скворешен
И первых соцветий.
И нет еще в мире старейшин —
Одни только дети.

Чуть позже, оплоты обрушив,
Сметая границы, —
Волна распашонок и кружев,
Батиста и ситца.

Ромашки цветут вдоль проселка,
И небо из шелка.
... Как все-таки это недолго,
Как все же недолго.

* * *

Утренние часы,
Чистые от росы,
Ясные от зари,
Жизнь! — прошу, повтори.

Или — оставь за мной
Летнего полдня зной,
Дымчато-слюдяной —
Перед грозой — стеной.

Зябкие вечера
У гаснущего костра
(В самом конце пути) —
Это хоть возврати.

Голоса нет извне,
Можно сойти с ума:
Ведь остается мне
Ночь, что придет сама.

ЕСЛИ ЧЕСТНО...

Ты Богу безразличен и эпохе
 И, как ни грустно, женщине одной.
 Равно ничтожны подвиги и вздохи,
 Когда бесстрастный снайпер за спиной
 (Ты чувствуешь его, еще не веря,
 Что с синевою слиться не успел)
 Тропит тебя, как загнанного зверя,
 И безупречно выверен прицел.

* * *

Девушка с ключиком на груди,
 С мыслями грешными на уме,
 Явно предназначенная не мне,
 Ты уж помедленнее проходи,

Девушка с ключиком золотым,
 Что угодно им отпирай,
 Кроме, конечно, калитки в рай —
 Рано в те места молодым.

Девушка с ключиком на груди
 Замедляет зачем-то шаг...
 Ты уж, пожалуйста, проходи.
 Ничего, хорошо и так.

АНАПЕСТЫ

Эка невидаль! Слов поводырь —
 Не гремучей змеи заклинатель.
 Но затер эту книжку до дыр
 Отчего безымянный читатель?

Был помешан на полутонах,
На оттенках, едва уловимых.
Замышлялся вселенский замах —
Местечковый ссутулился вымах.

Жизнь давала опомниться шанс
И возвыситься не понарошку —
Но выныривал наглый нюанс
Из потемок и ставил подножку.

Всё, чего горемыка достиг, —
Отрицать, что дела его плохи,
Да бесплотный ухватывать миг,
Отрешаясь от собственной плоти.

Остывала зола пепелищ
И, антично мерцая, не грела.
Как чужое, по-честному нищ,
Нес по свету он брненное тело.

С шестипалой неправдой свойство
Отыскалось в безумном провале.
...А подумать — богаче его
Человека отыщешь едва ли.

* * *

У вечерних теней угловатость подростков.
Память в сумерках вновь расплеснула вино.
Где ж ты, Engelchen, кроткая Анечка Гросскопф,
Наудачу пустившая веретено?

До срединного склона Судетского кряжа
Доскакало оно — от сибирской избы —
И легло. Не затем, что источена пряжа,
Но затем, что избыток её у судьбы.

* * *

Перед тем как уйти,
Запотевшие стекла протру —
Поутру ощути
Переменного света игру.

Выйди в страждущий сад
И к дичку невзначай прикоснись,
Как слепец, наугад, —
И смутится небесная высь.

Ближе к полдню, гляди,
Заморочена голубизна...
Тесно станет в груди.
Так бывает во все времена.

Древний, как мезозой,
Цепенеет над яблоней зной.
...Перед скорой грозой
Воздух плавится не надо мной.

* * *

Живу, как нетопырь —
Впотьмах и на лету.
В душе — железный штырь
И леденец во рту.

И я совсем не вамп,
Хоть жаждет мой карниз
Не света ваших ламп,
А общества зарниц.

* * *

Не смерть страшит, но умирание.
И тьма, что не на холмах Грузии.
Я вас предчувствовал заранее,
Мои предсмертные аллюзии.

Вот и родня уже заплакала.
Страшит — до умопомрачения.
Спасибо, что светила маково,
Прощай, прощай, заря вечерняя!

* * *

Прекращается чудо, именуемое «особой
Формой существования белковых тел».
Частный случай. Не исполнилось даже
сотой
Доли — из того, что смолоду вождедел.

Мутной жидкостью наполнившая реторту,
Самочинно затеявшая эксперимент,
Лаборантка, куда же ты удалилась к черту?
Где и твой присмотр, господин ассистент?

Только что глаза протер, оделся-обулся,
Прогуляться вышел из дому поутру,
Глядь — уж констатирует остановку пульса
Доктор, к смертному приглашенный одру.

И не все ль равно, индеец из племени сиу,
В Чудском ли озере чудом не утопший
тевтон

Веком позже осчастливят страну Россию,
На помазаннический водрузившись трон?

И не все ль равно, хороши дела или плохи
И светло во вселенной или совсем темно?
И отвечу я, безликий продукт эпохи,
И отвечу я на предпоследнем вздохе.
Правда, странно? Почему-то не все равно.

* * *

Народ, который вымирает,
С невозмутимостью взирает,
Как всё идет наоборот —
На собственный круговорот.

Народ, который вымирает,
Меж тем и этим выбирает.
Тот сатана, а этот бес.
Очнись, окончивший ликбез!

Народ, который вымирает,
Украдкой слёзы вытирает.
Слёз — море, да платочек мал,
А впереди девятый вал.

Народ, который вымирает,
Страницу с корнем выдирает
Из вечной книги Бытия...
Ну что же! Бог ему судья.

СМЕШНАЯ ОБИДА

Ах, обида! Такая обида!
Только — жаловаться не с руки.
Все забыто? И пусть все забыто.
Поселюсь у широкой реки.

Там, в лесу, буду жить постоянно,
Одиночества ссучивать нить.
И всего-то нужна мне лесная поляна,
Чтобы сеном лосенка кормить.

Будет дом у меня с жаркой печью,
Полной медленного огня,
Будет лодка с отчаянной течью
И — не будет ружья у меня.

А за то, что мне сладко и люблю
Жить и что не приходит тоска,
Буду брать по бревну с лесоруба
И по рыбине брать с рыбака.

* * *

Мне родиться бы сызнова где-нибудь в Сызрани,
Даже если пытались бы мне рассоветовать, —
Изнемочь в безнадежной борьбе с англицизмами
И ни разу на свой неуспех не посетовать.

Мне родиться бы сызнова где-нибудь в Сызрани,
В крайнем случае, в ржавой слободке под Ельнею,
Чтоб сестрица губами припухло-капризными
Спела песню вполголоса мне колыбельную.

Чтоб себя ощутить неделимой частицею
Утра зябкого, после дождя, глухomanного.
Лишь тогда в мировую поверю юстицию,
Если где-нибудь в Сызрани, сызнова, заново.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вступительное слово Светланы Кековой.....</i>	5
Аржан Адаров	
Алтайский месяцеслов.....	7
Владимир Алейников	
«И ты кружишься меж держав...»	17
«Как туман, возникнет за окном...»	18
«Где-то кружится дыма колечко...»	19
«Не в стогу, видать, находить иглу...»	20
«Затверди про себя, живой...»	21
«Одесную гора курится...»	22
«Ну чем их заменишь, благие дары...»	22
Михаил Анищенко	
«Нам еще рано по небу летать...»	24
Не за то...	25
Небо	25
Чертополох.....	26
Возвращение в Стратфорд	27
Клеопатра	28
«В доме моем ничего не осталось...»	29
Я воду ношу.....	29
Зима	30
«Горит свеча, струится воск...»	31
«Смех и слезы в этом действе...»	32
«Тихо и грустно в простуженном доме...»	32
Шинель	33
«Мы Русь ругаем по привычке...»	34
«Лед на реке, как измена...»	34
Александр Ахавьев	
Smoke on the water	35
«На облучке, где сам комдив Чапай...»	37
«В щитке приборном щёлкало реле...»	40
«Уж утренние тени по лугам...»	41

Наталья Ахпашева

«Капля камень точит...»	45
Из «Взятия Сибирского»	46
Седая башка	47
«Я стучу колотушкой в бубен...»	48
«Вмерзают созвездья в оконные стекла...»	49
«Оставленная на перроне...»	50

Булат Аюшеев

«Доят коров и поют...»	51
«Некту снится друг и дом друга...»	51
Алтанбулаг	53
«Корова запуталась в проволоке, исхудала...»	54
Гроза 2003-го в Эрхирике	55
Концерт.....	56
Шапка	57
Осень вечная тихих людей.....	59
«И у стада, и у реки обычай один...»	60

Владимир Башунов

«Как прихотливо движется река...»	61
Искус	62
«На двенадцати подводах едет зимняя ночь...»	62
Попытка оправдания	63
Родня.....	64
Радоница	65
«Правда справдится — разве не так...»	66
Пастух	66
«День простоял — и снова морок...»	67
Сон о Георгии.....	68
«За легкой беседой при легком вине...»	68
Совет	69
Вокзальная гадалка.....	69
Круговая порука	70

Елена Безрукова

«Зеленое окно, когда ты отворилось...»	72
«Пронесутся птицы над водой...»	72
«Мне губы ветра твои студят...»	73

«Качнулся воздух...»	74
«Я просыпаюсь. Я схожу с ума...»	75
«Так хочется, чтоб пауза звучала...»	75
«Холодно ходить по краю осени...»	76
«Посмотри на восток...»	76
«Хватая сердцем жизнь, как небо ртом...»	77

Николай Березовский

Русский язык.....	79
«Курск».....	79
Зелёная трава.....	80
В Овсянке	81
Шторка	82

Владимир Берязев

На большом Яломане	84
«Ничего не говори...»	84
«Чурай, душа, червовой страсти миг...»	86
«Ангел мой...»	86
«Залив Таманский пепелен и нем...»	87
«Меж рам заплутавшая муха...»	87
«Снова коровы ревут...»	88
«А станционный смотритель...»	89
«Ты купишь мне цветущий цикламен...»	90
«В обществе бомжа и нувориша...»	91
«Чёрные птицы над Обью...»	92
«Кошки серы. Музы глухи...»	92
Из Кирши Данилова	93
«И вновь собеседника нет у меня...»	94
«Друг задремал...»	95
«Если есть под рукою песок и зола»	96
«То ли гарпии, то ли сирены...»	96
«В подвале забытом бухали с Бахытом...»	97
В горах	98
«Золоторогим пельменем луна взошла...»	99
«Когда бы не кочевний бег...»	99
«Колодезного холода бадья...»	100
«Наливала стакан молока...»	100
Parnassius apollo	101

«Ещё задолго до Дельфийского оракула...»	102
«Не сочиняй, не придумывай, просто смотри...»	103
«На веранде дома деревянного...»	103
Синичья смерть	104
«Ёксель-моксель или гоголь-моголь...»	105
Хабаровск-Москва	106
«Поздно, братец мой, мне быть альфонсом...»	108
«За дощатой, просящей пощады...»	108
«На куполе храма, шеломе златом...»	109
Кафе «Пушкин»	110
«В заснеженных полях и до, и за Уралом...»	111
Из горняцкого детства	112
«Мы с тобою служили и служим...»	113
«Ангелы хороводятся...»	113
«Дважды Владеющий миром Даос...»	114
«Ежели шибко-шибко затужу...»	114
«Отобрал у вороны подсолнух...»	115
«Через двадцать лет, шарбокая...»	116
Павлу Васильеву	117
Почти памятник	118
«По пологим снегам вдоль берез...»	119
Тьма и буря за утлой стеной	120
Ласточки казанского Кремля	121
На калине ягоды пожухли,	122
Рождественский романс	123
Этюд с натуры	124
Весна в новосибирском зоопарке	124
«Паучок, дружище восьмирукий...»	125

Виктор Брюховецкий

«Они уже ходили смелыми...»	126
«Не присягал ни волку, ни царевне...»	127
Лесоповал	128
«Судьбы моей суровый матерьял...»	129
Павлу Васильеву	130
«Я шкет-суслолов, я сусланов ловлю!...»	131
«...И широкие скулы неровной гряды...»	132
Бабье лето	133

Равиль Бухараев

«Зряще меня в усталости...»	134
Закатные стансы.....	135
Ратники	136
«Облачко. Чуткая веточка...»	137

Михаил Вишняков

«Только бы даль отзывалась далёкая...»	138
«Вдохновенье невежды всё реже...»	139
Амазар-река	140
«Вечер на родине...»	141
Летописец над «Словом»	141
Взгляд с Удокана	142
«В мае берёзы, взрослея, белеют...»	143
Черный айсберг	143
«Ночью тихо в Сибири...»	144
«Сеет вечность, как сито осеннее...»	144
«Ночь, как в библейские годы...»	145
Кони двадцатого века	145
Колодец	147
«Смерть не обязанность, а привилегия...»	148
Автопортрет-2004	148
«Брызнул ли дождь на кленовые клавиши...»	149
«Все ли Боги вымерли?...»	149
«Голубику посыпали сахаром...».....	150
«Мне б родиться у берега светлой Нерли...»	151
Русь и нерусь	151
«Не придавайте значенья...»	152
«Нахоложен лесной тишиною...»	153
«Глаза твои грозно косили...»	154
«Ни моря, ни тучки жемчужной...»	154
Лермонтов	155

Ирина Гончарук

«Чайную ложку соли...»	157
«Что нас связало? Мы — острова...»	157
«Мы проведем златые дни...»	158
«Ах, дни и ночи, дни и ночи...»	158
«Что написано пером...»	159

Лидия Григорьева

Памяти туманные долины	160
Байрон в Венеции.....	160
Натурщица	161
«Вот зимний, пагубный, венозный...».....	162
«Больно стоять на слепящем свету...»	162
Разбор полетов.....	163
«Житейских радостей заемный...».....	164
«Скажите мне, я — Он или Она...»	165
«Европа, видная отсель...»	165
«Я поехал на вокзал...»	166

Андрей Грицман

Долина Дуная	167
Шереметьево.....	168
Селище-уголь.....	168
«Мне хотелось узнать, почему треска...»	170

Баир Дугаров

На закате	172
Морин-хур.....	172
Монголжон.....	173
Поэты	174
Взор	175
Пеший всадник.....	176
Эхо	178
Тангра	178
Даурия	179
Азия.....	180
Звезда кочевника	180

Елена Елагина

«Бог милосерд, да рок неумолим...»	181
«Оставим девятнадцатому веку...»	181
Два стихотворения	182
«Не поэтом, не пророком...»	183
Два стихотворения для Александра Кабакова.....	184
Deja vu.....	184
Старая фотография	185

Алексей Ивантер

Памяти Евдокии и Бориса	186
Слово	187
Коромысло	188
«Потому что срывается голос на весеннем ветру...»	189
«Пахнет хлебом и овцой...»	189
«В доме у колодца...»	190
Времена года	191
«Из всех polegших за Россию...»	192
«На исполох цветут жарки сибирские...»	192
«Соловецкий ангел пролетает...»	194
«Лечись рассолом и кефиром...»	194
«Под овечьим пледом из Кералы...»	195
«В зарослях краснотала...»	195
«Доктор Яков, доктор Яков...»	196
«Поле с белыми маками за глухими оврагами...»	197
«Где говорят на мертвом языке...»	198
«К бузинной тростине приладь мундштучок...»	198
«Как рамена неведомого предка...»	199
«Пройдя сквозь звездные врата...»	200
«Яблоки в детских колясках...»	200

Елена Игнатова

«Марсия дудкой клянусь...»	202
«В самом начале молодости...»	203
«Вы мне ворожите, родные города...»	203
«На улицах города, где снег и ветер...»	204
Декабрь	204
«Как хитрый грек...»	205
«Носит дьявол кузовок...»	206
«Детства опара...»	206
«Я живу в новостройке...»	207
«В любви несчастной есть избыток света...»	208
Стихи сыну	209
«Силы прошу я и сердца без края...»	210
«И — кончилась смерть...»	211

Виктория Измайлова

Хроники Валерии.....	212
«России Дух сквозь него глядел...»	213
«По сравненью с нами — рано, а по данным...»	214
«Лес придорожный, не ставший краше...»	215
«Мой грустный, золотоволосый...»	216
«Задохнувшимся от жира...»	217
«И дальше — по течению реки...»	219

Александр Кабанов

Венецианский триптих	220
«Отечество, усни, детей своих не трогай...»	222
«Кровь-любовь», — проскрипела кровать...»	223
«Вечность кончилась, слава — стиху...»	223
«Вдоль забора обвисшая рабица...»	224
«И когда меня подхватил...»	225
«Твои дела — не так уж плохи...»	225

Юрий Казарин

«Почти отмучившись, отмучив...»	226
«Так смотрит птица, ночь, звезда...»	226
«Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу...»	227
«И, усомнившись в тишине...»	227
«Вот железная койка...»	228
«Воздух болит. Сука...»	228
«Прямо в синее роща разрыта...»	229
«Так пишет прозу воздухом снежок...»	229
«Из темноты, из самой темени...»	230
«Вот звезда себя закинет...»	230
«Опять зима. В полях живет никто...»	231
«Тенью под берегом-берегом...»	231
«В банке кофейной четыре окурка...»	232
«Кровельные прорехи...»	232

Бахыт Кенжеев

«Не обернулась, уходя, не стала...»	233
«Обласкала, омыла, ограбила...»	234
«Прозревший вовремя буддист...»	235
«Скучай, скучай, водица ледяная...»	236

«Устал, и сердце меньше мечется...»	237
Разговор пожилого сокола с престарелым вороном	238
«И забывчив я стал, и не слишком толков...»	239

Светлана Кекова

«Мы жили наготове...»	240
«Водишь слово по кругу...»	241
«Света нет. Перегорели пробки...»	241
«Среди странных взлётов и падений...»	242
«Я являла странную обузу...»	242
«Спят скелеты листьев...»	243
«В поисках поздней расплаты...»	244
Не наяву и не во сне	244
«Три памяти, три крови, три любви...»	247
«Встал на стражу полдень ослепительный...»	248
«Постепенно и я узнаю...»	248
«Я, услышав крыльев трепет...»	249

Виктор Кирюшин

«Листья повымело дочиста...»	250
«Задыхаюсь от косноязычья...»	250
«Давно забытая отрада...»	251
«Вслед за омутом — мели...»	252
«Лес обгорелый...»	252
«Ни тропинки, ни следа...»	253
«Жизнь не так и плоха...»	254
«Вид и убог и божествен...»	254
«Из комнаты, прокуренной и тесной...»	255

Олег Клишин

«Слепая моль из холода, из тьмы...»	256
«Трудыге-дворнику с фанерной лопатой...»	256
«За несколько часов до Рождества...»	257
«Тёмно-зелёный из ельника плотный веноч...»	258
Однажды глядя в окно...»	258
«Мы глубину придумываем сами...»	259
Anno domini	259
«Охотник — любитель природы...»	260

Анатолий Кобенков

«Вспыхнет гора и во степь развернется...»	261
«Пес умирает, а в мире светло...»	262
«Новые поэты, новые писатели...»	262
«Жизни так мало, что кажется — много...»	263
«А еще — за туманами голубыми...»	263
«Вот я и дожил — выпало мешать...»	264
«Станции, поселки, города...»	264
«Звезда мерцает и птица спит...»	265
«...случайное замыкание...»	266
«Ветер, с ветлою играющий...»	267
«Ветошь осени, вешние воды...»	268

Анатолий Корчинский

«Как весной окурки превращаются в бабочек...»	270
«Скоро кончится год и начнётся другой...»	272

Сайлыкмаа Комбу

«О, жизнь моя по имени Зима...»	273
«Река могучей молодости стихла...»	274
«Вот и все. Дни уходят один за другим...»	274
«Не выдержала нитка паутины...»	275
Кольцо	276

Василий Костромин

«Воробьи и синицы...»	277
«Придорожное золото...»	277
«Обычная цена: и зрячий, и слепой...»	278
«Доведут меня до скандала...»	278
«Сторона, моя сторонка...»	279
«Высокие деревья — на радость дураку...»	279
«Не будет обнимать пылающая ива...»	280
«В зеленоватой глубине руки...»	280

Евгений Курдаков

Чудь	281
Кара-буран	284

Юрий Магалиф

«Когда поэту восемьдесят два...»	292
Букет	293

«А если бы...»	293
«Говорят англичане...»	294
Художнику	295

Владимир Макаров

Начало зимы	296
Трамвайный поворот	297
Филемон и Бавкида	298
«Когда из-за бетонных стен...»	299

Эдуард Мижит

Место, где Бог... ..	300
Весна — снова — здесь	301
Попытка отгадки	304
Время моей земли	305

Лариса Миллер

«Жемчужный снег, хрустальный воздух...»	308
«Как хорошо в летящем этом доме!..»	308
«Пока не придумал Создатель...»	308
«Я немного посплю...»	309
«Так коротко, Господи, коротко, мало...»	309
«В тени от белого крыла...»	309
«И даже хоть я не обижена вовсе судьбой...»	309
«А мир этот жив, потому что есть где-то иной...»	310
«О, до чего нетленна бренность...»	310
«Хоть и делали больно порой, все равно...»	310

Станислав Минаков

Город	311
«Я ворую тебя у него, ты воруеть меня у нее,	312
Элегия августа	313
«Не проспи свою смерть, не проспи, не проспи,	314
Песенка про ослика	315
«Катафалк не хочет — по дороге, где лежат...»	316
«Русский язык преткнётся...»	317

Станислав Михайлов

«Осень. Старая яблоня станет цвести...»	319
«Ночь бредет по дорожкам холодных садов...»	320
Дом в Каракане	320

«На дне залива дремлет Тициан...»	322
«Среди цветов не стыдно умереть...»	323
«Живу в избе абрашинской вторую...»	324
Моно но аварэ	325
«Ну, здравствуй, ласточка...»	326
«Холодно в небе сгорает заря...»	327
«Подобно птеродактилю и археоптериксу...»	327
Внутренняя Азия	328
«Когда я пью коньяк мне дела нет...»	329
«Что там в тетради рисует приезжая...»	329

Виталий Науменко

«Туманы севера — веселые туманы...»	331
«Красная комната»	331
«Нет, мало зиму пережить...»	332

Владимир Некляев

Всё, что вбирает погляд...»	333
Воля	333
Жасмин	334
«Поцеловала в чело...»	335
«Ночь — и чёрт играет на трубе...»	335
Кы-гы	336
Ангелы	338
Кровинка	338

Олеся Николаева

Испанские письма	339
------------------------	-----

Любовь Никонова

«Не споря с высшей силой притяженья...»	347
«Пусть ветер приносит все чаще и чаще...»	348
На Курской дуге	348
«Научусь незаметно смиренью...»	349
«Душа витает в облаках...»	349
«Пролегла сквозь пространство дорога...»	350
«К тебе летят сияющие птицы...»	350
«Как много розовых цветов...»	351
«Не могу подтвердить я, что осень — в бреду...»	351
Прощание с 90-ми	352

Денис Новиков

Россия	353
«Разгуляется плотник, развяжет рыбак...»	354
«Небо и поле, поле и небо...»	355
«До радостного утра иль утра...»	355
«Начинается проза, но жизнь побеждает её...»	355
«Стучит мотылек, стучит мотылек...»	356
«Для густых бровей...»	356
«Повисает рука, отмирает моя голова...»	357
«Черное небо стоит над Москвой,.....»	358
Караоке	359

Юлия Пивоварова

«Сладкий запах ремонта...»	361
«Мой ренессанс цветет махровым цветом...»	362
Фонарики.....	362
Свадьба	363
«Кругом всё рамочки, да рамочки...»	364
«А ну давай, читай письмо пустое...»	364
«Фиолетовый край забытья...»	365
«Смотрите: вот уже девчонка...»	365
«Меняет бабка шляпки...»	366

Александр Радашкевич

Отплытие.....	367
Портрет в ландшафте — Владимиру Берязеву	368
Риторический триптих	368
«Из всех subtilностей скабрёзных...»	370
Нотр-дам	371
Зимнее	371
По прочтении дневников	372
Памяти ирины архиповой.....	373
Аэропорт.....	374

Александр Ревич

Поэма о звёздном небе	375
-----------------------------	-----

Дмитрий Румянцев

Ein mädchen aus alten zeiten	379
Хельге	380

Фриц Ниманд, неизвестный солдат.....	382
Римлянка.....	383
Гипнос.....	384
На рынке	385
Декабрь втроем.....	385
«Вольфрамовый паук, плетущий в лампе сеть...» ...	386

Александр Руденко

«Вкривь буреломной медвежьей тропы...».....	387
«То юноша, то снежный вихрь...»	388
«Ступенями уходит вверх...».....	389

Владимир Светлосанов

«Я возьму на себя ответственность...»	391
«И шатко, и валко. Валуйки...».	391
«Громада двинулась ... надулись паруса ...»	392
«Листву сжигаю. Зимний Симеиз...».....	393
«Солярным мифом Салехарда...»	393

Анатолий Соколов

«Дорогая, давай полетаем...».....	395
«Кажется минувшее былинкой...»	396
«Плачь Ярославной, дева в платье бежевом...»	397
«Новосибирск в ненастье глуше хутора...»	398
«Пока шумит берез китайский веер...»	398
«Любимая, не надо хмуриться...»	399
«Мне дорог звон хрустального фужера...»	401
«И сам не заметишь...»	402
«За хвост самолета цепляется птиц вереница...»	403
«Мои стихи заводятся как мыши...»	404
«На цветном деревенском морозе...»	405
«Мокрый день, и снежная крупа...».....	406
«Ледяным, мохнатым зимним утром...»	407
«Жестоко в городе январском...»	408
«На крутых небесах расплзаются...».....	408
«Уже не так, как раньше, мучит...»	410
«Двуногое в перьях во тьме закричит...»	410
«Воцаряется в Моткове сладкий запах...».....	411
«Изда-старуха в ватной кацавейке...»	412
«Крылья окон, словно крышки гроба...»	413

«Услышав слова на тюремном жаргоне...»	413
«Усталый, вспотевший я встал...»	414
«Невтерпеж душе от русских песен,	415
«Зимы имущество бесхозное...»	416
«Дайте пилюлю и спирт для души...»	417

Ирина Сурнина

Ярина	419
«Хорошо просыпаться...»	421
«Эх, Наташка, большие серёжки!..»	422
«Дядька Серёга ушёл к молодой...»	423
Пагода желтого журавля	423

Светлана Сырнева

По дороге плетется машина,	425
Поле Куликово.....	426
Прогулки с дочерью	427
Дудка.....	428
Осенняя оборона	429
Шиповник	430
Цветы	431
Вагон сумасшедших	432
«С тобой друг другу не враги мы...»	432

Владимир Титов

«В можжевельнике — ветер...»	434
«Бывало, и я находил удовольствие в серых...»	435
«Теплая пыль, запах смолы...»	435
Зима	436
Песня горошины в январе.....	437
«Смени декорации, Отче, даешь листопад...»	437
«синица по-гречески пишет...»	438
«засыпай где-нибудь, засыпай...»	438
«я на берег взошел, который океана...»	439
Чуйский тракт.....	440
«Где яблони с шумерскими глазами...»	440
«тесный лес, непослушный луг...»	441
В степи	442
«вот окно, погляди, чей морозный узор...»	442
Память	443

«консьержка летает и дворник летит...»	443
«поле — всего лишь поле...»	444
«вереницу плачей своих вознес...»	445
«край неба лилов на закате...»	445
«стать молоком, и жить как молоко...»	446
«то озерцо с рогозом, что твоим...»	446
«к октябрьским календам от ученой...»	447
«по улочке, изогнутой трубой...»	447
«пламенеет вода на закатной реке...»	448

Борис Укачин

Русский язык	449
Мои стихи убьют меня	450
Писал я эту книгу не один	451

Ирина Федоськина

Бывшее море	452
-------------------	-----

Татьяна Четверикова

«Время сжигает в небесных печах...»	459
«Завтра будет завтра...»	459
«Ветер холодный, будто из детства...»	460
«Зеркальце, записочка, брелок...»	461
«Гуляла по улице, травкой поросшей...»	461
«Добрый вечер, моя ракушка...»	461
«Согрей земля меня, согрей...»	462

Вероника Шелленберг

«За окном вагонным светает...»	463
«Найди золотистый стебель...»	463

Владимир Шемшученко

«Увели их по санному следу...»	465
«Скоро утро. Тоска ножевая...»	466
«Петь не умеешь — вой...»	466
«Бросил в урну и ложку, и кружку...»	467
«Слышащий — да услышит...»	467
«Дождь походкой гуляки прошелся по облаку...»	468
«Подснежник скукожился в банке...»	468

Глеб Шульпяков

Кампо ди фьори.....470

Владимир Ярцев

Стансы..... 475

«Честные спят сторожа...»476

«Что, взашей из жизни вытолкан...»476

Дриада 477

Страх478

«Присягну и апрелю, и маю...» 479

«Кладбище сразу за дачным поселком...» 479

«Дождь не дождь, шелестящий на идиш...» 480

Сомнамбула..... 480

«В каком-нибудь листке посмертно тиснут...» 481

«Я, сотканный из множества влияний...» 481

«Говори, Григола, говори...».....482

«Господи, я Тебя отрицал...»482

«Я человек с ограниченными возможностями...» ...483

Варакушка483

«Убеждался: нельзя без подтекста...».....484

Возвращение домой484

«Я проснулся от шума дождя...»486

Запах морковника487

Вариации на тему487

«Утренние часы...»488

Если честно...489

«Девушка с ключиком на груди...»489

Анапесты489

«У вечерних теней угловатость подростков...»490

«Перед тем как уйти...» 491

«Живу, как нетопырь...» 491

«Не смерть страшит, но умирание...»492

«Прекращается чудо...»492

«Народ, который вымирает...»493

Смешная обида493

«Мне родиться бы сызнова...»494

ПОЭТЫ
«СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

Стихи

Художник *Сокольников Ю.*
Верстка *Вялкова О.*

Изд. лицензия ЛР № 030267 от 07 мая 1997 г.

Сдано в набор 12.11.2011 г. Подписано в печать 16.01.2012 г.
Формат 84×108/32. Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.

Отпечатано в типографии